



International Literary Magazine

KHRESHCHATYK

П Е Р Е Х Р Е С Т Я

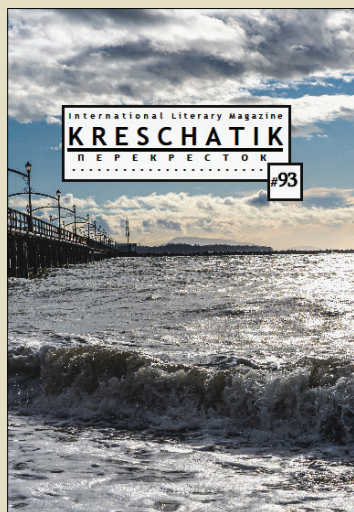
.....

#97

KHRESHCHATYK
International Literary Magazine

#97

2022



2021

Международный
литературно-
художественный
журнал

Главный редактор

Борис Марковский *(Бремен)*

тел. (+49) 421-522-647-65

borismark30@T-Online.de

borismark30@ukr.net

borysmarkovskyi90@gmail.com

Зам. гл. редактора

Елена Мордовина *(Маастрихт)*

Редакционная коллегия

Татьяна Ретивова *(Киев),*

Максим Матковский *(Киев),*

Виталий Амурский *(Париж),*

Александр Моцар *(Киев),*

Борис Херсонский *(Одесса)*

Технический директор

Павло Маслак *(Киев)*

Год издания двадцать четвертый

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markovskyi, Kornstr. 22

28201 Bremen, Deutschland

<http://www.kreschatik.kiev.ua/>

Журнал выходит 4 раза в год

ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ / ЗМІСТ

Поэзия / Поезія

Александр Кабанов / Киев /	«Край горизонта был завьюжен...»	5
Віталій Борисполець / Київ /	Намагаючись наздогнати майбутнє	72
Олександр Спренціс / Київ /	Зі збірки «Тяжіння простору»	123
Ігор Курилів / Київ /	«Німий крик спогадів»	151
Іван Кулінський / Київ /	«запам'ятай місто таким...»	166
Александр Моцар / Киев /	И тогда человек замкнулся в разрыве	187
Борис Фабрикант / Борнмут /	Черновики	228
Илья Иослович / Нешер /	«Здесь внезапные всплески...»	300
Борис Руденко / Київ /	Зі збірки «Щодосвіта»	330
Влад Дмитриев / Киев /	«до зорь белишь вороне...»	337
Андрей Гущин / Киев /	Из цикла «Военные тетради»	343
Юрий Бобров / Мюнхен /	Талость уст	346
Никита Вельтищев / Акко /	«Послезавтра апрель...»	349
Имильян Дорошенко / Винница /	«Ветер сбрасывал звёзды...»	358

В ГОСТЯХ У «КРЕЩАТИКА»
ПОЭТЫ ГАННОВЕРА

Михаил Аранов	«Скоро будет уж некому...»	209
Виталий Шнайдер	Черный вторник	210
Сергей Викман	«Пришла гроза и дождь уже идёт...»	212

Проза

Николай Караменов / Александрия /	Разорванная пыль. Рассказ	16
Марк Зайчик / Тель-Авив /	Слава ортопедам. Повесть	76
Саша Новиков / Киев /	Капли. Короткие рассказы	159
Илья Иослович / Нешер /	Актер. Рассказы	170
Борис Руденко / Київ /	З роману «Очеретини на склі»	181
Олександр Гальпер / Київ /	Київські нариси	191
Олена Мордовіна / Маастрихт /	З роману «О пів на смерть»	213
Владимир Матвеев / Киев /	Тоска. Фантастический роман	233
Борис Липин / Берлин /	Павлуша. Рассказ	316

Драматургия

Игорь Кураш / <i>Бостон</i> /		
Владислав Кураш / <i>Варшава</i> /	Кто похитил Эдит Бредт?	125

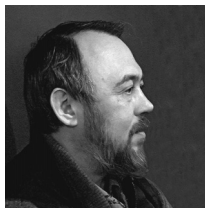
Переводы/Переклады

Павло Маслак / <i>Київ</i> /	Нотатки снів	173
Леонид Бердичевский / <i>Берлин</i> /	Поэты XX века	202
Паул Снук / <i>1933–1981</i> /		
Перев. с нидерл. А. Андреевой	Черная муза. Стихи	302

Контексты:

ессеистика, критика, библиография

Артур Новиков / <i>Киев</i> /	Слюна и пепел	339
Анна Багряна / <i>Софія</i> /	Остання релігія	351



Александр КАБАНОВ

/ Киев /

* * *

Край горизонта был завьюжен,
и чуть отклеен уголок:
поэзия — волшебный фьюжн —
со мной несовместимых строк.

И в зимнем карнавале улиц,
где ночь похожа на вагон
для перевозки свежих устриц,
ты вдруг услышишь холодный стон.

То, по дворам, чей воздух полон —
убийством с водкой в новостях,
бредёт косматый древний клоун,
как волк, на четырёх костях.

Безумный от нехватки крови,
он громко стонет иногда,
и снова пасть свою закроет —
с клыками в тридцать три ряда.

В округе — ни души, аптека,
крест, полумесяц, невпопад —
все умерли давно от смеха,
ушли на заработки в ад.

Всё безнадёжно, но при этом —
осталось рыжее пятно:
внеблоковским, насадным светом —
для вас горит моё окно.

Экран — приёма передачек,
гнилых посылок от властей,
мой блог — для кошек и собачек,
и не родившихся детей.

Кто держит мир прощальным взглядом,
как пену дней на помазке,
кто помнит про таблетку с ядом —
на высунутом языке.

* * *

Читатель, тыходишь в чужую квартиру,
не зная, что эти стихи:
логин и пароль к сотворению мира,
рецепты борща и ухи.

О, как же скучна — бухгалтерия чуда
и дебет, и кредит страстей,
наш сервер — христос, наш планшетник — иуда
с прошивкой от римских властей.

Наука похожа на рай в сакартвело,
где чача растёт круглый год,
где я отвечаю за физику тела,
за лирику южных широт.

Где шерстью покрыта любая скотина,
и в перьях небесная твердь,
где жизнь — доказательна, как медицина,
и смерть — беспристрастна, как смерть.

Не бойся, мой милый, забвенья пустого:
записаны выдох и вдох,
и всё сохраняется в облаке слова
и в папке — чистилище.док.

Да, это — отличная новость, и всё же,
не то, чтоб печаль — ерунда,
но знай, что счастливой улыбки на роже —
не будет уже никогда.

Не будет горячее тело нагое —
стонать посреди теорем,
а будет другое, мой милый, другое,
другое, мой милый, совсем.

* * *

Я сдерживал себя в чистилище, в метро и
в хрустальной башне с огненной водой,
когда я умирал — меня держали трое:
отец и сын, мятежный дух святой.

И если ты — любовь, побудь со мной немножко,
зайди на порнохаб — поставь за всех свечу,
я — кофе или чай, собака или кошка,
я сдерживал себя, но больше — не хочу.

Бетховен или бах, Чайковский или Верди,
хранитель белых слов, вершитель черных дел,
и не благодари меня за опыт смерти:
актёр играл врача и вскоре — заболел.

В чём логика, когда — мы говорим о чуде,
звучит бессвязный свет из флейты золотой,
я — память о вине в раздвоенном сосуде,
который — переполнен пустотой.

Ещё я состою из самых чёрствых крошек —
смахни меня в ладонь, спасая и губя,
я мог не воскрешать: детей, собак и кошек,
я склеил старый мир и сдерживал себя.

Смотрю на Пикассо, читаю, блядь, неруду,
опять мятежный дух витает над толпой:
и всякий — устрашись, когда я снова буду —
единственным собой, единственным тобой.

* * *

На чём-то жареном, на сале —
был приготовлен дождь ночной:
о, сколько про него писали,
огарок пользуя свечной.

Жгли керосин, и, жмурясь сонно —
к вискам прикладывали лёд,
включали лампу Эдисона
и бормотали: дождь идёт.

Ну что ж, как скажете, рапсоды —
пусть будет дождь: смывать следы,
хранить шестую часть природы —
всех нас — в молекулах воды.

Пусть будет дождь в стихах и сводках
погоды, дождь, как разносол,
чтоб падал в каторжных колодках,
чтоб по написанному шёл.

Иль переполнен аква витой,
с прошивкой: пушкин — два в одном,
стоял бы, спутником привитый,
шатаясь под моим окном.

А я лежал бы на диване:
то — на боку, а то — ничком,
и слушал дождь, и о романе
мечтал бы с сереньким волчком.

* * *

Я помню крым: закат, забор —
забор густой, октябрьской крови,
гомер по кличке лабрадор —
ослеп, но всё же хмурит брови.

Над ним звучит созвездье дыр,
горит листвы библиотека,
гомер — последний поводырь,
который ищет человека.

А человек сидит в саду
и пьет вино из белой чаши,
и верит в общую беду,
и пробует молитвы наши.

Мы с человеком заодно,
какое слово с ним не делай:
да будет красным — всё вино,
да будет эта чаша — белой.

И листопадный окулист,
как падший ангел отрезвленья —
пропишет нам собачий свист
с таблицей для проверки зренья.

Гербарий крыма прошлых лет
и то, целебное, осень —
предчувствие любви, и свет —
свет, как погибель во спасенье.

Ты вспоминай его в бреду,
по возвращенью из итаки,
как в незлопамятном году —
о доброкачественном раке.

* * *

В год египетских казней — в туалете крестились:
после смерти прекрасней я не видел чистилищ —
инсталляция grohe с унитазом от hugo,
нас всегда было трое, мы приснились друг другу.

Вспоминая калугу, и в спортзале качаясь —
мы приснились друг другу, никогда не встречаясь,
все — любили физалис и воскресную мессу,
а когда просыпались — вспоминали одессу.

Православный католик, мусульманин-агностик,
жил обрезанный толик и вцерковленный костик,
жил, хвора на почки, в холостяцком отеле —
я, женатый на дочке, а чего вы хотели?

Мы не брали кредиты, мы не спали в версале,
мы — простые бандиты, мы — планету спасали:
от собак баскервили и от сыщика монка,
и случайно убили в перестрелке ребенка.

А чего вы хотели, да всего понемногу,
мы свинину не ели, мы сожгли синагогу,
дьявол прятался в шпроте, в глубине карамели,
в складках сердца и плоти, а чего вы хотели?

Добрых, правильных, годных для креста и лабаза,
тех, кто кормит голодных, тех, кто поит без газа,
кто святые подметки на ходу отрывает,
не пьянеет от водки, а таких — не бывает.

Каждый будет смиксован и помножен на нолик:
ближе к звездам и совам станут костик и толик,
ангел-водопроводчик их разбудит трубою,
ну а я, ваш наводчик — стану только собою.

Каждый — будет измерен, будет назван и взвешен,
бог — серебряный мерин, как всегда — безутешен:
вдоль, по кафельной плитке, мимо профтехучилищ —
он везет нас в кибитке чередою чистилищ,
через красную пресню, через гегелей-кантов,
под бессмертную песню бременских музыкантов.

ОБРАТНО

Вначале шло строительство неровно:
мы стены возводили только из —
бумажных книг, раскатанных на брёвна,
из рукописей — я принёс карниз.

А дальше — во все тяжкие пустились:
сосновый шкаф, дубовая кровать,
иконы, на которые крестились —
солдаты, перед тем, как убивать.

Кто после смерти перешёл на прозу —
тот знает цену птичьих голосов,
всех веток, что хранили целлюлозу
и память о смешении лесов.

Тот знает точно, сколько нужно книжек —
вернуть обратно в дерево, на слом,
и редко образуется излишек
свободных досок, чтоб построить дом.

Я отправлял свою библиотеку,
как легион героев на войну,
чтоб новый дом построить человеку,
от геморроя спасшего страну.

Рецепты тех, кто гонит сидр и брагу,
я все стихи отдал на домофон,
и только туалетную бумагу —
укрыл в кустах, всего один рулон.

Теперь сижу на корточках приватно,
кривым стеклом царапаю металл:
о, мама, заberi меня обратно,
ты посмотри, кем я в натуре стал.

Хромая утка, с толку сбитый лётчик,
смотритель храма на чужой крови,
с кошачьего угрюмый переводчик,
внебрачный плод читательской любви.

Когда-то врач гадал на авиценнах,
и генерал дрочил на лао цзы:
теперь все книги — растворились в стенах,
зато — промежность сузилась в разы.

А тот, кто спас страну от геморроя —
глядит, сморкаясь, в круглое окно:
простуда — это, брат, совсем другое,
и высота — возвышенное дно.

* * *

Я откроюсь скифу и ромею,
греку, отходящему ко сну:
только я притягивать умею —
за уши ночную тишину.

Для чего умение такое:
для того, чтоб ты, не по злобе —
вдруг услышал новое, иное,
так необходимое тебе.

Это взлёт, а вовсе не упадок,
это не безмолвие мощей,
а совсем другой — живой порядок
рукотворных звуков и вещей.

Мир прозрачный, без фуфла и спама,
без гвоздей и битого стекла:
никогда не умирала мама,
всё сбылось, тупая боль прошла.

Что ты раньше слышал: плачь ребёнка,
ближний взрыв, предсмертный хрип врага,
лопнула ушная перепонка —
кровью затопило берега.

А теперь ты слышишь те же звуки,
тот же злой и беспощадный свет —
далеко, как будто вы в разлуке —
навсегда, на миллионы лет.

Ты теперь ребёнка не обидишь,
не ограбишь, не предашь страну,
потому, что ты, отныне, видишь —
добрую, большую тишину.

Видишь сад, чтоб собирать беруши —
их так любит в яблоках она,
хочешь, я возьму её за уши,
и тогда — закончится война.

* * *

Её охраняют бобры на цепи, шакал и гиена,
она умоляет: любимый, не спи, охрана — отмена,
и новые ветви сплетаются в щит, где старая рана,
родная, не бойся, любимый не спит, отмена — охрана.

Послушай последнюю русскую речь в садах лицедейства,
а что еще можно поэту извлечь в ответ на злодейства:
вот эти остатки живого ума в квадрате и в ромбе,
родная, не сплю — надвигается тьма упоротых зомби.

Они победили себя на войне и в телеэкране,
они поимели себя при луне и в морге, и в бане,
обычные люди воды и огня, и жертвы заклатья:
не рвите на части, не ешьте меня, о, сёстры и братья.

Когда лжесвидетели гонят пургу — нужна гигиена,
пускай предадут и уходят к врагу — шакал и гиена,
пусть белки спасают чужие миры и сны пионеров,
а с нами всегда остаются бобры приличных размеров.

Ты — дерево жизни и правды моей — листва, древесина,
ты — суффикс, который важнее корней, приставка для сына,
когда я опять никогда не умру светло и нетленно,
я знаю, ты скажешь святому петру: охрана — отмена.

* * *

Пусть будет революция, пускай умрут враги,
а ты — читай конфуция, не засирай мозги,
пусть на дворе — инфляция, горит родной сарай,
а ты — читай горація, мозги не засирай.

Опять цветёт акация, что скажете, княжна —
скажу: нужна локация, логистика нужна,
жить в самом сердце киева и ездить в куршевель,
не слышать пульвердиева хтоническую дрель.

И возлежать на лоджии, укутавшись в халат,
взирать на мир, как борджиа — на греческий салат,
где ливнем заштрихованный, вдруг пересох бювет,
и зимний свет шипованный — менять на летний свет.

Скрестить вдову невинную и винную лозу,
курить сигару длинную, покуда там, внизу:
в варшаву, через винницу, нащупывая путь:
кириллица — латиницу пытается нагнуть.

А ты — читай буколики и будь всегда готов,
покуда спят католики — любители котов,
и бедные, бесправные рассеивают мрак —
народы православные —любители собак.

Отседова до седова, о том, что мир жесток—
грохочет мироедова отбойный молоток,
ведущий ждет ведомого, и в поисках врага —
последний сын дурдомова пускается в бега.

Под медленное ржание, при помощи рожна,
на наше содержание — я деньги взял, княжна,
ведь титульная нация разграбила казну,
зачем нужна акация в гражданскую войну.

Мелькают обмельчавшие, пустые господа,
а ранее кричавшие — уснули навсегда,
лежат слова напрасные в тени броневика,
теперь над ними красные, сплошные облака.

* * *

Много в здешнем воздухе — металлов,
песен из разбитого стекла,
сквер древесный, каменный чекалов,
бьёт фонтан, чья молодость прошла.

Мы вдвоём и наши дни двоятся,
повторя зрение и звук,
голуби воркуют, но боятся —
пить вино и хлеб клевать из рук.

Гули-гули: ранним утром — пули,
ночью — мародерские костры,
мы — от хлеба и вина уснули,
притворились, что уже — мертвы.

Нам, отныне — не блистать на сценах,
нам лежать до самых лучших дней,
как два камня — полудрагоценных,
в голубой оправе голубей.

Будет всё: культурная отмена,
дикие погромы и резня,
будет выть воздушная сирена
с кровью — для тебя и для меня.

Над военной и над мирной частью,
будет выть, оплакивая тех,
кто — любил и кто — стремился к счастью,
и живой, и даже — смертный грех.

Подгнивает памяти гангрена,
и весна сбивается с пути:
мы проснулись — вновь звучит сирена,
а сирень — успела отцвести.

* * *

Алексею Цветкову

Я брал за аренду вчерашнего дня,
по нынешним меркам — не много,
и бог, что за пазухой жил у меня,
следил за коммерцией строго.

И с богом, лишённым родительских прав,
ходили мы слева — направо,
жрецы называли меня — изяслав,
торговцы: то — изя, то — слава.

И тот, кто смотрел из грядущего дня
на эту недвижимость в прошлом —
он верил не в бога, он верил в меня,
он видел бессмертие — в пошлом,

обыденном, тусклом, гниющем во тьме,
и пишущем справа — налево,
в горящий фонарик на самой корме —
ковчега, библейского древа.

Он верил, и звали его — ибрагим,
и с ним его крестная сила,
а нынче, всё прошлое было — моим,
и после, всё прошлое — было:

Молитвенный камень, бумага, металл,
а ножницы — я дорисую,
и маленький бог мой — за пазухой спал,
похожий на опухоль злую.

А после — распалась преступная власть,
с пустой похоронкой в конверте,
а после, а после — вся жизнь пронеслась,
вся жизнь пронеслась после смерти.

* * *

В овраге, на холме — я спал в огромном доме:
наполовину — пуст, наполовину — полн,
я книгами топил камин в кубинском роме —
и слышал шелест волн, и слушал шелест волн.

Его перебивал: то монотонный зуммер
сверчков в кустах, то эхо от вины:
как всё же — хорошо, что так внезапно умер,
что не дожил мой папа — до войны.

Иначе, он бы был, как старая собака —
от боли, под обстрелом, без лекарств,
в херсонской оккупации, страдающий от рака,
но взял его господь — в одно из лучших царств.

Иначе, он бы знал, как могут эти суки —
со смехом убивать, насиловать и жечь,
но взял его господь, как мальчика, на руки,
как сына своего — от муки убережь.

И вспомнил я сейчас, в апреле, на изломе —
весны, когда мы все — обожжены войной,
про папу своего, когда я спал в роддоме:
он плакал надо мной, он плачет надомной.

Николай КАРАМЕНОВ

/ Александрия /



РАЗОРВАННАЯ ПЫЛЬ

1

Солнце пульсировало в зените и выглядело пятном с размытыми краями, которые постепенно расплзались по плоскости дня и поглощали его. Мерещилось, что возле солнца небо становится ниже своих пределов: светило как бы проваливалось и все больше и больше опускалось на селение Ларго Камино, затопляя слепящим светом его центральную улицу, что тянулась точно — с востока на запад. Тень от прижатых друг к другу домов укрывала половину улицы по всей её длине, будто разрезала вдоль. Тёмная сторона казалась ниже светлой, а освещенная солнцем словно всплывала и постепенно теряла свои очертания. Всё живое попряталось от зноя, только один старый человек в растрёпанном сомбреро и в полинялом серапе шёл на запад улицы по стыку её затененной и освещенной частей. Невысокий, словно с отрезанными полосой тени ногами, он казался ниже своего роста, почти карликом, и был похож на странный гриб, выросший среди каменных и глинобитных домов.

— Он сказал, что его зовут Поликарпио, — вежливо произнёс капитан Доменико Альмодовар, оторвав взгляд от окна, в тусклом прямоугольнике которого таял силуэт, будто старик растворялся в раскаленном солнечном свете. — Ищет бруху¹, которая дала бы ему корень, растущий в расщелинах, где апачи хоронят своих мертвецов.

— Пустая трата времени, — лениво отозвался лейтенант Франциско Берручете.

Светло-зелёные, почти болотного цвета глаза Альмодовара вернулись к окну, отразившемуся на его радужках белесыми мазками, будто капитан утратил зрение или не обладал им никогда. «Какое-то внутреннее видение», — постарался сосредоточиться на этой мысли Берручете. Он хотел подумать: «Контролируемое слепотой», но

¹ Ведьму — примечание автора.

пальцы скользнули по запотевшему бокалу, в котором хозяйка харчевни Летисия принесла ему охлаждённую в подвале арбузную наливку. На бокале остался прозрачный след. Сквозь него, поднеся бокал к глазам, можно было наблюдать за действительностью, если бы стакан не был заполнен наливкой, — тёмные крапины на радужках Альмодовара стали малиновыми, как далёкие костры на зелёных равнинах, а от жаровни, в которой Летисия поправляла кочергой уголь, дохнуло запахом пепла.

Из раскрытого мешка, наполненного мукой, взлетела муха — тяжело, набухая жужжанием, облепленная белым, как сонный взгляд. Она ударилась в стекло и пыталась проникнуть сквозь него на улицу. Дребезжание её крыльев было настолько сильным, что напминало визг ручной дрели, сверло которой увязло в волокнистой древесине. Она отлетела от окна на несколько сантиметров и снова ударилась в него, чтобы скользнуть по диагонали в угол рамы, где солнечный свет был ярче.

В окне показались абрисы трёх лошадей. Они брели вдоль улицы, понуро опустив головы и поднимая серую пыль. Летисия застыла, как замороженная. Она не сводила глаз с окна, но именно на неё смотрел лейтенант и ничего не мог понять. Ему необходимо было догадаться перевести взгляд в окно, он и догадался, но боялся посмотреть сквозь стекло на улицу. Однако это не было страхом, а только чувством возмущения, что все мерзости происходят из-за невыносимой жары. Его повернул к окну, схватив за руку, капитан, и он посмотрел на улицу, быстро и вскользь, так что Альмодовар в его глазах только мелькнул, будто был срезан выстрелом.

Казалось, день вытряхивает из себя пыль. Желтовато-серая, она заполнила собой пространство до солнца, только в самом низу, как её обесцвеченный осадок, вслед удаляющимся лошадям тянулась белая полоса. Селение разрезало криком: сержант Пачеко бежал за лошадьми и ругался напропалую. Капитан и лейтенант быстро покинули харчевню. Пробегая мимо Летисии, Альмодовар ударился бедром о мешок с мукой, стоящий на табуретке, и тот опрокинулся, а мука рассыпалась. Женщина подумала о вытянутом пятне муки, как о стелющемся по полу взгляде — слепом, усталом, как случается со старостью, подломленной долгими годами жизни. Она почувствовала, что капитан и лейтенант ничего не смогут увидеть, ибо так вышло, — не по их вине.

На улице, затопленной ярким светом, капитан и лейтенант на мгновение остановились: от дома Мигеля Эрреры, местного торговца, около дюжины солдат бежали за остальными лошадьми, разбредаящимися в переулки по обе стороны улицы. Глаза капитана потемнели от гнева. Он поспешил в один переулок, затем, передумав, вернулся, чтобы направиться в другой, но на улице остановился: мозг туманило мыслью, которая разрасталась слишком медленно, как дрожжевое тесто.

— Так как вы сказали, мой капитан? — спросил лейтенант Берруче. — Как вам назвался этот старик?

Капитан, который в это время держал за ворот рубахи подвернувшегося ему дона Мигеля и гневно тряс, из-за чего лицо торговца словно распорашивалось среди щетинистых бакенбард и от страха становилось белым, как полотно, отмахнулся свободной рукой от вопроса лейтенанта, но потом, оттолкнув Эрреру, повернулся, как на плацу, ладно и небрежно, словно подчеркивая лаконичность строевого движения, и внезапно погрузился в тишину. Лицо лейтенанта продолжало что-то выкрикивать, но из облака пыли, что клубилось за его спиной, показался сержант Пачеко, который вёл за поводья трёх лошадей. И лишь тогда Альмодовар услышал голос, но не лейтенанта, а сержанта:

— Подпруги не были затянуты, мой капитан. И когда лошади разбегались, сёдла соскользнули с их спин. Но я не давал приказа снимать сёдла и попоны.

И лишь тогда, пропустив сквозь своё сознание слова Пачеко, капитан вспомнил слова лейтенанта.

— Кажется, он назвался Поликарпио, — выдохнул он в пыль.

Пачеко кивал головой, будто и до слов капитана внимательно внимал чьей-то речи. Из его укрытого пылью лица пот проступил внезапно: щёки, лоб и нос за несколько секунд укрылись похожими на расплавленный воск каплями. Потом пот пробуравил на его лице полосы цвета выдубленной кожи.

— Этот старик околачивался возле лошадей, точнее, проковылял возле них, — сержант говорил тихо: мнилось, что его голос затапывался или сминался криком остальных солдат, которые ловили на узких улочках разбегающихся скакунов.

— Он только что прошел здесь. Направился к западной стороне селения, — сказал Альмодовар.

— Да, мой капитан, — ответил Пачеко и легко вскочил на неседланного коня. Откинувшись немного назад и ударив животное ладонью по крупу, иноходью направил коня к концу улицы, которая ещё тянулась шагов на двести и заканчивалась белой плоскостью пустыни.

— Поликарпио, — сказал Фелисиано Эчеверриа, услышавший разговор капитана и сержанта. — Он просто прошёл, хромая, возле лошадей. Пьяный в стельку. Вот и всё. Больше ничего, мой капитан.

Селение было типичным для севера Мексики, но всё равно своими худо-бедно побеленными домами и ровной геометрией улиц обещало хотя и ненадёжную, однако безопасность для путников, идущих с юга страны на север или с севера на юг.

Доехав до конца улицы и растёкшись глазами по курящейся пыли пустыне, Пачеко почувствовал, как у него под ложечкой что-то

неприятно перевернулось, — чувство агорафобии от огромного пространства было кратковременным: пришлось несколько раз с усилием сжать веки, чтобы принять бесконечность, по крайней мере, смириться с необозримой пустотой. Ресницы, присыпанные пылью, тяжело сомкнулись и взлетели, будто это пустыня, полусонная и кажущаяся исчезающей, прижалась к сержанту своими глазами, точно бархатом, а затем начала ими по нему водить, как по выцветшей фотографии, на которой еле-еле проступало изображение. Всё выглядело покинутым и ветхим, поэтому Пачеко полуобернулся и крикнул, словно разорвал тряпки или истлевшие кулисы заброшенного балагана, чтобы опять оказаться один на один с уходящей за горизонт бесконечностью:

— Его здесь нет! Как в воду канул!

Доменико Альмодовар сощурил глаза. Силуэт Пачеко в конце улицы выглядел, словно вырезанный из серого картона.

Из-за слепящего солнца трудно было разглядеть — взмахнул рукой Альмодовар или нет, то есть позвал жестом Пачеко к себе или приказал продолжать искать Поликарпио в пустыне, поэтому сержант решил вернуться и пустил коня вброд к центру селения. Он не думал о том, почему капитан послал его искать старика, но, покачиваясь в седле, продолжал устало водить взглядом от одной стороны улицы к другой. На её солнечной стороне что-то шевельнулось, как будто у сержанта на секунду поплыло перед глазами, однако пятно, возникшее от якобы качнувшегося в зрачках изображения, как бы обрело объем, и Пачеко облегчённо вздохнул: из побеленной стены выдавилось выцветшее под солнцем серапе и соломенное сомбреро, которые были так интенсивно облиты солнечным светом, словно полуденное светило сосредоточилось только на них. Старик попытался подняться, но, ещё не полностью распрямив ноги, потянулся за оставленной на земле флягой, сделанной из бутылочной тыквы, и повалился в песок. Блаженно улыбаясь и уже не делая попыток подняться, он поднёс горлышко фляги к губам и сделал два долгих глотка, протянутых в каком-то сладостном мучении, а когда опустил флягу, сержант увидел совершенно осоловелые глаза. Поликарпио протягивал ему флягу и что-то бормотал.

— Да на службе я, сеньор Поликарпио, — пробормотал сержант, тронутый, до спазма в горле, наивностью старика.

— Сеньор Поликарпио здесь! Я нашёл его! — крикнул он в сторону восточного конца улицы.

— Смех Эчеверрии долетал наплывами, будто, взмахивая руками, вытряхивали одеяло, и резкий хлопок, вначале возникающий, как эллипс звука, выскальзывал и плавно превращался в полупрозрачную косынку.

— Ты спроси его, — донёсся голос Альмодовара, — почему он поплёлся на пустынный конец улицы?

В носу сержанта защекотало от запаха кактусовой водки. Глаза Поликарпио были пепельными, выцветшими от старости, и о прежнем их цвете можно было только догадываться. Коричневое и испещрённое глубокими морщинами лицо застыло в улыбке.

— Капитан спрашивает, что вы здесь делаете, сеньор Поликарпио? — спросил Пачеко.

— Так бруха. Я ищу бруху, — ответил заплетающимся языком старик.

«А бруха в самый раз», — подумал Пачеко.

— Та, что в бутылке, да, сеньор Поликарпио? — сказал он уже вслух.

Старик, упираясь рукой в стену дома, начал двигаться в сторону капитана Альмодовара, но, сделав несколько неуверенных шагов, снова повалился в пыль.

— Отведите Поликарпио в тень! — крикнул Пачеко. — Разжарит ведь его.

— Ага, — донёсся голос Эчеверрии, и пыль на улице как бы исчезла. Однако, на самом деле, Пачеко просто ближе подъехал к капитану и остальным мужчинам, которые вели за поводья пойманных лошадей.

— Чано (уменьшительное от Фелисиано)! — крикнул капитан продолжающему ухмыляться Эчеверрии. — Сказано было — отведите сеньора Поликарпио в тень.

Два солдата пробежали мимо Пачеко, спеша выполнить распоряжение капитана Альмодовара. Один из них успел спросить у сержанта:

— У старика что-то ещё осталось?

— От него несёт попойкой, — скрежетнул зубами Пачеко, опять ощутив приступ тошноты, ибо невольно посмотрел ввысь на белесое солнце, оттягивающее небо, точно свищ.

Два солдата, подхватив Поликарпио под руки, повели его через улицу. Он не держался на ногах: ступни в сандалиях скользили по песку и утрамбованной глине.

«Что так очерчивают? Что?» — не мог вспомнить лейтенант Берручете.

Один из солдат держал флягу старика и периодически прикладывался к ней.

— Обобрали сеньора Поликарпио, — презрительно сплюнул Эчеверрия.

— Оставим, оставим мы ему его кактусовой водки, — сказал солдат, заметив осуждающий взгляд сержанта.

Они довели старика к противоположной стороне улицы, бережно посадили его под стену дома и вернули ему в руки почти опорожнённую флягу из бутылочной тыквы.

Капитан, небрежно переступая и вспучивая пыль ногами, приблизился к Поликарпио. Когда он шёл, его начищенные сапоги всё сильнее укрывались сизым налётом. Создавалось впечатление, что ноги Доменико Альмодовара постепенно обнажались, открывая сероватую, утыканную редкими волосками кожу. Пачеко отвернулся: ему почудилось, что к Поликарпио подходит некто, который под воздействием солнца начал трансформироваться в другое существо. И сержант даже вспомнил — какое: когда-то слышал о сатире на козлиных ногах, но заставил себя подумать о кактусовой водке.

Остановившись над стариком, капитан долго разглядывал его, уже мерно посапывающего и медленно наклоняющегося телом к земле.

— Мой капитан, — сказал Фелисиано Эчеверрия, подводя оседланную лошадь, — он здесь околачивается со вчерашнего дня. А мы приехали в это селение сегодня ночью. Всех спрашивал о каком-то корне апачей.

— Зачем он ему? — задумчиво спросил Альмодовар.

— Вроде как от спины. Многие больные люди ищут этот корень, ведь никто не видел согнутых и кряхтящих апачей, даже если они преклонного возраста. У них даже глубокие старики выглядят бодрыми и подвижными.

— Потому что не просыхают от самогонки, мой капитан, — вставил свои слова сидящий солдат Диего Каучильо. — Апача хлебом не корми, а дай напиться в стельку.

Кто-то хохотнул. Капитан еле заметно кивал, словно соглашаясь, уже забыв о Поликарпио, и уходил мыслями к долгой дороге, которую ему и его солдатам необходимо пройти от Ларго Камино к селению Уальоа. Он нехотя повернулся и так же небрежно, как подходил к пьяному старику, пошёл к Мигелю Эррере, который что-то выкрикивал и энергично жестикулировал.

— Простите, дон Мигель, — сказал он. — Эта служба в пустыне меня доконает.

— Да ладно, дон Доменико, — сказал торговец, — кто прошлое помянет, тому глаз вон. Я уже распорядился. Даю вам восемь мулов. Поклажа — продукты и бурдюки с водой. Всё как положено. А дальше — не моё дело. Я и так кормил из своего кармана этих пленных индианок, пока не прибыли вы с распоряжением привести апачек в Коауильо.

— За них уже замолвили слово, ведь так, дон Доменико? Кто-то хочет украсить свой внутренний дворик симпатичными апачками, — расплылся в улыбке Эррера. — В Ларгосе, дон Доменико, из пленных индианок отобрали самых хорошеньких от семи до четырнадцати лет.

Доменико Альмодовар осматривал собирающихся людей.

— Через два дня вы должны быть в Чинапе, — сказал Мигель Эррера. — До Чинапы нет ни одного источника воды. Вода только та, что с вами. А от Чинапы до Уальоа тоже ни одного источника.

Капитан подумал, что из-за прихоти какого-то денежного мешка, решившего приобрести смазливых индианок, должен был тащиться через весь штат Чиуауа к забытому Богом Ларго Камино, а из Ларго Камино обязан следовать в Уальоа, который уже в штате Коауильо. Но приказ есть приказ, да и вознаграждение обещали.

Наблюдая за собирающимися солдатами, Доменико Альмодовар ещё раз прокрутил в голове слова полковника Армандо де Лос Льяноса, который дал ему приказ следовать вместе со взводом солдат в Ларго Камино, чтобы там забрать и доставить в Уальоа пять индианок. Несколько дней назад детей тайком привели в это селение, чтобы оставшиеся на воле апачи не догадались, что их соплеменников, захваченных в плен возле Трес Кастильос, разделили на две группы.

— Викторио убили, сеньор капитан, — сказал Армандо де Лос Льянос. — С ним полегло 78 воинов чихенне. Это случилось возле холмов Трес Кастильос. 68 женщин и детей наши кавалеристы захватили в плен. Случайно остались на свободе около дюжины апачей. Говорят, что Лозен перед тем, как наши солдаты окружили её брата Викторио, отстала от остальных апачей, чтобы принять роды у женщины из племени мескалери. Ещё старый Нана остался в живых и на свободе. Он в это время отправился на охоту и не попал в окружение. Следопыты сказали, что из бойни ускользнули только четверо мужчин. Остальные — женщины и дети, вот и всё. Никто не будет делать попыток освободить маленьких индианок. Те четверо воинов, которые из всех апачей Тёплого Источника остались в живых, вместе с Лозен рыскают сейчас в окрестностях столицы штата, ведь в тюрьму в Чиуауа заперли всех остальных пленных апачек. Кроме этих хорошеньких девочек, о месте нахождения которых никто из дикарей не знает.

Залитая солнцем сторона улицы сияла, словно кромка отточенного лезвия. По мере передвижения солнца от зенита к западу сияние расширялось, пока не заполнило всю улицу, и день над селением стал разрезанным, но не вертикально, как во время полдня, а вдоль всей плоскости селения и прилегающей к нему пустыни.

Из двора дома Эрреры пеоны вывели мулов, навьюченных поклажей. Пачеко каждому животному раздвинул пальцами губы и тщательно осмотрел, нет ли черноты вокруг рта.

— Сойдут, мой капитан, — сказал он Доменико Альмодовару.

Капитан ничего не ответил, но глаза его вспыхнули, будто в них подули, как в жаровню.

Поликарпио, уже полностью освещенный солнцем и из-за этого выглядящий каким-то сжавшимся, ворохом старого тряпья, что истлевало под солнечными лучами, не смог удержаться над землёй и ударился плечом о спрессованную повозками дорогу. Он словно нашел положение, которое давно искал, спокойно закрыл глаза, но, затем, сразу открыл их: один из мулов, огретый

прикладом винтовки, истошно закричал, и Пачеко почудилось, что крик животного был единственным ориентиром в залитом солнцем пространстве.

— С двух сторон! Сказал же, охранять их с двух сторон! — раздался повелительный голос капитана.

Они появились, как изображение, которое рассматривают сквозь грязное стекло, и Летисия, приподняв край юбки и поплевав на него, начала энергично протирать окно, чтобы лучше разглядеть происходящее на улице. Тем самым она обнажила свои полные ноги, но два пеона, зашедшие в харчевню выпить по глотку текилы, только скользнули глазами по её белым ляжкам и тоже уставились в окно.

— Всё, мучачос, всё! — запротестовал заплетающимся языком Поликарпио. — Больше никому не дам, мне ничего не останется.

— Да в вашей фляге уже ничего нет, сеньор Поликарпио, — залился смехом Фелисиано Эчеверрия. — Наши ребята основательно приложились. Ну и старик...

— Просто, сеньор Поликарпио, не нужно напиваться с утра, — сказал Диего Каучильо, а Маурисио, тощий и длинный, которому китель доставал до пупка:

— Нужно рассчитывать, сеньор Поликарпио. Но на два глотка я вам оставил.

Капитан поморщился и отвёл взгляд. «Никто из них не хочет тащиться с индианками через пустыню, как и я, потому и балагурят, стараются выглядеть весёлыми. Как-то неестественно всё это», — постепенно угасла его мысль, словно вдоль улицы дохнул ветер и затих у крайних домов.

— Нет, — бормотал Поликарпио. Он затянул флягу под серапе, пытаясь её таким способом спрятать, но она выпирала через шерстяную накидку, словно огромная женская грудь, и солдаты покатывались со смеху. Затем Поликарпио приподнялся и, уже сидя, начал прятать флягу себе за спину, но для этого ему нужно было отодвинуться от стены дома, что тоже его не устраивало, ибо он начинал клониться телом либо вперёд, либо в бок. Недоумённо оглядев улицу, старик принялся рыть справа от себя ямку в песке.

От ступающих между лошадьми и мулами солдат, от самих мулов, навьюченных сверх меры, воздух возле дома Эрреры колебался, будто состоял из разных по плотности пластов или полупрозрачных колонн. Он напоминал призрачный лес, деревья которого только угадывались и шатались из стороны в сторону, словно их нагибал ураганный ветер. Но пыль высоко не поднималась, хотя от такого движения она должна была укрыть улицу до крыш или окон домов. Она клубилась низко над землёй, иногда стелилась сизыми языками, словно между ног животных и людей протягивали светлые простыни, которые постоянно рвались на длинные лоскуты.

Все настолько были заняты поклажей и осмотром сбруи, что, наконец, девочек-апачек Летисия увидела первой. Они словно выплыли со двора, крепко держась за руки. Из-за клубящейся над землёй пыли их робкие шаги трудно было разглядеть, поэтому создавалось впечатление, что они стоят неподвижно, но их передвигает какая-то сила, которая минутой спустя оказалась Мигелем Эррерой и несколькими его слугами, идущими позади индианок и толкающими их.

Летисия после поняла, почему воспринимала девочек застывшими, однако перемещающимися над землёй под воздействием неизвестной силы, — пространство для них не существовало, и ориентиры, как-то: двор, а, после, длинная улица, для девочек не изменялись и не чередовались один за другим. Для них расстояние отсчитывало или разворачивало в пространстве высокое раскалённое солнце. Оно сразу залило их худые тела, осветив каждую мельчайшую подробность, — растерянные лица, совершенно без детского выражения, но не постаревшие, а как бы шагнувшие из раннего, беспечного возраста в то время, когда вся жизнь оказывается далеко позади. И кроме Летисии только сержант Пачеко задержал на девочках свой взгляд. Задержал надолго, неестественно долго, чтобы, после отвести его к высокому солнцу, ибо подумал, что мысли пленниц раскалены: они как расплавленный металл. Они яростны, — слотнул Пачеко и сам на несколько секунд наполнился ослепительным солнечным светом, который до состояния тлена выжиг в его сознании последнюю надежду улизнуть от задания отвести апачек через пустыню в Коауильо. Всё оказалось гнусной и постыдной реальностью, а не красочным рассказом за чаркой кактусовой водки, — он и его солдаты будут сопровождать детей, проданных в рабство.

Летисия внимательно смотрела на сержанта, который стоял с опрокинутым к солнцу лицом, и она хорошо понимала, что он подставил лицо под горячие лучи отнюдь не для того, чтобы они обласкали его щёки и лоб. «Он хочет, чтобы солнце испекло его», — подумала Летисия, однако не испытала к Пачеко чувства жалости, — и сержант и проданные в рабство дети для неё были как красивые животные, которых ведут на убой или для ярмарочной потехи.

С силой дохнув на оконное стекло, она снова прошла по нему подолом юбки, но её сознания всё же коснулась мысль, что пыль, которая струилась между ног апачек, по цвету была такой же, как и её давно не стиранный передник.

Заминка произошла из-за того, что солдаты хотели поставить девочек цепочкой, одна за другой, тогда как те пытались держаться группой, обступив самую старшую, которой было лет 14-15. Самой младшей девочке было лет 6, не больше. Её крепко держала за руку самая старшая индианка. Детей в самом деле можно было назвать красивыми, если бы не многодневная грязь, которой были покрыты их лица и руки. Они давно не умывались, от самого Трес Кастильос

вообще не видели воду, кроме той, которую им давали попить. А от Трес Кастильос до Чиуауа около ста лиг, и почти сто лиг от Чиуауа до Ларго Камино.

— Пять девочек, — произнесла Летисия вслух и быстро отошла от окна, чтобы заняться приготовлением пищи.

Дети пытались выглядеть невозмутимыми, но всё равно на их лицах проступало то любопытство, то испуг, однако, все они жались к пятнадцатилетней апачке, и невозможно было определить — девочки это делают из-за страха, пытаясь найти возле старшей индианки хоть какую-то защиту, или стремятся защитить её, оградить, как самую взрослую, от посягательств грубых мужчин. Их давно не мытые лица были тёмными, намного темнее медно-коричневого цвета кожи апачей. Их глаза светились, но не только потому, что на фоне чумазых лиц казались ярче. Пачеко давно знал об этом, — люди, вырванные из просторов первозданной природы, всегда имеют такие глаза, которые смотрят будто из другого мира.

Солдаты не знали, как себя вести с пленницами: всё же, те были детьми. Никто не решался на угрожающий окрик или бесцеремонный подзатыльник. Девочкам подсказывали, размашисто жестикулируя, что нужно выстроиться в цепочку, но маленькие апачки ещё сильнее жались друг к дружке.

— Мы ведь солдаты, мой капитан, — объяснил Диего Каучильо.

— Поделикатнее, Чано, — сказал Эчеверрии Доменико Альмодовар и сразу, насунив брови:

— Пусть идут, как хотят, как им удобно.

— И я так думаю, мой капитан, — заулыбался Фелисиано Эчеверрия. — Дети ведь.

— А я бы так не думал, — вынырнул из-за пленниц Эррера. — Апачи это, дон Доменико. Нужно глядеть в оба.

— Да ладно, дон Мигель, — слышался голос лейтенанта. — У страха глаза велики. Справимся как-нибудь.

— Вот так, вот так, — показывал девочкам Диего Каучильо, как нужно построиться, но они испуганно тарасились на него.

Истошно завопил мул.

— Сказал же, не бить животных! — взорвался дон Мигель, и молоденький солдат, сплунув, отошёл от нагруженных мулов.

— Давай! — крикнул Эчеверрия. — Они пойдут за мулами — и так всё понятно.

Возле Доменико Альмодовара стоял жеребец и нетерпеливо перебирал ногами. Капитан удовлетворенно кивнул, когда колонна, наконец-то, тронулась, словно состояла из деревянных раскрашенных фигурок на ярмарочной карусели, которая начала двигаться. Неподвижно восседал на лошади только сержант Пачеко: сузив глаза, он внимательно пересчитывал солдат, мулов и пленниц. Пересчитав всех, Пачеко полуобернулся, чтобы сообщить об этом капитану, но

Доменико Альмодовар пристально посмотрел на него, и сержант опустил верхние веки, словно для глубокого сна, а, затем, резко вскинул их, дав понять капитану, что всё в порядке. Капитан потянулся всем телом, пробуя свои мышцы перед долгой ездой в седле, и только кивнул головой.

— Мой капитан, — сказал Пачеко, отдавая честь, и последовал за колонной.

Заполненная животными, людьми и стелющейся за ними пылью улица внезапно сократилась: её дальнего конца, вползающего, как сухое русло, в пустыню, не стало видно. Улицу словно макнули в солнце — всё окрасилось оранжевым светом, всадники покачивались над пылью, как статуэтки, стоявшие на столе, который начали передвигать. На зубах у Каучильо заскрипел песок.

— Сеньор Поликарпио, — сказал он, прощаясь со стариком, — Спасибо за самогон.

Поликарпио втянул голову в плечи. Он пытался вспомнить солдата Каучильо, но взгляд его был ослеплым, выцветшим, без радужек — один мутный алкоголь. Пьяно оглядевшись, он опять начал разгребать ладонью песок, чтобы спрятать в нём флягу.

Девочки шли прямо, не поворачивая голов, однако те, кто маломальски знал апачей, понимали, что они своими широко открытыми глазами фиксируют всё, каждую мельчайшую деталь, каждый незначительный признак, создавая в своём сознании из окружающей их местности и быстротечных событий отдельную крошечную вселенную, которой после, чтобы охарактеризовать её, дадут название «селение с солдатами». Они все были этому обучены ещё с периода бессловесного детства. Но самая младшая девочка, держась за юбку самой старшей, вела себя по-детски непринуждённо и часто оглядывалась по сторонам, хотя из-за клубов пыли ничего не могла конкретно разглядеть. Иногда в её глазах появлялось удивление. Бросив взгляд на Поликарпио, она замедлила шаг, из-за чего потянула за юбку, словно пыталась остановить, старшую девочку. Встретившись с ней глазами, старик принялся интенсивнее зарывать флягу в песок. Свободная рука девочки начала медленно подниматься, словно она хотела поправить волосы или на кого-то указать ладонью, а на губах появилась растерянная улыбка. Но распрямленная ладошка не успела указать на пьяного Поликарпио, — старшая девочка, сжав пальцы в кулак, ударила младшую в лицо. Девочка повалилась на песок. Она застонала через глубокий всхлип, словно захлебнулась, как-то по-взрослому, будто была высокой и сильной. Даже не верилось, что щуплое тельце может так отреагировать на удар кулаком. Рот залило кровью, и дальше она не проронила ни звука, — покорно, даже виновато, придерживаемая старшей девочкой, поднялась и с отрешённым выражением на лице пошла дальше.

Старшая девочка только скользнула суженными зрачками по Поликарпио, — глаза её вспыхнули, будто в её взгляд опрокинули холодную и чистую воду, а Эчеверрия, как-то нараспев, растягивая слова и поднимая голос до взвинченного тона, прокричал:

— Дикари! Хуже зверей, мой капитан!

Доменико Альмодовар, скосив на Эчеверрию глаза, прошёлся пальцами по своим усам, из-за пыли ставших пепельными. «Что бы было с тобой, Чано, — подумал он, — если бы на твоих глазах убили твоих родителей, а затем тебя погнали, как скот, к самому Коауильо?»

Пачеко проследил глазами взгляд капитана. Нажав ногами, обувными в сандалиии, на бока коня, пустил его рысью, и быстро проехал мимо Поликарпио к девочкам, чтобы находиться рядом с ними.

Облако пыли, поднимаемое и животными, и людьми вкатилось в белесый простор пустыни, улица словно всплыла под солнце, как узкий плавник длинной рыбы.

Летисия, вышедшая из харчевни во двор, бросила взгляд на старика. Поликарпио сидел на солнцепёке, положив ладонь на полужарытую флягу. Осмотрев Летисию слезящимися подслеповатыми глазами, он медленно подкатил зрачки под лоб и начал клониться вперёд. Летисия не видела, как он повалился на песок и моментально захрапел. Войдя в помещение, она повелительно бросила двум пеонам:

— Мучачос, перенесите сеньора Поликарпио в тень. Возле него, в песке, зарыта фляга. В ней ещё должно остаться немного самогона. Но я вам налью по чарке текилы, когда вы перенесёте старика.

2

Они выехали из Ларго Камино в самое жаркое время дня, — действия необдуманные, но необходимые. «Хотя о чём тут можно было думать?» — размышлял Пачеко. Дон Мигель ждал, когда пеоны пригонят крепких рабочих мулов из далёкого пастбища, тянущегося полосой чахлой травы вдоль почти пересохшего ручейка. Солдаты в селение прибыли глубокой ночью, чтобы сопровождать пленниц в Уальоа, что на границе со штатом Коауильо. Кавалеристы ещё не спешили, а дон Мигель послал своих слуг за мулами. И пока мулов пригоняли, а потом нагружали поклажей, уже наступил полдень. Утешало одно — первый день похода в Коауильо будет неполным: час, два, а потом наступит вечер и жара начнёт спадать.

Пачеко ехал позади колонны и при выезде из селения оглянулся, чтобы бросить взгляд на улицу и дома. Он надеялся, что никогда больше здесь не окажется. Сеньора Поликарпио не было, — совершенно пустынная улица пролежала между двумя рядами домов, как натянутый ремень, на котором, подобно опасной бритве, солнце оттачивало свой острый край.

«До источника Чинапа два дня пути, то есть колонна придёт в Чинапу только послезавтра в полдень, — подумал сержант. — Двое суток придётся пить тёплую, со вкусом непромытых кишок воду из кожаных бурдюков».

Постепенно колонна растянулась лентой пыли, похожей на мутную воду, на поверхности которой плавали тёмные пузыри — головы людей и лошадей. Маленьких апачек не было видно. Они двигались в центре колонны, и их постоянно укрывала пыль. Пачеко, который переместился в голову колонны, периодически останавливал передовых, чтобы все остальные подтянулись.

— Возможно, это и к лучшему, — сказал капитан, подъехав к Пачеко, серый из-за пыли. Пленниц никто не увидит, даже если будет внимательно наблюдать за колонной. Я говорю, что вдруг поблизости рыскает шальной апач.

— Если девочкам придётся постоянно глотать пыль, они долго не продержатся.

— Вернись и посмотри, — сказал Доменико Альмодовар. — Если нужно, перемести их ближе к голове колонны.

Пачеко иноходью поскакал к середине колонны. Он чуть не сбил индианок конём, разглядев их только в нескольких шагах от себя. Девочки были укрыты пылью с головы до ног, влажно блестели лишь их глаза — отверстые в просьбе дать воды и позволить хоть немного передохнуть.

— Дай им воды, Чано, — сказал Пачеко. — Только по два глотка.

— А остальным? — спросил Эчеверрия.

— Остальные потерпят, Чано, — отрезал Пачеко. Он окинул взглядом северную сторону пустыни, — ни души, ни былинки, даже марева не было: бесконечный ровный стол, серо-жёлтый и постепенно тускнеющий.

— Пачеко! — донёсся голос Диего Каучильо. — Почему детям не разрешили ехать верхом? У дона Мигеля что — мало мулов? Мы так будем тащиться по пустыне до конца дней.

— Так они при первой возможности попытаются убежать, — ответил за сержанта Фелисиано. — Потом вылавливай их поодиночке в пустыне.

«А ведь это идея», — подумал Пачеко. Проследив, чтобы пленницы выпили только по два глотка воды, он вернулся в голову колонны и поделился с капитаном своими мыслями.

Доменико Альмодовар долго разглядывал его, затем стёр ладонями пыль с лица.

— Как-то странно у нас всё, — сказал он. — Я подумаю. До вечера уже недалеко. Не умрут, если пройдут пешком.

Под вечер все немного оживились: юго-восточный горизонт послал им навстречу несколько маленьких смерчей, которые гибко раскачивались, расширяясь в грибовидные кроны, и напоминали диковинные деревья, пересекающие безжизненную местность в поисках воды и забвения.

Передний мул застыл, как вкопанный, упираясь растопыренными ногами в песок. Полосу пыли медленно относило на запад, и она постепенно исчезала, как пена на берегу. Колонна обнажилась.

— Заставьте его идти, — сказал капитан, ни на кого прямо не посмотрев, а окинув глазами юго-восточный отрезок горизонта.

Солдаты начали гарцевать на лошадях возле неподвижно стоящего мула, подзадоривая не столько измученное животное, сколько самих себя. Похожая на просачивающуюся сквозь высь каплю, зажглась вечерняя звезда.

— Нужно останавливаться здесь, мой капитан, — тихо проговорил Доменико Альмодовару сержант Пачеко.

Капитан отвёл от себя руку, сделав ладонью полукруг — мол, «на твоё усмотрение, Пачеко», и Пачеко рявкнул хриплым натруженным голосом, ибо полдня перекрикивал ропот солдат и фыркание мулов:

— Здесь!

Каждый знал свои обязанности: два солдата снимали поклажу с мулов, три человека разъехались в разные стороны от лагеря и застыли на лошадях. Остальные собирали редко встречающиеся сухие стебли юкки и чапаррала, раскатывали на земле одеяла, только несколько пленниц, плотно прижавшись друг к другу, стояли не шелохнувшись.

Капитан поехал по кругу, словно бы в раздумии, но все знали, что он проверяет, как каждый из них справляется со своими обязанностями. Встречаясь зрачками со всполошённым взглядом солдата, Доменико Альмодовар устало опускал глаза, а, когда поднимал их, его подчинённый уже отдавал ему честь и бормотал:

— Мой капитан.

Размеренно и неторопливо Альмодовар наматывал уже второй круг, когда встретился глазами с Пачеко.

— Вот так и стоят, сержант, — сказал он, — словно не устали. Словно они и не дети вовсе.

— Да дети они, мой капитан, — ответил Пачеко. — Просто нужно учитывать, что, в отличие от всех остальных людей, апачи, даже если сильно измотаны, вида не подают.

— Вот я и говорю, — сказал капитан, — вид у них, как у статуй. Кажется, что среди пустыни поставили деревянные болванчики.

Зрачки Пачеко скользнули по лицу капитана.

— Я всё понимаю, Пачеко, — улыбнулся Доменико Альмодовар. — Так возникают чёрствость и равнодушие, когда индейцев начинают воспринимать, словно нечто неодушевлённое. Я контролирую себя, сержант, и, не оборачиваясь, добавил:

— Да усади ты их, Пачеко. Я же вижу — они с ног валяются. Дай им понять, чтобы разожгли костёр. Апачи ведь хорошо умеют это делать. Займи их, сержант.

— Пачеко долго и настороженно смотрел в спину удаляющегося капитана.

— И не щурь глаза, — сказал Альмодовар, разворачивая коня, чтобы снова начать объезжать лагерь по кругу. — Командуй.

3

Сумерки придвинулись снизу — из земли. Вышли из неё, как тёмные воды, и только бирюзовое небо ещё отливало атласом, пока на его западном крае алый огонь не затянул в себя остальные участки высоты.

Два человека сторожили лошадей, два девочек и мулов, четыре охраняли лагерь, остальные укладывались спать. Нависая лицом над крошечным костром, Доменико Альмодовар расстёгивал пуговицы кителя.

— Сержант, — сказал он, когда в поле его зрения появился Пачеко, проверяющий караульных, — садись.

Он указал глазами на свежее испеченные кукурузные лепёшки.

— Перекуси.

Сержант присел, перекинул на ладони горячую лепёшку и, закрыв глаза от удовольствия, вонзился зубами в тортюлю.

— Вроде как первый день прошёл, — сказал капитан, разглядывая огонь.

— Угу, — ответил Пачеко, а, когда пережевал и сглотнул, к костру подошёл Эчеверрия.

— Можно вопрос, мой капитан? — спросил он.

Капитан сделал полукруг ладонью, словно отвлекал от огня тень, как готовящуюся к броску гремучую змею.

— Вот я и говорю, мой капитан, — сказал Эчеверрия, — дон Мигель мог дать повозку, чтобы на ней везти пленниц. Не выдержат они четыре дня в пустыне.

— Пачеко знает, сказал Альмодовар и распахнул китель.

— Возле Чинапы начинаются возвышенности, — сказал Пачеко. — Ущелья и извилистые арройо. Там узкая тропа, по которой ходят те, кому нужно добраться от Ларго Камино до Уальоа. Повозка не пройдёт.

Эчеверрия многозначительно кивнул.

— Что-то я не вижу лейтенанта, — сказал он звонким голосом, подражая манере говорить Франциско Берручете.

От уголков глаз Чано и Пачеко разбежались лучики, губы расплылись в улыбке.

— Да ладно вам, мучачос, — сказал Альмодовар. — Его определили в наше подразделение только до Коауильо. Ему как раз туда, к родственникам, и нужно.

— Путешествовать к мамочке за счёт службы, мой капитан? — скривился Пачеко, одновременно подбросив ветку в костёр.

— Не я его родил, так что не мне определять его судьбу, — ответил Доменико Альмодовар.

Громко заржала одна из лошадей.

— Что там, Паскуаль? — крикнул Пачеко.

— Да всё в порядке, сержант, — ответил Паскуаль. — Не можем же мы всех лошадей сразу накормить ячменем. По очереди, — его голос перетёк в затихающее эхо, словно люди находились в глубоком ущелье, но их крики не отражались от каменных стен, а извиваясь, удалялись на юг между поворотами узкой расщелины. — По очереди!

Доменико Альмодовар расстелил возле костра одеяло и, прощупывая через него неровности на земле, пытался определить, куда лучше положить седло. Пачеко хотел подняться и отойти в сторону, но, встав на ноги и распрямив спину, передумал.

— Что ещё? — спросил капитан, перестав водить ладонью по одеялу.

— Мой капитан, — тихо проговорил Пачеко, — завтра индианки будут двигаться пешком или верхом?

— Как ты себе это представляешь? — несколько раздражённо спросил Альмодовар. — Заставим нескольких солдат посадить их на сёдла сзади себя?

— Я понял, мой капитан. Сидя сзади солдата, апачка может хватить у него из-за пояса нож или пистолет, — сказал Пачеко.

— Угу, — хмыкнул Доменико Альмодовар. — Заставим солдат посадить индианок спереди себя, так?

— Ну, можно, — пробормотал Пачеко.

— Чтобы наши кобели затискали их, сержант? Мы должны привести индианок в Уальоа нетронутыми. За них заплачено. И нам будет заплачено за их полноценную доставку.

— Да ведь мулов можно разгрузить, — уже громко проговорил Пачеко. — Каждому всаднику какое-то барахло: ну там бурдюк или мешок с мукой. А на мулов посадить девочек.

— И кто меня, как командира, назовёт нормальным, Пачеко? — спросил Альмодовар, поднявшись на ноги. — Солдат должен быть подвижным, маневренным. Вдруг апачи, которые остались в живых после бойни в Трес Кастильос, пойдут по нашим следам?

Пачеко покачал из стороны в сторону головой, будто не мог понять слов капитана.

— Ещё день пути на солнцепёке и пешком, и они свалятся. Придётся делать носилки или волокуши, чтобы таким способом доставить пленниц в Коауильо.

— Ты сталкивался с апачами? — спросил капитан. Он прилёг и смотрел на Пачеко снизу вверх зелёными глазами, которые в полумраке вечера не утратили сочной яркости.

— Приходилось, мой капитан.

— И что ты скажешь о них? Что ты скажешь об их выносливости?

— Что они стожильные, — нехотя ответил Пачеко.

— Вот так-то, — сказал капитан. — Проверь посты.

Пачеко уже удалился шагов на десять от лёгшего отдыхать капитана, но услышал его голос:

— Может, когда дойдём до Чинапы. Я подумаю, Пачеко.

4

В полночь сержант проверил караульных и лишь потом позволил себе лечь на разостланную возле костра скатку. Помимо усталости он испытывал чувство опустошенности, но оно не теснилось в груди и не оставляло на сердце осадок. За годы службы на севере Мексики он ко многому привык: просто мысли преслали волновать сознание, будто он, Пачеко, заранее нашёл ответы на все вопросы.

Восточное небо было тёмным, как речной ил. Чудилось, что из него через несколько часов потечёт мутная полоска воды: день постепенно расплещется, и пустыню затомит плотной, изнуряющей жарой.

Тоскливый вопль, перешедший в завывание, ударил по лагерю и через несколько мгновений затих, будто его затянуло в длинную нору и там смяло до состояния судорожных всхлипов. Почти все вскочили на ноги. Каучильо бежал босиком, забыв обуть сандалии, но держал винтовку наперевес.

— С восточной стороны! — крикнул он.

— Индиос! Это индиос! — донеслось несколько криков с разных концов лагеря.

Поднявшись, Пачеко не стряхивал со своего сознания сон, но сразу побежал за Каучильо — машинально, наученный многими годами службы, оглядывал лагерь, и больше сердцем, гулко стучащим в груди, нежели мыслями, отмеривал дальнейшие свои действия.

Подоспел капитан. Увидев, что Пачеко совершенно спокоен, выкрикнул, растягивая гласные:

— Диего, Маурисио, посмотрите, что там?

— Надо бы с огнём, так ничего не разглядеть, — зашептал кто-то из тишины.

Каучильо вернулся, вытянул из костра тлеющую головешку и, крадучись, пошёл в пустыню.

— А для чего красться? — спросил Пачеко. — Ты и так хорошая мишень.

Капитан скривился и оглянулся на лагерь, — блеснули глаза проснувшихся и сбившихся в стайку девочек, словно у ночи был зародыш, второе её начало, которое притаилось среди людей и робко мерцало пятью парами звёзд.

— Ты услышал, Каучильо? — крикнул Эчеверрия. — Апачи сразу тебя срежут.

Каучильо обернулся, осветив жаром головешки своё вытянутое от страха лицо.

— Всё нормально, мой капитан. Ложная тревога, — сказал Пачеко и, не обращая внимания на столпившихся солдат, побрёл босиком вокруг лагеря, чтобы проверить — все ли дежурные на месте.

— Да в чём дело, Пачеко? Ты объяснишь? — спросил Альмодовар, но без злобы и раздражения.

— Так кричит кузнечиковый хомяк, — донёсся голос сержанта из темноты.

— Я знаю, мой капитан, — раздался голос Педрито. — Это ночной грызун, похожий на крысу. На охоту выходит ночью. Своим криком он подражает вою волков. Говорят, что таким способом он обозначает свою территорию.

Пачеко зорко осматривал людей, которые возвращались к своим раскатанным на земле одеялам. Лошади на западной стороне лагеря стояли плотным табуном, но им передалось волнение, всполошившее людей. Прижимаясь друг к другу и громко фыркая, они все перемещались против часовой стрелки и, наверное, разбежались бы, но их сдерживала фиксирующая верёвка. Со стороны пустыни возле табуна никого не было, слабо улавливался зрением лишь силуэт часового на севере.

— Паскуаль, — позвал Пачеко.

— Я здесь, Пачеко, — отозвался Паскуаль и шагнул к сержанту из той стороны, которая примыкала к лагерю.

— Олух. Ты бы ещё забрался в середину лагеря. Где твоё место? — незлобиво, больше для порядка спросил сержант.

— Хотел посмотреть, что случилось. Все побежали на восточную сторону.

— Живо на своё место. Кони, вон, разволновались, — сказал Пачеко и побрёл осматривать лагерь дальше. К капитану он вернулся через несколько минут. Тот всё ещё продолжал стоять на восточной стороне лагеря.

Неожиданно в истлевающий свет полупогасшего костра шагнул лейтенант Берручете. Он поправлял кобуру на широком ремне.

— Мой капитан! — чуть ли не рявкнул лейтенант, потому что сразу сорвался голосом вниз, к земле, увидев, как Пачеко приложил палец к своим губам.

— Доменико, я... — лейтенант попытался говорить непринуждённо, но в глазах его плескалась растерянность.

Альмодовар сделал движение ладонью как бы от себя, будто отодвигал ветку или снимал паутину, и лейтенант понимающе кивнул. Они обошли Берручете с двух сторон — Альмодовар и Пачеко.

— Да не смотри ты на меня так, — сказал Альмодовар сержанту. — Он с нами до Коауильо. Приставили его к нам. Сбоку припёку.

— А я и не смотрю, мой капитан, — ответил Пачеко. — Темнота, хоть глаз выколи.

Ближе к рассвету сержант проснулся от лёгкого внутреннего толчка, словно он где-то находился, замешкавшийся и неуверенный, и чья-то рука толкнула его в пространство, где было бесконечно неуютно и ужасно одиноко. Сквозь полуоткрытые веки он посмотрел на восток — тяжёлый монолит ночи постепенно рассасывался. Он ничего подозрительного не увидел, не услышал никакого, даже малейшего шума, но начал осторожно подниматься, сжимая в правой руке винтовку. Чувство внезапной, всепоглощающей тоски охватило его. Так было всегда, когда он чувствовал опасность.

На востоке звёзды постепенно меркли, словно высыхали, как под солнцем капли росы. Лагерь со спящими людьми казался бугристым участком на плоской равнине, могильными холмиками какого-то заброшенного кладбища. Над несколькими кострищами вился слабый дым, словно души умерших струились из тьмы земли в начинающую светлеть высь.

— Тревога! — сорвал громкий крик темноту, как занавесу. Над лагерем раздался долгий вздох, и сразу одеяла и одежды оторвались от земли, вытряхнув из себя всполошённых людей.

— Лошадей нет, мой капитан!

— Это голос Паскуаля, — сказал Пачеко, подбегая к Доменико Альмодовару.

— Мулы! Где мулы? — кричал Эчеверрия, мечась вдоль западного края лагеря.

И сразу всё стихло, только костры разгорались и наполнялись треском, — дежурные сразу же, как только раздался крик «Тревога», подбросили веток в огонь.

Согнувшись, Пачеко внимательно осмотрел участок, где привязали на ночь лошадей. Перед закатом всех скакунов, сначала расседлав их, накормив и напоив водой из бурдюков, которые несли мулы, собрали у западной стороны лагеря. На шею накиннули верёвочные петли, а в петли, для фиксации, чтобы животные ночью не разбегались, продели длинную веревку, которую привязали к вбитым в землю колышкам. Сплетённая из волокон агавы веревка бледно извивалась, а в некоторых местах была втоптана в песок копытами.

Капитан стоял, неестественно выпрямившись, неотрывно смотря в сторону западной пустыни, где темнота ещё не рассосалась, а звёзды трепетали бархатным светом, словно были далёкими насекомыми, которые вибрировали светящимися крыльями.

От лагеря следы копыт вели на запад. Даже неопытный глаз мог заметить, что лошади брели медленно, иногда останавливаясь, а затем, снова начинали двигаться. По неразберихе следов можно было догадаться, что животных никто не направлял: некоторые из них часто отходили в сторону, а потом возвращались в табун.

— Уж очень всё странно, мой капитан, — доложил Альмодовару Пачеко и подробно поделился своими наблюдениями.

— Как в Ларго Камино, — сказал Эчеверрия. — Лошади просто разбегались, вот и всё. Но кто-то освободил их от фиксирующей верёвки.

Пачеко кивнул, соглашаясь со словами Эчеверрия.

— Надо очень внимательно, не теряя бдительности, пойти по следам, — сказал он.

— А если, — один из солдат указал рукой в темноту, — там апачи?

— Бери бойцов, сколько нужно, и идите по следам, — распорядился Доменико Альмодовар. — Без лошадей мы в полной заднице. — А затем громко и непрекаемо:

— Паскуаль!

— Но я не знаю, я ведь не спал, — сказал Паскуаль. — То есть я задремал, мой капитан, на секунду, а, когда открыл глаза, лошадей уже не было.

— Пачеко! — крикнул капитан. — Паскуаль ставишь дежурным на всё время похода.

— Да, мой капитан, — донёсся голос из темноты.

Постепенно рассветало, но на западе, всего шагах в двухстах от лагеря, стена мрака оставалась незыблемой: и кусты чапаррала и редкой юкки выглядели, как присыпанные чёрно-серой золой. Следы, оставленные лошадьми, можно было разглядеть, лишь низко наклонившись и упёршись в них взглядом вертикально. Если же смотрели на следы по наклонной, вскользь, вмятины в земле словно смывало пеленой.

— А следы-то свежие, Пачеко, — прошептал Каучильо. — Вряд ли прошло более, чем полчаса.

Солдаты ещё сильнее пригнулись к земле. Они медленно поворачивали головы, осматривая пространство вокруг себя.

И вдалеке от лагеря следы показывали, что лошади лениво брели, никто их не тянул и не подталкивал. Табун сильно растянулся: только те животные, что шли впереди, продолжали двигаться на запад. Остальные, одно за другим, разбредались, и из-за этого площадь, на которой можно было проследить отпечатки копыт, становилась неохватной, выскальзывала и уходила на юг и на север, вне пределов возможностей солдат изучать землю и держаться тесной группой.

Фелисиано Эчеверрия, крадущийся на несколько шагов впереди Пачеко, резко присел. Он подобрал что-то с земли, полуобернулся на сержанта, подбросил и поймал ладонью тёмный комочек. Рассвет ещё не очертил его лицо, но Пачеко догадался, что злая усмешка скривила губы Фелисиано.

— Что там, Чано? — шёпотом спросил Пачеко.

Солдаты застыли. Все так и остались стоять в полусогнутом положении, но еле различимыми наклонами голов назад, к спине, из-за чего подбородки уходили вперёд, как бы спрашивали: «Что дальше, сержант?»

Пачеко, вытянув руку с растопыренными пальцами, несколько раз опустил её, будто пытался кого-то наклонить: «Оставаться на месте».

Низко пригнувшись, подошёл Эчеверрия и положил в ладонь Пачеко тёмный комочек. Пачеко присел на корточки, очистил комочек от земли.

— Сушеная слива, — сказал он.

— Без косточки, Пачеко, — многозначительно прошептал Эчеверрия. — Дикая слива.

— Покажу её капитану, — сказал Пачеко, поднял руку и махнул ею вперед.

Даль как-то резко посветлела, словно выбросилась из темноты. То, что скрывалось в ней, кусты чапарраля и несколько бредущих лошадей, внезапно проступило, — опаловое, истлевающее в мутной дымке.

— Сухофрукты — лакомство для лошадей, — задумчиво произнёс Пачеко.

— А то, — прошептал Эчеверрия. Злая ухмылка так и не покинула его лица. — Апачи.

Пачеко провёл двумя пальцами под глазами, будто прочертил на переносице полосу, а, затем, указал рукой вперёд.

— Индиос, — прошелестел шёпот над равниной.

И справа и слева от солдат, шагах в двухстах от них, виднелись лошади, которые медленно переступали ногами и что-то тщательно, опустив головы, искали на земле.

— Стой, — прошептал Пачеко. Чано остался стоять на полусогнутых ногах, но начал осторожно снимать с плеча винтовку.

Они бы ничего в сумраке не заметили, если бы несколько лошадей на западе, шагах в трёхстах от них, оставались неподвижными. Но они вздрогнули и быстро помчались с юга на север, вдоль фронта крадущихся солдат. Одновременно с нарастающим топотом копыт чётче вырисовывались гнемые тела лошадей и развевающиеся гривы.

— Поймать остальных лошадей! — крикнул Пачеко.

Над одной из лошадей взлетел всадник. Его выцветшая рубашка вздрагивала вдали бледным пятном, длинные волосы от быстрой скачки отбросило назад.

Всадник намеренно гнал лошадей вдоль фронта крадущихся по следам солдат, намереваясь забрать с собой или разогнать остальных скакунов. Он был слишком далеко для выстрела, но всё равно прижимался к шее коня, и, если бы не светлая рубашка, его бы трудно было разглядеть.

Пачеко и Эчеверрия вскочили на первых пойманных лошадей. Они не привыкли скакать без седел, не упираясь ногами в стремена, но всё равно, ударяя пятками по бокам скакунов, пустились в погоню.

Всадник перестал гнать лошадей с юга на север. Он резко повернул на запад. Пыль, увлажнённая утренней росой, почти не поднималась, а вскидывалась из-под копыт, как клочья грязной тяпки.

— Не догоним, — сказал Пачеко, осадив коня. — Бесполезно.

5

Поликарпио зашарил рукой возле себя, когда солнце снова добралось до него: в тени оставались лишь голова и верхняя часть тела. Он плотнее прижался к стене — от жары и выпитого алкоголя старческие суставы выкручивало и ломало. Летисия так и подумала, когда вышла на улицу, чтобы вылить грязную воду, которой мыла пол. Она ударила выплеснутой водой по жёлтому, сгущённому зноем воздуху, словно выбросила из ведра полупрозрачную птицу, от которой, через мгновение, осталась лишь тень на земле, а саму птицу скомкала и тут же сожгла жара.

Летисия посмотрела вдоль улицы, куда ушли солдаты, и только мельком взглянула на Поликарпио. Подойдя к калитке, оглянулась — старик пытался подняться на ноги. «Подожду», — решила она, снова бросила взгляд на юго-запад, но не увидела завесы пыли. «Уже удалились», — подумала Летисия и сразу, громко:

— Вам помочь, сеньор Поликарпио?

— Я сам, дочка, — ответил старик. Опираясь рукой о стену, он неуверенно поднялся и сделал шаг вперёд, но потом остановился.

— Я бы хотел ещё, — сказал он, — протянув перед собой пустою флягу.

— Само собой, — сеньор Поликарпио, — ответила Летисия. — Но я ничего бесплатно не даю.

Поликарпио похлопал себя ладонью по правому боку, будто у него на поясе висел кошель, который должен был зазвенеть новенькими эскудо и сентаво.

«Не спасёт его бруха, даже если у неё есть корень апачей», — подумала Летисия. Подождав, когда старик перейдёт улицу, помогла ему войти в дом. Поликарпио достал из кармана монету в 25 сентаво и бережно положил её на стол. Скользя глазами по монете, Летисия показала старику большим и указательным пальцами, сколько налёт текилы во флягу. Поликарпио кивнул.

— Вы из Эскандидо, сеньор Поликарпио? — спросила она.

— Не совсем, — ответил он заплетающимся языком, — но сейчас гощу у племянника, который там живёт.

— Эскандидо небольшая деревня, полтора десятка домов вокруг непересыхающего источника. Я там знаю почти всех, — улыбнулась Летисия, надеясь, что Поликарпио скажет, кто его племянник.

— Так он, — сказал Поликарпио и сразу умолк, вперившись жадным взглядом в бутылку текилы, которую Летисия сняла с полки грубо сколоченного шкафа.

— Такой же пьяница, как все мужчины, да, сеньор Поликарпио? — спросила Летисия.

Поликарпио радостно закивал.

— Куда вы сейчас? — спросила Летисия, наливаю во флягу текилу.

— Искать бруху.

— В такой солнцепёк? — опять спросила Летисия. — У нас её нет. Живёт на окраине селения одна знахарка. Подождали бы до вечера.

— Мне бруха сейчас нужна, — пробормотал старик.

— Но брухи в Ларго Камино нет, сеньор Поликарпио.

— Так понятно, — опять пьяно улыбнулся Поликарпио.

— Ну что ты мучишь сеньора Поликарпио? — рассмеялся один из пеонов, который пил текилу крошечными глотками из большой глиняной чашки.

— Все вы пьяницы, — огрызнулась Летисия, но старику, внезапно став серьёзной, задумчиво сказала:

— Дай Бог вам найти, что ищете, сеньор Поликарпио.

— Спасибо, дочка, — ответил Поликарпио. Он неуверенными шагами направился к дверям, а когда вышел во двор, так же неуверенно, пошатываясь, свернул в боковую улицу и пошёл на северную сторону селения.

За всё время, которое он потратил, чтобы дойти от центральной улицы к северной окраине Ларго Камино, ему встретились только два человека, осмелившиеся покинуть дома в нестерпимую жару, — такой же старый сеньор, как он сам, но совершенно трезвый, и юная девушка лет семнадцати.

Поликарпио иногда прикладывался к фляге, и его начинало водить из стороны в сторону. В конце улицы он споткнулся о камень и упал. Поднявшись, долго отряхивал пыль со штанов и серапе, а когда шагнул в пустыню, стал выглядеть беззащитным, как все люди, раздавленные тяжестью судьбы.

Поликарпио шёл по ровной дороге, утрамбованной колёсами повозок, которыми в базарные дни часто ездили в близлежащие фермы. Он ещё несколько раз спотыкался, опускался на колено и с трудом поднимался, но доковылял до слегка холмистой местности, и только когда Ларго Камино скрылся за небольшой возвышенностью, позволил себе стройно выпрямиться. Хотя и сильно прихрамывая, он пошёл уверенной и сильной походкой неумоимого жителя пустыни.

Через полчаса, осмотревшись, нет ли случайного путника, свернул в сторону и пошел по извилистому арройо. Долго брёл к истокам высохшего ручья, пока не отыскал вход в узкую лощину. Войдя в лощину, Поликарпио приложил ладони к губам и издал звук хлопающих крыльев пересмешника. Из глубины лощины донеслось такое же хлопанье крыльев. Старик улыбнулся. Он прошёл ещё шагов тридцать, когда из-за стеблей юкки поднялся мальчик. На вид ему

было лет 11-12. На нём были выгоревшая ситцевая рубашка, набедренная повязка и высокие изодранные мокасины. Руки и лицо были обожжены солнцем до дымчато-коричневого цвета, и мальчик выглядел, словно был высечен из опала.

— Жёлтый Журавль, — тихо сказал старик.

— Нана, — взволнованно произнёс мальчик. — Лошадь там, в глубине лощины.

Мальчик взял старика за руку и повёл между крупных камней, вымытых из почвы во время ливней. Лошадь стояла смирно, лениво скидывая хвостом, чтобы отгонять слепней.

— Девочек повели в Коауильо, — сказал Нана. — Будут двигаться через Чинапу и Уальоа.

— Мы их спасём, Нана? — спросил мальчик, подняв на старика раскосые, пронзительно чёрные глаза.

— Конечно, Желтый Журавль, — ответил Нана. — Ведь ты мой секундо, моя правая рука.

— Я слишком маленький секундо, — сказал мальчик и опять пристально посмотрел на Нану.

6

Все лежали, укрывшись за сёдлами или за быстро насыпанными холмиками земли, только капитан сидел возле огня, напоминающего птицу с растопыренными перьями, так и не сумевшую взлететь среди серого однообразия рассвета. На землю заставили лечь даже мулов и апачек. Солдат, который их сторожил, лежал на боку и держал в руках направленную на девочек винтовку.

Пачеко и Эчеверрия вернулись с половиной солдат, отправившихся по следам. Остальные остались ловить разбредшихся лошадей.

— Брухо. Брухо, — говорили вернувшиеся солдаты. — Только брухо мог так заманить скакунов.

Доменико Альмодовар, не поднимаясь с седла, на которое присел, вопросительно посмотрел на сержанта и кивком головы показал, чтобы тот и Эчеверрия подошли к огню.

Пачеко и Эчеверрия присели на корточки возле костра.

— Я так понял, что опасности уже нет, — сказал капитан.

— Но и почти половины лошадей нет, мой капитан, — сказал Эчеверрия.

— Сколько потеряли? — голос Доменико Альмодовара был спокойным, а сам он выглядел не выспавшимся и скучным, как ранний дождливый день.

— Пять лошадей, мой капитан, — ответил Пачеко. — Апачи.

— Сколько их было?

— Видели одного, мой капитан, — сказал Фелисиано Эчеверрия.

— Только не нужно меня кормить сказками про брухо. Я в это не верю. Можно дать отбой тревоги?

— Можно, — кивнул Пачеко. — Я думаю, что до ночи апачи не будут давать о себе знать.

Капитан взмахнул рукой.

— Отбой! — крикнул он, и люди начали подниматься из-за сёдел и холмиков земли. Вскочил на ноги и Франциско Берручете. Он находился возле мулов.

— Хорошо, что лейтенант мулов сторожил. Без него мы бы и их потеряли, — осклабился Пачеко.

— А то, — хмыкнул Эчеверрия.

— Да ладно вам, — сказал Альмодовар. — Его приставили к нам, вот и всё. А ты, Пачеко, хорошо сделал, что оставил мулов посреди лагеря, возле индианок.

— Вьючные мулы — самое ценное, что у нас есть, — ответил Пачеко. — Вот, мой капитан, — протянул он Доменико Альмодовару сушёную сливу.

— Сухофрукт, — констатировал Альмодовар, взяв сливу двумя пальцами и небрежно рассмотрев её.

— Сливу нашёл Чано, — сказал Пачеко. — Там, где прошли лошади, которых, якобы, заманивал брухо.

— Лошади любят сухофрукты, я знаю, — сказал Доменико Альмодовар.

— Я думаю, что дело было так, — продолжал объяснять Пачеко. — Действовало, как минимум, два апача. Один с восточной стороны лагеря, другой с западной. К лагерю они подкрались одновременно. Тот, что с восточной стороны, подошёл к нам не ближе, чем на 200 шагов, и прокричал кузнечиковым хомяком. Все всполошились, побежали к восточной стороне лагеря. А этот олух, Паскуаль, хотя и не покинул лошадей, которых был приставлен сторожить, разинул рот и всё время, пока мы узнавали, что случилось, пялился на восточную сторону лагеря.

— В это время другой апач, — сказал Эчеверрия, — проник в табун и разбросал сушёные сливы, перерезал фиксирующую лошадей веревку, но так, чтобы оставались не тронутыми пара волокон. Слегка дёрнул — и веревка порвалась.

— Потом он, — сказал Пачеко, отошёл на запад, в пустыню, но продолжал разбрасывать сухофрукты.

— Мне кажется, что вы морочите мне голову. Где индейцы взяли сухофрукты? Запустили руку в карман и вытянули их оттуда? Где? — спросил Альмодовар.

— Мой капитан, да ведь апачи везде, где они бродяжничают или куда совершают набеги, делают тайные хранилища продуктов и оружия в расщелинах скал или, если это плоская пустыня, возле какого-то ориентира выкапывают яму и в ней, обернув шкурами, прячут съестное или боеприпасы, — сказал Пачеко.

— Дикие сливы они всегда заготавливают в период их созревания, и семена пиньон, и плоды мескито, — добавил Эчеверрия.

— Я знаю об этом, — ответил Альмодовар. — Но, чтобы так далеко от границы, и так всё совпадало, чтобы место, где они в прошлом году припрятали припасы, находилось недалеко от места, где мы разбили лагерь на пути в Уальоа, это уж слишком.

— Да может, апачи постоянно возили с собой сумку со сливами, мой капитан, — сказал Пачеко. — Тот, кто разбросал сливы, просто ждал в четверти лиги от лагеря, когда лошади подойдут к нему.

— Лошади передвигались неспешно, мой капитан, — сплюнул Эчеверрия. — Просто разбрелись в поисках слив, поэтому и не было слышно, как они отошли от лагеря.

— А ведь хитро придумано, — сказал Альмодовар. — Дождался апач первых лошадей, которые к нему подошли, и ускакал вместе с ними.

— Не сработала бы их хитрость, если бы Паскуаль не уснул, — сказал Эчеверрия.

— Кто знает, — добавил Пачеко. — Если бы Паскуаль не уснул, его бы нашли с перерезанным горлом, а лошади всё равно бы разбрелись.

Капитан внимательно посмотрел на сержанта.

— Я его наказал, — сказал он. Проконтролируй, Пачеко. Паскуаль должен навьючивать мулов, разгружать их, делать все остальные работы. И только он один. А, когда прибудем в Уальоа, разберемся. Может, он за это время исправится.

Показался край солнца — всё, что хоть немного возвышалось над плоскостью пустыни, вспыхнуло. И люди, и предметы обрели другой цвет, — оранжевый, густой, пропитанный отсветами далёкого огня. Станным образом, но только индианки как бы оставались в сумраке, будто лучи солнца не коснулись их. Они сидели в середине лагеря, прижавшись друг к другу, и казались грязным тряпьем, чем-то, от чего люди, обычно, пытаются избавиться, как от чувства вины или навязчивых воспоминаний.

Ещё около часа ждали, пока солдаты возвратятся с пойманными лошадьми. Как и сказал Пачеко, не доставало пятерых скакунов, тех, которых увёл всадник в светлой рубашке.

Доменико Альмодовар дал солдатам приказ поочередно ехать на одной лошади: один в седле, другой некоторое время идёт пешком, а, после, меняются. Под вечер, когда спадёт жара, можно ехать по два человека на лошади. Но, чтобы не снижать бдительность и быть готовыми быстро защититься от нападения или начать преследовать врага, у себя за спиной никого не сажали сам Альмодовар, лейтенант Берручете, сержант Пачеко и Фелисиано Эчеверрия.

— Получается, мой капитан, что солдаты затискают не апачек, а друг друга, — расплылся в лучезарной улыбке Эчеверрия.

Каучильо не знал о просьбе Пачеко посадить индианок на лошадей вместе с солдатами, и исподлобья, пытаясь перевернуть в сознании непонятную мысль, смотрел на Чано.

Колонна передвигалась медленно и постепенно укрывалась пылью. Она напоминала окукливающуюся гусеницу, которая, зарастая плёнкой или волокнами, обретает состояние другого существа. Пленниц, как и в первый день, вели в середине колонны. Все, кто, поворачиваясь, бросал на них взгляд, приходил к мысли, что именно апачки притягивают жару, словно все они были брухос, а движение колонны на юго-восток являлось колдовским ритуалом, увеличивающим нестерпимый зной. Солнце поднималось всё выше и выше, поэтому чудилось, что колонна сползает под небеса, будто уходит под наклоном в кажущиеся белесыми огни геенны.

— Воды хватит только до завтрашнего утра, мой капитан, — подъехал к Доменико Альмодовару сержант Пачеко. — Да и воняет она козлом.

— Так ведь из козьих шкур сделаны бурдюки. Тебе хочется, чтобы они пахли лавандой? — спросил капитан.

— Надо было больше брать с собой бурдюков, — ответил Пачеко.

— Но мы же потеряли пятерых лошадей, сержант, так что воду, предназначенную для всех животных, поделим между оставшимися.

— Всё равно не хватит до Чинапы, мой капитан. Я уже распорядился уменьшить долю воды для каждого.

— И для животных тоже?

— Да, мой капитан.

Подошёл Каучильо.

— Диего, ты устал? — спросил Пачеко. — Садись на мою лошадь. Я пройду немного пешком.

— Оставайся в седле, Пачеко. Тебе, как сержанту, необходимо осматриваться, — сказал Каучильо. — А индианки? — обратился Каучильо уже к капитану. — Они дойдут? Сколько им даёте воды?

— Как и всем, Диего, — ответил Пачеко.

— Но они босиком, мой капитан, — многозначительно сказал Каучильо, — по раскалённой земле.

Альмодовар подозрительно посмотрел на Диего, но промолчал.

— Мы ведь и не подумали, что у них нет мокасин, — сказал Пачеко. — Их что, дон Мигель поснимал?

— Он всё подгребает под себя, любое барахло. Лишнего не упустит, — рассмеялся Эчеверрия.

— Вот, что означает быть торговцем, мой капитан, — сказал Каучильо.

— Что? — удивлённо спросил Альмодовар.

— Подгребает всё под себя, этот дон Мигель. Даже у пленниц забрал обувь.

— Но мы ведь этого не знаем, Каучильо, — сказал Пачеко. — Может апачки в плен попали разутыми.

— Обувь с них сняли ещё в Трес Кастильос, успокойтесь, — сказал Альмодовар. — Босиком по острым камням трудно убежать.

Чем ближе к Чинапе, тем гуще равнина покрывалась низеньким чапарралем.

— Но кустов, всё равно, кот наплакал, — сказал Пачеко.

— Ты это к чему? — то ли негодуя, то ли недоумённо вскинул брови Альмодовар.

— Апачкам трудно будет спрятаться, если что, мой капитан.

Периодически Пачеко и Эчеверрия подъезжали к индианкам и смотрели на них, — как никак, все они годились в отцы этим девочкам, и состояние неловкости, которое часто овладевало ими, заставляло их проверять, как чувствуют себя пленницы.

— Жалеешь? — спросил Эчеверри, как всегда расплывшись в ухмылке.

— А ты нет? — в свою очередь спросил Пачеко.

— Просто проверяю тебя, — хохотнул Эчеверрия. — Не стал ли ты черствым.

— Ты за собой смотри, Чано, понял? Давай в конец колонны и всё проверь.

— Понятно, — ответил Эчеверрия и тронул коня, направив его в хвост колонны.

Фелисиано уже осматривал усталых солдат и изнурённых лошадей, как раздался долгий и частый треск, которым словно покрошили тишину, а, вместе с ней, и идеально ровную линию горизонта. Частая дробь ударила вверх и вниз, а потом скользнула под ветками чапарраля — долгий дребезжащий звук, который начал постепенно удаляться.

Навьюченный мул шарахнулся в сторону от тропы и побежал через кусты. Несколько лошадей вздыбили пыль. Эчеверрия не смог удержаться на своем скакуне и, задев при падении Педрито, повалился с ним в песок. Остальные мулы ринулись вдоль тропы, сбивая с ног людей и расталкивая в стороны всадников.

— Ветки бурдюк продырявят! Ловите его! — крикнул Пачеко.

Испуганный мул все так же ломился сквозь кусты. По бурдюкам, колышущихся на его боках, стегали ветки. Одна из них обломанным концом смяла бурдюк и отбросила его к задним ногам мула. Животное резко повернуло на восток, а из продырявленного бурдюка сверкнула искрящаяся струйка, которая, когда соприкасалась с крупом, окрашивала его в тёмный цвет.

— За пленниками смотрите! — крикнул капитан, гарцуя на узкой тропе впереди колонны.

Первым сориентировался Франциско Берручете: он развернул коня и пустил его вдогонку убегающему мулу. Когда лейтенант уже поравнялся с мулом и пригнулся, чтобы схватить обезумевшее животное за поводья, снова громкое дребезжание рассыпалось над равниной, — мул кинулся вправо и повалил Берручете вместе с его конём.

Лейтенант закричал:

— Доменико, конь придавил меня!

Поднявшаяся из-под ног лошадей пыль сгущалась и мутнела. Над серыми клубами виднелись головы только самых рослых солдат.

Альмодовар, направив коня через кусты, подъехал к лейтенанту. Несколько обломанных веток, полоснув его коня по ногам, оставили на них красные полосы. Капитан свесился с седла, будто нырнул в пыль. Из сизых наплывов его глаза ушли в жёлтое пятно: возле самой земли пыли не было — над равниной стелился прозрачный и довольно широкий пласт пространства, над которым, медленно клубясь, пыль уползала по равнине на север. Лицо Берручете было неестественно белым, глаза потемнели от боли и казались черными. Упавшая лошадь пыталась подняться, однако, тем самым, еще сильнее давила на ногу лейтенанта.

— Доменико, — заскрипел он зубами.

— Сюда! — крикнул Альмодовар, соскочив с седла и тщетно пытаясь освободить ногу Берручете из-под лошади. — Привалило его!

— За пленниками смотри, Каучильо! — распорядился Пачеко. — Всем быть начеку!

Подъехав к лейтенанту, он спрыгнул с коня. Вытянув из ножен широкий нож, разрезал переплетение веток, мешающих освободиться ноге коня Берручете. Конь взмыл, обнажив участок земли, на котором только что лежал. В голени нога лейтенанта была неестественно изогнута в сторону.

— Перелом, — сказал Пачеко.

Животные успокоились. Люди застыли. Мул, сбивший Берручете, стоял в нескольких шагах от Пачеко. Его бока были мокрыми и переливались черным глянцем. Бурдюки сморщились и висели, как мокрые тряпки.

Пыль относилась в сторону, показались пленницы. Неподвижные, они сидели на земле, обхватив руками согнутые в коленях ноги. Их глаза уходили на юг — немигающие, внимательные, с непроницаемо черными радужками, которые, по мере ухода облака пыли на север, начинали отливать синевой. Над ними высился Каучильо — растерянный и возмущенный. Он никак не мог решить, куда направить винтовку — на девочек или стволом в пустыню.

К Альмодовару и Пачеко подошел Эчеверрия, ведя коня за поводья.

— Надо бы ногу укрепить чем-то жестким, мой капитан, — сказал он.

— Потерпи, Панчо, — сказал Альмодовар лейтенанту. — Никто не ожидал. Но в Уальоа мы тебя доставим.

Лейтенант закусил губу и пытался согласно кивать, из-за чего по его подбородку растекалась кровь.

Эчеверрия принялся изготавливать из веток накладку на ногу.

— Здесь что, кубло гремучек? — спросил у Пачеко внезапно осунувшийся и из-за этого выглядящий постаревшим Доменико Альмодовар.

— Сейчас проверю, мой капитан, — ответил Пачеко.

— Но осторожно, сержант, — сказал Альмодовар. — Ты то хоть себя побереги.

Пачеко сделал усталый жест, мол — «уж как-нибудь». Он направился к кусту, от которого шарахнулся мул, обошел росший широким кругом чапарраль, потом присел на корточки. Немного повозившись, начал что-то вытягивать из скопления прикорневых стеблей.

— Вот оно, — показал он капитану длинный гибкий прут, к концу которого была привязана трещотка гремучей змеи.

— Прут стеганул параллельно земле, мой капитан, — сказал он. — А трещотку отрезали сегодня утром: мясо на срезе еще свежее.

Альмодовар долго смотрел на сержанта.

— А как они укрепили прут? — наконец спросил он.

— Как обычно, когда делают силок с разгибающейся веткой, только ветка была укреплена так, чтобы, когда заденут за волосок, удерживающий ее, разогнуться параллельно земле. Да и волосок был хитро протянут. Мул должен был задеть его поклажей, которая свисала с его боков, что и произошло. Если бы закрепили иначе, прут с трещоткой взмыл бы над кустом.

— Ну а там, первый раз, тоже? — спросил Альмодовар.

— Сейчас проверю, — сказал Пачеко.

— Но только не торопись. Вдруг там настоящая гремучая змея.

— Хорошо, мой капитан, — ответил Пачеко.

В том месте, от которого мул шарахнулся первый раз, были поставлены такие же силки с разгибающейся веткой, к концу которой был привязан погремек гремучей змеи.

Увидев прут, который Пачеко поднял высоко над собой, капитан кивнул.

Облако пыли медленно уходило на север, растрепывалось по краям и постепенно таяло. Люди провожали его взглядами, будто оно уносило с собой и прятало в себе нечто, что они хотели бы оставить при себе.

Франциско Берручете посадили на коня, но он не мог держать в стремени свою правую ногу, укрепленную шиной из веток.

— Как я буду ехать? — спросил он.

— А вы постарайтесь, мой лейтенант, — ответил Эчеверрия.

Вскочив в седло, Альмодовар посмотрел на облако, которое продолжало уходить на север.

— Все никак не рассосется, — сказал он.

Через минуту капитан оглянулся и снова посмотрел на облако. За это время его отнесло шагов на тридцать, однако на том месте, где оно находилось минутой ранее, высился всадник, хотя раньше горизонт был чистым.

Эчеверрия вскинул винтовку.

— Слишком далеко, — сказал Альмодовар, — не достанем.

Но Эчеверрия все равно выстрелил.

Всадник так и остался выситься изваянием. Легкий ветер развеивал его волосы, тело отдавало тёмной бронзой.

— Это ребенок, — прошептал Пачеко, положил руку на ствол винтовки Эчеверрии и опустил её.

— Не горячись, Чано, — сказал он. — Там, на коне, ребенок.

Фелисиано отвел в сторону глаза.

— Мы все здесь свихнемся из-за них, — сказал он. — Все.

— Но почему именно ребенок? — спросил Каучильо. — Что, вообще, все это значит?

— Ты спроси это у апачей, солдат, — отрезал Доменико Альмодовар. — Особенно у тех, которых мы ведем.

— У девочек, что ли? — снова спросил Каучильо.

— Ну и недоумок ты, Диего, — сказал Эчеверрия и покрутил пальцем у виска.

8

Колонна тронулась, без какого-либо шума, но тяжело, с натугой, как начинают двигаться жернова, лишь только ветер переместит лопасти ветряной мельницы. Людям чудилось, что они остаются на месте, а земля под их ногами смещается и плывет по кругу, точно ярмарочная карусель.

Берручете постоянно сползал вправо, ибо не мог упираться переломанной ногой в стремя, и Пачеко, встретившись глазами с Каучильо, кивком головы указал на лейтенанта: мол, будь рядом и помогай.

— Почему я? — шепотом спросил Каучильо. — Индейцы, вон, ездят без стремян. Пусть и лейтенант попробует.

— Но Берручете ведь не виноват, — сказал сержант. — С каждым может случиться.

Перед закатом не прозвучало никакой команды, просто Альмодовар, ехавший во главе колонны, повернул лошадь и, вонзившись зрачками в индианок и солдат, будто нанизал их на свой взгляд. Все сразу остановилось и принялись расседлывать лошадей. Седла расположили по кругу, чтобы те послужили защитой во время нападения врага на лагерь. Костры зажгли с внешней стороны лагеря, а лошадей и мулов расположили в его центре. Животные возвышались в сумерках, делая лагерь похожим на низкий курган, из которого перед наступлением ночи выползли погребенные в нем существа.

Альмодовар, не таясь, сидел возле огня и тщательно пережевывал кукурузную лепешку. Тортильяс в этот вечер испек по собственной инициативе Педрито, но все догадывались, что он пытается помочь своему другу Паскуаю. Тому и так выпало забот невпроворот: и снять поклажу с мулов, и собирать веток для костров.

— Вы как на ладони, мой капитан, — сказал Пачеко, присаживаясь возле Альмодовара.

Капитан непонимающе посмотрел на него.

— Ты же говорил, Пачеко, что сталкивался с апачами, — сказал он.

— Бывало и такое, — ответил Пачеко.

— Неужели не уяснил, что от апачей не спрячешься? Вот мы сегодня увидели их пацаненка, но только потому, что он сам этого захотел.

— Однако, мой капитан, — возразил Пачеко, — вас легко снять одним выстрелом. Издалека.

— Из глубин пустыни? — улыбнулся Альмодовар. — Неужели ты не понял, сержант, что в планы апачей не входит нас убивать.

— Это я хорошо осознал. Если бы иначе, то уже прошлой ночью мы бы нашли Паскуаля с перерезанным горлом.

— Они боятся озлобить нас, Пачеко. Озлобить по-настоящему. Ввергнуть нас в гнев. Они боятся, что мы выплеснем наш гнев на девочек.

— А прямым нападением им нас не взять. Им не нужен открытый бой.

— Правильно, Пачеко. При перестрелке могут пострадать и девочки. Да и апачей-то сколько? После резни в Трес Кастильос на воле апачей Теплого Источника осталось не больше пятнадцати человек. Половина из них рыскает возле Чиуауа, чтобы освободить женщин и детей, которых заперли в городской тюрьме. Так что те несколько индейцев, которые преследуют нас, никогда не решатся на прямое нападение, даже если бы мы были без девочек. Их слишком мало.

Пачеко сплунул.

— Так вот в чем дело, — сказал он. — Всю эту историю с пленницами заварили только для того, чтобы обезопасить переезд Берручете из Ларго Камино в Коауильо? Тьфу ты.

— Может и так, Пачеко, — сказал Альмодовар, — я не знаю. Я тоже об этом думал. Но кто может быть уверенным?

— Что нам конкретно делать, мой капитан? — спросил Пачеко.

— Побыстрее дойти до Уальоа и передать пленниц в другие руки.

9

Доменико Альмодовар не хотел осматривать горизонт, да его и не было: ночь стала плотной, непроницаемой, как черная скала, и лишь когда костры начали затухать, крошечными отверстиями от пуль вспыхнули звезды, будто из противоположной стороны темноты был произведен залп из множества стволов.

Дежурных Пачеко проверил в полночь.

— Не маячить, — сказал он. — Распластаться на земле и вслушиваться в тишину. И не дай Бог, кто уснет.

— Не враги мы себе, сержант, — ответил Педрито. — А то проснусь утром с перерезанным горлом, что и слова не смогу сказать. Кто же тогда будет с тобой пререкаться?

Робкий смех пробежал над самой землей, ниже затухающих языков пламени.

Пачеко лег недалеко от капитана. Перед тем, как уснуть, посмотрел на небо. Оно мгновенно подалось назад, и пространство как бы прояснилось или перестало быть стеной, хотя вокруг ничего не было видно: чувствовалась пустота — бесконечная, холодная, хотя в ней уже угадывались далекие и замершие объекты.

Пачеко проснулся не от шума и крика. Не было слышно даже шороха, но Педрито, присев возле него на одно колено, надавил ладонью на плечо.

— Чувствуешь, сержант? — шепотом спросил он.

Тишина была абсолютной. Но она двигалась. Окутывала лагерь и одновременно подкрадывалась к нему. И там, где темнота была непроглядной, уходящее в ночь продолжение безмолвия внезапно обрывалось, как над пропастью, откуда если и может что-то доноситься, то только крик отчаяния.

Пачеко присел. В ответах звёзд лицо Педрито казалось бесцветным — серое на черном, но глаза, почему-то, были лиловыми.

Пачеко и Педрито растерянно вглядывались в темноту, хотя все окружающее говорило им, что нужно закрыть глаза и даже не вслушиваться, а просто ожидать, когда тишина подтянет к себе свой далекий край, как шлейф или хвост, и прямо перед положенными на землю седлами разверзнется бездной.

— Что они вытворяют, Пачеко? Что? — спросил Педрито.

Существо, похожее на горбатого гнома, приблизилось из центра лагеря к сержанту.

— Тьфу ты, Чано, хотя бы голос подал, — сказал Пачеко.

— Слышишь? — спросил Эчеверрия, так и оставаясь согнувшимся. — Не к добру. Какая-то мрачная тишина.

— Что они вытворяют? — опять спросил Педрито.

— Это пустыня с ними, на их стороне, — прошептал Фелисиано. — Я слышал об этом от старых солдат.

Нечто, только напоминающее слабый звук, но неуловимое на слух, очертило кольцо вокруг лагеря. Его и визуально невозможно было заметить, ибо шум исходил как бы из глубин земли, но не дрожанием или вибрацией, а походил на поднимающиеся к поверхности пустыни силы гравитации, которые потом затянут в каменные глубины любую живую плоть.

— Словно желудок перевернулся, — сказал Пачеко.

Тонкой ниткой звук пронизал пространство, но его ещё никто не расслышал. Он был натянутым, как тетива, которая вот-вот лопнет.

Но звук выразил себя, словно в темноте тонкой линией вскинулся песок и опал. Почудилось, что почва поднялась узким валиком вокруг лагеря и исчезла. Этого никто не видел и никто не слышал, но шорох песчинок как бы прозвучал, хотя его не могло уловить даже самое чуткое ухо, — именно так пытались объяснить возникновение шума те несколько человек, которым удалось его почувствовать — Фелисиано, Пачеко и Берручете.

Постепенно сжимаясь, шум побежал к лагерю, как возвращающаяся к центру всплеска концентрическая волна. Но спустя несколько секунд он усилился, из-за чего нехорошо екнуло у Пачеко под сердцем, а сознания коснулась догадка, что интенсивность этого звука нужно улавливать не слухом, не зрением, а ощущением времени — минут или часов, которые остались до смерти.

Он резко повернулся — девочки не лежали, а сидели, напряженные, готовые в любой момент подняться на ноги. Все они опустили глаза к земле, только старшая пронзала взглядом Пачеко и Эчеверрию, словно выстрелом.

И тогда звук появился, как если бы задрожала далекая струна, которая была присыпана песком и, при звучании, обнажилась. Затем снова наступила глубокая тишина, а, вслед за нею возник далекий, доносящийся из окраин ночи гул.

— Они скачут вокруг лагеря и сужают кольцо! — закричал Берручете, и сразу после его звонкого голоса пространство придвинулось к лагерю все нарастающим и нарастающим топотом копыт.

Пачеко видел все это — лагерь, укрытый темнотой, взбугрился, люди бежали к седлам и падали возле них, вытянув перед собой винтовки.

— Они сужают кольцо! — закричал Пачеко. — Пока никому не стрелять!

Пригнувшись, подошел Альмодовар.

— Обезумели, — сказал он. — По моим подсчетам их всего несколько человек.

— Кто его знает, мой капитан, — ответил Эчеверрия. — Может к апачам Теплого Источника присоединились апачи недни из Сьерра Мадре.

А потом звук вырос стеной, которая смыкалась вокруг лагеря и вращалась со все большей и большей скоростью.

Выстрелили все, без команды, но в один момент пронизали пространство вокруг лагеря ровными светящимися линиями, теряющимися в темноте, словно лагерь был черным солнцем, внезапно выпустившим из себя оранжевые лучи.

Потом звук оборвался, будто его перерубили. И мрак вновь обрел чистоту, то состояние незамутненности, когда в нем невозможно уловить даже самый слабый шорох.

Начинало светать, но видимыми вначале стали только пленницы, словно утро, когда подступило к лагерю, никого не хотело замечать, кроме апачек — сосредоточенных, собранных, с не по-детски пытливыми глазами, уходящими в безмолвие, которое постепенно приобретало серо-пепельный цвет.

Открывающаяся пустыня казалась незнакомой, хотя вечером никто специально не запоминал расположение кустов чапарраля с южной стороны лагеря или же с северной. Наступал неузнанный день, и его контуры проступали не из прошлого или очевидного будущего: он обретал черты пространства, которое невидимые апачи оставили за собой, перестав атаковать лагерь. Он был временем, покинутым охотниками Теплого Источника, и больше не принадлежал ни замершим за седлами солдатам, ни прядущим ушами лошадям, ни понурым мулам, — день становился неузнанным и пытался уничтожить, укрыть пепельным светом всех, кроме нескольких пленниц.

— Вот тебе и на, — прошептал Эчеверрии, — расположились на ночь как бы в одном месте, а проснулись в другом.

С востока потянуло дымом — визуально. Он светлой полосой стелился к лагерю, пока не накрыл собой все пределы пустыни, и снова все стало выглядеть, как в тумане, но в каком-то сухом, воспламеняющемся: стоит высечь из огнива искру, как пространство наполнится раздувающимися клубами огня, и только первые лучи солнца, срезав над землей пласт серой пелены, словно освеживали лагерь, как тушу, над которой замутнёнными разводами воздуха поднималось тепло плоти.

Ночь шла и оставила след — надавила ступней на равнину, и то место, где ее нога оторвалась от земли, стало начинающимся временем дня.

Пачеко всматривался в даль. Он пытался мысленно подтянуть её к себе, но только как предположение. И лишь когда лучи солнца престаи стелиться параллельно земле и уперлись в нее под острым углом, кусты чапарраля перестали казаться могильными холмиками. Они всплыли над поверхностью равнины как зеленовато-бурые гнезда, в которых до наступления сумерек умолкло ночное небо. Чудилось, слегка задень растение, и оно выбросит из себя длинную тень, точно вену, которая во время заката и соединяет креозотовый куст с приближающейся к нему темнотой.

Пачеко поднялся на ноги. То же сделал и Каучильо, но на противоположной стороне лагеря. Пачеко просто повел в сторону подбородком, и Диего догадался, что должен осмотреть пустыню с юга от лагеря. Пачеко перешагнул через седло, но, когда надавил ступней на песок, почувствовал, что земля под ногами расползается, как бы тянет его вниз, впрочем, высь над головой даже не качнулась, а затуманилась зыбью, однако только там, куда не доходил взгляд сержанта.

Он осторожно пошел от лагеря, скользая глазами по поверхности пустыни. Позади него переступили через сёдла Доменико Альмодовар и Фелисиано Эчеверрия.

— Они как бы мчались по кругу, — сказал Эчеверрия. — Как будто прошлись плугом, который нёсся, как стрела.

Губы Чано раздвинула глупая и растерянная улыбка.

— Апачи это, — сказал он. — Кто ещё мог такое сотворить?

Куст чапарралья, ничем не отличающийся от других кустов, но растущий немного в стороне от условной траектории, вдоль которой трое мужчин отходили от лагеря, как бы задышал. Переглянувшись между собой, Пачеко и Альмодовар подошли к нему. Эчеверрия вскинул винтовку и обшарил глазами бугристую даль.

За кустом лежала лошадь, изрешеченная пулями. Весь её правый бок лоснился кровью, будто она была накрыта кумачом, красная пена пузырилась на губах. Она тщетно пыталась оторвать от земли голову. Её взгляд был глубоким, не имел границ и словно бы исходил из центра земли, где в песке перемалывались кости всех животных, когда-либо погибших в пустыне.

— Наша лошадь, — сухо сказал Пачеко. Он кивнул Эчеверрии, а сам начал внимательно рассматривать следы возле умирающего коня. Эчеверрия, вытянув из-за пояса нож, полоснул животное по шее.

— Две цепочки следов, — сказал Пачеко. — Мчались по кругу. — Вон там, — он указал рукой, — ещё две цепочки следов. Круги постепенно сужали.

— Они затягивали вокруг нас петлю, — сказал Альмодовар. — Но почему такое ощущение, будто сама безысходность набросила на нас удавку?

— Это их безысходность, — ответил Пачеко. — Они находятся в безысходности.

— Они начали издалека, — продолжил Пачеко после того, как увидел глаза Эчеверрии — сосредоточенные и возмущенные. — Всадник скакал по кругу, по часовой стрелке. Справа от себя он придерживал за поводья нашего коня.

Пачеко оглянулся. К ним, огибая лагерь, двигался Диего Каучильо, сжимая в руках нечто, похожее на серую тряпку.

— Вот слабо выраженный след в полутора шагах от нашего коня. Просто углубления. Но они идут равномерно. Понимаете, мой капитан? — вопросительно посмотрел на Альмодовара Пачеко.

— Дай-ка мне сосредоточиться, Пачеко. Ты хочешь сказать, что два коня скакали рядом друг с другом по кругу. По часовой стрелке, как ты заметил. Но следы одного коня не отчетливы, и этот конь...

— С внешней стороны, мой капитан. Конь, который оставил отчетливые следы, прикрывал собой другого коня. Ну, вы понимаете меня, мой капитан.

— Как лошади могли так передвигаться? По чьей указке? Они ведь не научены проделывать подобные трюки.

— Похоже, что копыта одной лошади были обмотаны кусками кожи, чтобы следы выглядели размытыми, нечеткими, или чтобы приглушить удары копыт о землю или о камни.

— Каучильо уже подошел к ним и перебегал глазами от Пачеко к Альмодовару, а от Альмодовара к Эчеверрии.

— Что там у тебя? — спросил Пачеко.

Трое солдат поднялись на ноги. Педрито даже сделал несколько шагов, но сержант остановил его движением руки.

— Вот, — протянул Каучильо кусок кожи.

Пачеко осмотрел её, помял пальцами, понюхал, а, затем, передал Эчеверрии.

— Кожа с мехом. Хорошо продублена. Это кусок от нашего продырявленного бурдюка, который мы выбросили, мой капитан.

На лице Альмодовара появилось слабое подобие улыбки, но она была растерянной.

— Надо пройти по кругу, а потом чуть дальше от лагеря, — сказал Пачеко.

— Давайте, — распорядился Альмодовар. — Хотя я уже догадался. Жду вас в лагере.

— Иди вместе с капитаном, Каучильо, — кивнул через плечо Пачеко. — А я с Чано тщательно всё осмотрю.

— Ага, — Диего Каучильо поспешил за Доменико Альмодоваром, который шёл к лагерю и рассматривал его, как арену, где он должен сразиться с судьбой. Он не брал в расчет солдат. Единственными зрителями будут девочки-апачки — собранные, безучастные и неподвижные. Они станут отстраненно наблюдать, как он начнёт метаться на арене посреди пустыни. Он ясно видел вымышленную сцену, но замечал и все мельчайшие детали лагеря, начинающих седлать лошадей и навьючивать мулов солдат. Он, Доменико Альмодовар, будет сражаться до полудня. Солнце высосет из него последние силы, и он повалится перед пленницами, тяжело дыша, с потрескавшимися губами, обезвоженный, с сухой, как чешуя, кожей.

— От жажды? — прошептал он и обернулся, чтобы окинуть взглядом равнину, ведь воды осталось самая малость: дать по глотку людям, а лошадей и мулов повести умирать к высокому полудню.

Отдавая короткие команды, Альмодовар периодически следил за Пачеко и Эчеверрией. Те обошли лагерь по кругу, затем направились на север и почти скрылись из глаз, но можно было разглядеть, как они присели на корточки и что-то рассматривают на земле.

— Воды бы, мой капитан, — сказал Паскуаль. — Пора пить воду и двигаться в Чинапу.

— А может, помолчишь? — услышал Альмодовар надтреснутый голос Диего Каучильо. — Пачеко отвечает за воду. Сейчас вернется, может, и даст нам по глотку.

Колонна уже выстроилась, готовая по первому зову двинуться на юго-восток, день поднялся выше, как пылающий зверь, намеревающийся сорваться для быстрого и беспощадного бега.

Альмодовар сузил глаза — Пачеко что-то чертил рукой на земле.

— Видишь, — сказал сержант, — вот здесь у нашей лошади оторвалась обмотка от копыта. След от остальных ног мягкий, почти не существующий.

— Как раз здесь Каучильо и нашел кусок кожи, — сказал Эчеверрия. — Знаешь, сержант, однажды мне пришлось побывать в центре смерча. Не такого огромного, чтобы он оторвал меня от земли. Но то, что я чувствовал, находясь внутри него, очень похоже на ощущения, которые нам довелось испытать сегодня перед рассветом.

— Они и кружились вокруг нас, как смерч, — ответил Пачеко. Сужали и сужали кольцо.

— А иногда казалось, что звук падает с высоты. Будто над нами изгибался хобот смерча.

— Видишь, — сказал Пачеко, — еще один кусок кожи.

— Плохо привязали к ногам? — спросил Эчеверрия.

— Они специально это сделали.

— Я тоже так думаю, Пачеко. Хорошо, что мы с тобой пошли читать следы. Никто другой бы не скумекал.

— Не хвастайся Чано, — снисходительно улыбнулся Пачеко. — Ты же знаешь, что я и Альмодовар ценим тебя.

— А Берручете? — спросил Чано.

— Да приставили его к нам, — ответил Пачеко.

— Ага, до Уальоа, — беззвучно засмеялся Эчеверрия.

10

Когда Альмодовар выслушивал вернувшихся Пачеко и Эчеверрию, ему пришлось и вникать в их слова, и одновременно вскидывать брови, как короткие палочки, давая понять остальным солдатам, чтобы те возвращались на свои места в колонне. Индианки находились в середине колонны. Легкий утренний ветер колыхал на них грязную изорванную одежду. Самая старшая девочка была среднего роста, даже несколько приземистая. Но она все равно высилась, словно не касалась ногами земли. Эчеверрия переглянулся с Пачеко, рассказывающего капитану о том, что им удалось обнаружить, и тот понял его. «Так вот он, смерч. Вот кто является смерчем», — подумал Эчеверрия, встретившись глазами с долгим взглядом девушки.

— Апачи обвязали копыта лошадей кусками козьей кожи. Куски отрезали от выброшенных нами продырявленных бурдюков, мой капитан, — сказал Пачеко. — Обвязали мехом наружу. Но проделали всё хитро. Было четыре лошади. Две с одной стороны лагеря и две с другой. На одной лошади скакал апач, другая бежала рядом с ним, ибо он постоянно её удерживал. Вокруг копыт своих лошадей апачи кожу обвязали крепко, основательно. Вокруг копыт наших — слабо, именно так, чтобы при быстрой скачке куски начали отрываться.

— Так ведь наши лошади ещё и подкованы, — заметил Альмодовар. — А чем привязывали?

— Волокнами из стеблей юкки. Её здесь полно. Они начали издалека. С противоположных сторон лагеря. Медленно ехали по кругу, постепенно уменьшая расстояние между собой и местом, где мы расположились на ночь. Потом пустили коней лёгкой рысью. Каждый свисал слева от своего коня, чтобы обезопасить себя от наших пуль. Но и своих скакунов они прикрывали нашими лошадьми. Обмотанные кожей копыта лишь мягко вязли в песке, и звук от них был слабым, почти неслышимым.

— Как сердце стучало. Глухо и часто. Казалось — вот-вот, и выскочит из груди, — сказал Педрито.

— Помолчи, Педрито, Пачеко говорит, — сказал Эчеверрия.

— И они всё сужали круги, мой капитан. А бег их лошадей становился всё быстрее и быстрее. От напористого бега нитки из юкки, которыми к копытам наших лошадей были привязаны куски кожи, быстро стирались или рвались, и гул копыт нарастал. И всё это одновременно с двух противоположных сторон, один топот точно напротив другого топота. А там, где звуки топота сталкивались, находились мы.

— Мы и чувствовали звук, как волну, как движение по коже, — сказал кто-то из-за спины Эчеверрии.

— А потом звуки топота, идущие с двух противоположных сторон, схлестнулись, словно хлопнулись. А когда мы дали залп и убили двух лошадей, апачи, которые ехали, свесившись к земле рядом с нашими лошадьми, сразу положили своих скакунов на землю. И пока мы перекрикивались и ждали, когда развеется дым, подняли лошадей и спокойно отошли в пустыню. Второго убитого коня мы с Чано нашли на юге от лагеря, шагах в двухстах.

— Видно так и было, — поморщился Доменико Альмодовар. Он прижал ладони к вискам, словно хотел расправить взывшийся морщинами лоб.

— У меня тоже голова раскалывается, мой капитан, — сказал Эчеверрия.

— Сколько осталось воды? — спросил Альмодовар.

— Воды нет. Последнюю раздал вчера вечером, — ответил Пачеко.

— И ничего не припас? На экстренный случай нет даже пяти глотков? Не верю.

— Одна фляга, мой капитан, — отчеканил Пачеко. — В полдень дам воды по глотку.

Альмодовар сделал полукруг головой, будто хотел снять напряжение с шейных мышц, но, на самом деле, показал подбородком, что колонна может двигаться. Он подошёл к коню, положил левую руку на луку седла и попытался просунуть ногу в стремя, но его остановил усталый голос Пачеко:

— Нет, мой капитан. Лошадей поведём. Они не выдержат.

— Ага, — согласился Альмодовар. Он перевёл взгляд на колонну — люди выглядели измученными. Двое суток без сна, — хотел подумать он, но не дал этой мысли стать оформленной: «А как же Берручете?» — слетел с его губ вопрос.

— Лейтенант будет ехать то на одной лошади, то на другой, чтобы животные не изнурились, — сказал Эчеверрия.

11

Колонна вздрогнула, поползла, словно пустыня сделала долгий вздох. Равнину заливало совершенно белым светом, листья чапаррала поблескивали, как переворачивающиеся стеклышки калейдоскопа.

Альмодовар пропустил всех мимо себя. Стоял, вжавшись в крепотевый куст, и изучающе смотрел на солдат, мулов, лошадей и апачек. Он отметил изменение в поведении девочек. Они уже не уходили невидящим взглядом вдаль, — старшая пытливо посмотрела на него. В её глазах не было ни ненависти, ни осуждения: просто глаза блеснули, но в них не было выражения бессонницы и усталости. Казалось, что, если бы возникла необходимость бежать, девочки легко бы сорвались с места и ровным и неутомимым бегом преодолели бы равнину от утра до позднего вечера.

Движение происходило в полном молчании. Все берегли влагу в своих телах и дышали только через нос. Лейтенанта Берручете привязали к седлу, чтобы он не сползал с лошади. Когда обматывали его бедра веревкой, он растерянно смотрел на солдат, но плотно сжимал губы, будто намеревался до Уальоа не проронить ни единого слова.

На пол пути к полудню весь южный горизонт затуманило робким маревом. Оно было длинно растянутым и постоянно вспыхивающим, будто за ним шел грозовой дождь и полыхали молнии. Так выглядит река на дне ущелья, если смотреть на нее с высоты скал. Поэтому чудилось, что, если сделать неосторожный шаг в сторону от тропы, можно сорваться в неизвестное.

Маревو подступало все ближе и ближе, уже почти рядом колыхалось гибкой стеной, и люди жались к левой стороне тропы, к колючим кустам, иначе мутное течение, в очередной раз полыхнув огнем, исходящим из его глубин, могло выхватить человека из колонны и унести его за пределы бытия. Но Альмодовар выглядел неутомимым: он то останавливался, пропуская мимо себя колонну, чтобы удостовериться, что все нормально, то опять обгонял всех и оказывался впереди вереницы людей и животных.

Достигнув зенита, солнце перестало слепить глаза, а маревو обрело слабую прозрачность, хотя невозможно было разглядеть пустыню, которая за ним расстилалась. Скорее, возникала возможность узреть, что может находиться в самом мареве.

А потом оно посветлело, как стекло, с поверхности которого смахнули густую пыль, и люди увидели лошадь, бредущую на запад шагах в трехстах от колонны. Лошадь двигалась параллельно движению людей, но в противоположном направлении. Она уже почти поравнялась с колонной, и Альмодовар бросил взгляд на солдат и набрал в легкие воздух, но его остановил голос Эчеверрии:

— Не стоит, мой капитан, это может быть уловка апачей.

— Это апачи что-то придумали, — согласился со словами Эчеверрии Пачеко. — Лошадь, бредущая по пустыне и не обращающая внимания на людей и других лошадей...

Иногда марево тускло, словно становилось более плотным, и лошадь исчезала в нём. Но потом снова проступало её изображение, уже ближе, — до животного оставалось шагов сто, и на нем можно было разглядеть мексиканское седло и свисающие к земле удила.

— Наша лошадь, — сказал Альмодовар.

— А чья она ещё может быть, мой капитан? — спросил Каучильо. — В этом гиблом месте? Только наша.

— У неё мешок или бурдюк на боку, — послышался голос Паскуаля.

Колонна замерла, люди не решались дальше идти.

На боку лошади раскачивался большой бурдюк — полный, натянутый, галлонов на десять воды.

— Мираж, мой капитан, — сказал Педрито.

— Ага, мираж. Придумай ещё что-нибудь, — сказал Каучильо. — Мираж — это озеро или река. А тут бурдюк с водой.

— Миражи для таких ослов, как ты, Педрито, — громко сказал Пачеко. — Никто никуда! Слышали? Все идут в колонне!

— Прodelка апачей, — прошептал Альмодовар.

Лошадь как бы замедлила ход или так показалось, ибо колонна остановилась. Лошадь словно раздвигала струи воды, и тело её колебалось.

Выстрел заставил людей сжаться. Он был одиноким и вездесущим, будто вскинулся горизонт, который до этого времени был заширmlен маревом, но пробудился и пробуравил своей условной траекторией расстояние от юго-востока к северо-западу.

Лошадь немного присела, словно хотела опуститься брюхом на землю, а затем сорвалась и понеслась галопом на запад. Из пробитого пулей навилет бурдюка двумя искрящимися змейками ударила вода. Она разливалась по земле и оставляла позади бегущей лошади тёмный след.

— Лошадей не трогать! Никто не садится в седло! — слились в один голос глотки Альмодовара и Пачеко, но люди обезумели: несколько человек побежало за лошадью, несколько пытались вскочить на седла, но Каучильо и Эчеверрия хватали их за воротники мундиров и валили на землю.

Не прошло и минуты, как пустыня вспучилась сединой: клубы пыли, опадая рассеянными краями на равнину, ползли вслед убегающей лошади. Двум солдатам удалось вскочить на коней. Они с гиком помчались в оплавленное солнцем пространство, будто намеревались в нем исчезнуть. Побежали мулы — слепо вломились в чапарраль, до крови раздирая кожу на крупах и на ногах. Поклажа сползала с их спин и должна была вот-вот свалиться на землю.

Альмодовар и Пачеко сели на коней, которых берегли для непредвиденных обстоятельств, и, ударяя их ногами по бокам, поскакали ловить мулов. Пустыня дышала мутным, рыжевато-белесым облаком, будто огромный скат, колыхнув плавниками, пытался залечь на дне и остаться невидимым.

Мулов догнали, когда они остановились сами, изранив себе грудные мышцы и полностью выбившись из сил. Половины поклажи на их спинах не было. Она валялась среди кустов чапарраля. С боков животных опадала пена, словно они только что родились и были облеплены слизью. И родовым путем их появления на свет послужил высокий колодец солнца.

— А где пленники? — крикнул Альмодовар, но его никто не услышал. И сначала нужно было умолкнуть звуку, любому шуму, чтобы облако пыли на некоторое время перестало разрастаться и набухать.

Появились головы людей — серовато-седые, будто присыпанные размолотыми костями. Солдаты стояли неподвижно, тяжело дыша, а потом начали обессиленно опускаться на землю.

Сквозь рассеивающуюся пыль уже можно было разглядеть, что людьми овладела апатия, и они безучастно, широко открытыми глазами блуждали по разрывам пыли и проскальзывающим между разрывами оранжевым полосам, которыми им открывалась пустыня.

Альмодовар подъезжал к каждому, кого замечал сгорбившимся, прикившим грудью к коленям среди трепещущей серой вуали, но люди смотрели на него ничего не видящими глазами, и только слышались лёгкий шепот и еле уловимое потрескивание, словно от пустыни, как от ткани, отрывали побитые шашелью куски, которые тут же начинали истлевать, превращаясь в уносимую ветром пыль.

«Не досчитаемся людей, — пульсировала в висках Пачеко мысль. — Апачи перережут их в этой неразберихе».

— Мой капитан! — крикнул он, но его голос словно поглотился ватой, словно был погашен кучей ветоши, и прозвучал слабо, удаляясь в полдень. — Пленники где?

Он всматривался в пелену, пока не показался конь, на котором должен был сидеть лейтенант Берручете.

— Где же они? — прошептал Пачеко.

Берручете постепенно открылся сидящим на земле, с вытянутой перед собой ногой. Он упирался ладонями в песок и завороченно водил черными глазами по завесе из пыли и мелких соринки, будто проваливался лицом в свой взгляд.

И вдруг шепот и потрескивание на несколько секунд прервались.
— Пленницы здесь! Их сторожит Каучильо! — крикнул Эчеверрия.

Когда пыль ещё сильнее развеялась, а Пачеко и Альмодовар подъехали к Диего Каучильо, тот стоял с налитыми кровью глазами и неотрывно смотрел на индианок, которые подняли к лицам нижние края юбок и дышали через них.

Мнилось, что голоса людей и храп животных исходили не из клубов пыли, а опали с высоты, сначала бесшумно и распластано, и лишь затем как бы слепливались в конкретные звуки, но все равно неясные, доносящиеся словно издалека.

Постепенно, еле волоча ноги, к разорванной колонне подтягивались те, кто пытался догнать лошадь. Измотанные, с запавшими глазами, они отводили взгляды не только от Пачеко и Альмодовара, но и друг от друга.

Пришли, ведя лошадей за поводья два всадника, которые гнались за лошадью апачей.

— Мы нашли её мертвой, её шея была перерезана ножом. Это была наша лошадь, мой капитан, — доложил один из них.

Пыль развеялась, а марево после полудня постепенно истаяло. Горизонт тянулся ровно, как длинный шомпол с нанизанными на него кустами чапарраля, но открывающаяся перед солдатами равнина казалась им низвергнутой в то место пространства, где до источника воды всегда бесконечно далеко.

Доменико Альмодовар присел на корточки, хотя раньше никогда так не делал: он, обычно, находил камень или корягу, чтобы на них присесть, или, если ничего пригодного не было вокруг, оставался стоять.

— Если бы не задержки в пути, мы бы уже были в Чинапе, — сказал он.

— Может до наступления ночи и дойдем. Если постараемся, мой капитан, — ответил Пачеко.

— Кто постарается, Пачеко? Они? — и Альмодовар окинул взглядом измученных людей.

На зубах у Пачеко заскрипел песок.

— Выстраивайтесь в очередь, дам по глотку воды, — сказал он.

— И как они будут пить воду — из горлышка фляги? — блеснул крупными зубами Эчеверрия. — Ведь Паскуаль сразу опустошит половину.

— А солдатская кружка подойдет? — спросил Пачеко.

— Откуда я знаю, Пачеко? — ответил Эчеверрия.

— Слишком большая она, сержант, — сказал Каучильо. — Как ты будешь отмерять порции? На глаз? Если бы что-то поменьше.

Пачеко перевел взгляд на Доменико Альмодовара.

— Мой капитан, — сказал он, — вы всегда возите с собой кофейник и небольшую чашечку.

— В седельной сумке, — устало сказал Альмодовар.

— Ну что ты смотришь на меня? — сказал Пачеко Эчеверрии. — Неси сюда чашку для кофе.

— Так бы и сказал, — ответил Эчеверрия. — А то всё загадками — из горлышка не подойдет, а солдатская кружка большая.

Солдаты выстроились цепочкой. Первым стоял Паскуаль и осуждающим взглядом смотрел на Пачеко. Сержант уже собрался налить в чашку воды, но опустил флягу и, процеживая слова сквозь зубы, произнес:

— Первыми пьют пленницы. Веди их сюда, Каучильо.

— Да побойся Бога, Пачеко, — крикнул кто-то из солдат. — Апачи с нами такое вытворяют, а ты...

— Они же дети, — сказал Пачеко.

— Они апачи! — опять крикнул солдат.

Каучильо подвел пленниц. Воду они принимали равнодушно, но глоток тянули медленно, а затем невозмутимо отдавали чашку. Пачеко старался каждой заглянуть в глаза, пытаясь догадаться, что у апачек на душе, но сталкивался только с ледяным спокойствием, с какой-то предельной ясностью, настолько незамутненной, что глаза девочек казались неживыми.

— По сколько даешь? — спросил Альмодовар.

— По глотку, мой капитан. Меньше трудно отмерять.

Но воды хватило не на всех: Альмодовар, Пачеко и Эчеверрия только слизнули из чашки по капле.

— Зато мы не гнались ошалело за лошадей, мой капитан, — сказал Эчеверрия. — А Пачеко вообще не любит воду. На кой она ему?

— Чано, ты всегда подтруниваешь над Пачеко. Но всегда помогаешь ему, всегда у него под рукой, — сказал Альмодовар.

— Так мы же земляки, мой капитан, — осклабилсЯ Эчеверрия. — Мы оба из Дуранго.

Пачеко приказал Эчеверрии находиться рядом с капитаном, а сам, пропустив колонну мимо себя, пошел хвосте, чтобы, не дай Бог, никто не отстал и не остался лежать на солнцепёке.

12

Солнце уходило на запад, и правая сторона колонны — лица людей, их руки, бока мулов и лошадей окрашивались красным цветом. Берручете, коня которого вели за поводья, казался неестественно одиноким. Он блуждал взглядом по пустыне, уходя глазами то в тускнеющую седину востока, то в алое месиво заката.

Пачеко не заметил, как упал Паскуаль. Его голова просто ушла в пыль, но зрачки сержанта не сузились от внезапно охватившего его чувства тревоги: мысль, которая должна была появиться, как следствие увиденного, коснулась его сознания много позже.

Паскуаль лежал на боку, серо-белый от пыли, застывший взглядом на взрыхленной копытами тропе, и сам казался продолжением бугристой почвы, случайно принявшей своими неровностями вид обессиленного человека.

Пачеко позвал Эчеверрию. Вдвоем они довели Паскуаля до коня Берручете.

— Держись за стремя, — сказали они ему.

Дальше пошла галька и твердая глина: песка почти не было. Пустыня становилась полностью просматриваемой. Взгляду Альмодовара открылась равнина, укрытая камнями разной величины — от мелких, величиной с каштан, до крупных глыб, высотой с колесо телеги. Иногда между камнями пробивалась трава и низкорослые кусты. На юго-востоке угадывалась холмистая равнина: невысокие пологие холмы терялись в синеве приближающегося вечера.

— Через час-полтора будем в Чинапе! — крикнул Эчеверрия. — А там нас ждет колодец!

Колонна утешенно задышала. Она казалась существом, проливающим в пустыню из докембрия, отверстым множеством светочувствительных ячеек на своем теле и множеством ротовых отверстий — безмолвная тварь, которую Альмодовару захотелось перерубить пополам и, тем самым, прекратить её мучения.

Господи, — сказал он и отвернулся от солдат и лошадей к далёким пологим холмам.

Пачеко поравнялся с ним и доложил о Паскуале.

— А что от него можно ожидать? — спросил капитан. — Он в числе последних притаился после того, как все побежали ловить лошадь апачей.

— Я всё думаю, мой капитан, откуда стреляли, когда навывлет продырявили бурдюк? — сказал Пачеко.

— Издалека, Пачеко. Притаились за каким-то кустом. Но выстрел был хорошим. Надо было послать пулю вдоль тела лошади, чтобы её не задеть, но попасть в бурдюк.

— Значит стреляющий находился впереди или позади лошади.

— Скорее, впереди, заманивая её. А потом выстрелил. Дождясь, когда лошадь добежит к нему, зарезал её, а потом поднял свою лошадь с земли, вскочил на неё, и поминай, как звали.

— А ведь молодцы, мой капитан, — сказал Пачеко, не сумев скрыть своего восхищения.

Альмодовар осмотрел его, как на плацу, а затем виновато отвёл глаза.

— Это их дети, — сказал он. — Их дочери.

— Не нужно было соглашаться доставлять пленниц в Уальоа, — послышался голос Эчеверрии.

— Это приказ, — сказал Альмодовар. — Никто не думал, что после резни в Трес Кастильос апачи придут в себя. Их осталось в живых всего человек 12–14.

— Ну... — как-то вымученно хохотнул Эчеверрия, пытаясь подбодрить и себя, и остальных, — всё же на сердце легче, что пустыня открылась. Пошла каменистая местность, никакой пыли.

Но на каменистой местности люди почувствовали себя совершенно беззащитными, открытыми, как на ладони. Все думали о выстреле, который продырявил бурдюк, и поэтому каждый ожидал, что из-за далёкой россыпи камней будет послана ещё одна пуля. Берручете возвышался на лошади, как страж, охраняющий многогортое существо.

Длинная змейка, состоящая из людей, лошадей и мулов скользила к восточной стороне неба. Когда Пачеко взобрался на большой камень, чтобы окинуть глазами равнину, люди и животные показались ему узлами на серой засаленной верёвке, которую подтягивало к себе увеличивающийся месяц, похожий на приоткрытую верхнюю часть колодца, если смотришь на неё из самого дна.

— Чинапа — это колодец, выкопанный ещё при испанцах, — сказал Альмодовар.

— А он не заброшенный, мой капитан? — спросил Эчеверрия.

— Дон Мигель заверил, что всё в порядке.

На западе в извивах пурпура проступали контуры удаляющегося смертника. Он будто уходил в стену воды, — алые пятна сплывали на равнину и комкали её поверхность в тёмные складки и выпуклости. Мнилось, что ночь с отчаянием слепого тянулась за пылающими разводами, чувствуя лишь волны жара и запах крови. Её взгляд исходил из огромного клубка спутанных верёвок, среди которых, как единственно верная и не подверженная геометрическому изъязу, двигалась колонна обессиленных людей.

Взгляд Берручете изогнулся от висков к закату, и мысль о спасении, заставляющую его сознание не выходить за границы рационального, захлестнуло страхом. Вся равнина показалась ему хрупким льдом, сквозь который он вот-вот должен провалиться лицом вниз, к вертикальному пятну на спине смертника, который алым цветом просачивалось в вечное ничто.

— Доменико! — крикнул он, и конь, почему-то, остановился под ним.

Колонна продолжала идти дальше, обтекая Берручете, словно люди ничего не видели и ничего не слышали, и только Пачеко, когда подошёл к лейтенанту, ударил рукой коня и хриплым голосом сказал.

— Направляйте коня, мой лейтенант. Направляйте.

13

Очертаниями самих сумерек, а не далекими объектами пустыни вырисовались невысокие холмы, среди которых и должна находиться Чинапа. Пройдя между двух пологих возвышенностей, колонна достигла широкой котловины, которая уже утонула в темноте. «В таких местах и роют колодцы», — подумал Эчеверрия.

Альмодовар дал команду собирать на ходу ветки и сухие стебли трав. Каждый понимал: они будут двигаться до тех пор, пока не найдут колодец или пока не упадут без сил.

Западное небо отливало бирюзой. На его фоне сбившиеся в стайку апачки выглядели, как грубо прорубленный вход в другую сторону пространства. Стоило сделать что-то неосторожное или просто понадеяться на спасение — всей душой, по-детски, со слепой уверенностью, и из этой странной ступенчатой арки появится либо раненая лошадь апачей, либо вывалится клубок гремучих змей, либо выпадет хобот хищного смерча или же безмолвно выедет худой, обожженный солнцем мальчик, чтобы сделать последний выстрел.

— Апачек сторожите! Диего, бери Педрито и не спускайте с пленниц глаз! — крикнул Пачеко.

— Мы своё дело знаем, — слышался голос Диего Каучильо. — Вы колодец ищите.

— Вдали что-то чернеет, — сказал Эчеверрия. — Похоже на какое-то строение.

Он сполз глазами с восточного неба в тьму котловины, словно от взлетающих из костра искр в уже остывшее пепелище.

— Господи, Иисусе, — сказал Каучильо, а дальше его голос перетёк в шёпот, — те, кто находился в конце колонны, выдели только тёмное пятно впереди и силуэт Франциско Берручете.

Но глаза постепенно привыкли к темноте, и граница между пустыней и высью стала неразличимой. Люди наполнились уверенностью. Колонна разветвилась: в центре шёл Альмодовар, по бокам несколько солдат.

Пачеко ждал подвоха — вытягивал глазами из ночного неба звезду за звездой. Вспыхивая, они ничего не высвечивали, кроме правильной формы пятна, которое после оказалось стенками колодца. Осмысляя два тяжких дня дороги, сержант понимал, что просто так плещущейся в колодце водой их переход по равнинам не закончится: что-то ожидало их — тягостное, пустынное и беспросветное.

Пачеко озирался по сторонам, каждый раз, когда переводил взгляд от одного наплыва темноты к другому, встречался глазами с глазами Берручете, который тоже что-то почувствовал и постоянно дёргал своего коня за удила.

Берручете пытался предугадать события, стремился мыслью о них подытожить раньше, чем они произойдут. Он осадил коня и застыл, вглядываясь в глубину котловины. А потом начал искать зрачками индианок, но видел только прорубленный в западном небе вход, похожий на стрельчатую арку.

— Поднимите глаза! — закричал он. — Чёртовы индианки, поднимите глаза!

Пачеко поравнялся с пленницами. Они, в самом деле, шли, опустив глаза к земле.

Берручете повернул коня, чтобы направить его к индианкам. Девочки остановились. Каучильо подбежал к Берручете и схватил его коня за удила.

— Спокойно, мой лейтенант, — сказал он. — Колодец в другой стороне.

Девочки стояли прямо перед ним. Под слабым свечением западного неба их волосы казались влажными, будто облитые водой. Они уже оторвали глаза от земли и блуждали ими по лицу Каучильо, как по чему-то невидимому, но только несколькими секундами позже Диего догадался, что пленницы смотрят на него с нескрываемым удивлением, что они тоже выбились из сил и их пугает неизвестность.

Потянуло холодом, как будто во мраке проползло огромное пресмыкающееся, излучая от своего тела сырость глубокой ямы. Колодец вырисовался чётче. В диаметре он был не шире размаха рук. Высота его стен, сложенных из камня, доходила до пояса человека. Сверху он был прикрыт сплетенной из камыша циновкой, к которой, чтобы она не прогибалась, привязали ветки чапарраля. Показалось, или так было на самом деле, что камни блестели от росы.

Альмодовар только собирался сказать: «Стой», но люди сами остановились: из колодца дохнуло трупным запахом.

Все замерли, ожидая чуда, надеясь, что им всё это померещилось. Мулы и лошади начали отходить в сторону. Берручете словно уносило медленным течением. Он остервенело рвал поводья и постепенно сползал на бок, пока, вцепившись пятернёй в луку седла, не застыл, прижавшись лицом к гриве. Но запах разлагающейся плоти всё равно проник в его ноздри.

— Бросили в колодец падаль, — прошептал Эчеверрия.

Альмодовар оглянулся.

— До следующего источника два дня пути, — сказал он. — Будем чистить колодец.

— А сколько придётся ждать, чтобы вода стала пригодной для питья? — спросил Педрито.

— Сказал же, — процедил сквозь зубы Альмодовар, — будем чистить, а потом, взглянув на подошедшего Маурисио. — Маурисио, что с девочками?

— Паскуаль с ними, мой капитан, — почти неслышно ответил Маурисио.

— Но почему вы все разговариваете шёпотом? — спросил бодрящим голосом Педрито.

— Замолчишь ты или нет? — сказал один из солдат и, схватив Педрито, прижал его к себе. Тот уткнулся лицом в мундир, но от отвратительного запаха все равно к горлу подступала тошнота.

Поспешно принялись закрывать лица — кто чем: косынками или шарфами, которыми, обычно, обматывали шеи, когда находились высоко в горах. Подожгли пучок стеблей, чтобы по-

смотреть, что в колодце, но свет до дна не доставал. Решили бросить зажжённый пучок на дно, но он потух, не пролетев и двух метров.

— Надо бы обвязать кого-то веревками и опустить на дно колодца, — сказал Альмодовар.

— Мой капитан, — ответил Пачеко, еле сдерживая приступы рвоты, — он потеряет там сознание. Его всего вывернет.

— Но не ждать же нам до утра, — сказал Педрито. — Если мы только утром почистим колодец, придётся ждать до вечера, пока можно будет пить воду.

— А до того времени никто уже не будет держаться на ногах, — сказал Эчеверрия. — Жажда положит всех.

— Какую-то из апачек опустить. Они выдержат, — сказал высокий сутулый солдат с совершенно седой головой.

— Совсем умом тронулся, Маурисио? — возмутился Эчеверрия. — У нас приказ привести апачек в Уальоа невредимыми.

— Значит, попробуйте петлём, — сказал Альмодовар.

Петлю сделали на конце веревки, которой фиксировали на ночь лошадей. Ею водили по дну по очереди, но никто не мог выдержать, склонившись над колодцем, больше минуты вдыхать отвратительный запах.

— А если там человек? — спросил кто-то. — Если апачи бросили туда путника, который направлялся из Уальоа в Ларго Камино?

— Вот если бы крюк, — вздохнул Альмодовар. — Из чего мы можем сделать крюк?

— Из штыка, мой капитан, — сказал Эчеверрия. — Сталь на наших штыках никудашная, согнётся сразу.

— Так что ты стоишь? — спросил Альмодовар. — Не я же буду гнуть железяку.

С горем пополам согнули трехгранный штык, ударяя по нему камнями, а потом привязали его к веревке.

— Надо его плавно опускать, и лишь затем дёргать в сторону, — сказал Эчеверрия.

Сменилось четыре человека, прежде чем раздался звук, словно разрывалась ветхая ткань, и крюк застрял. Очень осторожно, постоянно поджигая охапки веток, вытянули тело мёртвого койота.

— Отнесите подальше и засыпьте камнями, — сказал Альмодовар.

Койота потащили Педрито и Маурисио. В пятидесяти шагах от колодца Педрито согнулся и начал содрогаться от приступов рвоты.

Альмодовар поискал глазами Пачеко, но не увидел его в темноте, услышал только частое дыхание Берручете.

Западный край неба ещё истлевал серым пеплом, но над ним уже ярко горели звёзды. Молодой месяц полз над возвышенностями узким серпом и всё ближе подтягивал к себе ночь, как тушу, как слежавшееся месиво, которое, свалив на дно котловины, вскроет кривым порезом.

— Апачек где-то пристрой и сторожи, — сказал Альмодовар Диего Каучильо, который подошёл к колодцу и пытался в него заглянуть.

— Так Паскуаль же с ними, мой капитан, — сказал Каучильо, отпрянув от края колодца.

— Найди хорошее место для обзора, подальше от холмов, но так, чтобы быть недалеко от нас. И охраняй.

Каучильо побрёл в темноту. Голова у него кружилась, в висках стучало острой болью. Он уже давно не дышал через нос, а хватал воздух пересохшим ртом. Он искал такое место, чтобы из него можно было наблюдать как за восточным, так и за западным краем неба. Он опустился на колени и бросил взгляд вдоль котловины, выискивая ровную площадку, где бы на фоне звёздного неба можно было бы четко различать пленниц.

Приемлемое место Каучильо нашел шагах в трехстах от колодца. Много лет назад какой-то пастух пытался там построить хижину, а может, и построил, и ночевал в ней, когда пригонял из возвышенностей коз на водопой. Основа хижины представляла собой круглую площадку, из которой были убраны камни и выложены по её периметру. Небольшая ограда из камней служила креплением для жердей и веток. Но в данный момент она могла стать хотя и условным, но барьером, который пленницам запрещено будет переступить.

Каучильо вернулся за индианками и вместе с Паскуалем отвел их на найденное место. Девочки шли молча. Увидев укрытую песком площадку, шагнули в неё и сразу сели, спина к спине, чтобы лучше обозревать темноту.

«Научены, — подумал Каучильо. — Кто-то из них всё равно не будет спать, чтобы постоянно наблюдать за происходящим».

— Словно не мы их сторожим, а они нас, — сказал Паскуаль.

— Ты не умничай, — через силу сказал Каучильо. — Глаза на-распашку, а рот на замок. Понял?

— Я же не идиот, Диего, — возмутился Паскуаль.

Остальные солдаты чистили колодец, но Пачеко освободил двух человек, чтобы те охраняли подступы к лагерю на восточной и на западной стороне котловины.

Приплёлся, постоянно спотыкаясь и опираясь прикладом о землю, Педрито.

— Капитан спрашивает, где кожаное ведро? Ты за него отвечаешь.

— Так в седельной сумке. Сложено. Где оно ещё может быть? — ответил Каучильо.

Педрито поковылял обратно в спутанный клубок голосов и в отвратительную вонь.

— Кого-то будут опускать на дно колодца, — прошептал Каучильо.

— Кого? — спросил Паскуаль.

— По очереди, наверное, — ответил Диего.

К верхнему краю ведра прикрепили камень, чтобы оно, коснувшись воды, опрокидывалось. Само ведро привязали к верёвке, которой доставали из колодца падаль. Дело продвигалось медленно: люди полностью выбились из сил; некоторые уже не могли держаться на ногах. Нужно было долго водить верёвкой и дёргать за неё, чтобы в ведро набралась вода, потом вытащить воду, потом отнести её подальше от колодца и вылить. Потом вернуться и начать всё сначала. И всё это время вдыхать запах разлагающейся плоти, которой пропитались вода и ил.

К полночи все выдохлись. Предложили воду лошадям, но те отказались её пить, а только всполошили тишину пугливым ржанием. Альмодовар дал команду полчасика отдохнуть, а затем снова начать вычерпывать воду.

— Придётся и ил вычерпать. Он, ведь, тоже отравлен, — сказал Пачеко.

Альмодовар приподнял руку, но донёс её только до уровня плеча и сделал сокрушительный жест.

Чтобы не уснуть или не провалиться в полубессознательное состояние, Каучильо часто поднимался на ноги и ковылял вокруг площадки, на которой сидели пленницы. Проходя мимо Паскуаля, он иногда награждал его лёгким подзатыльником, а тот без злобы огрызался:

— Да не сплю я, Диего. Не сплю.

Постепенно девочки улеглись спать, но старшая ещё долго сидела и всматривалась в темноту.

«Ждёт, что ещё придумают её соплеменники, — решил Каучильо, — каким будет их следующий подвох».

Он отошёл немного от индианок ближе к колодцу:

— Что там, мой капитан?

— Будем вычерпывать ил, Каучильо, — ответил Альмодовар.

Как бы исподволь, но не утратив впечатления внезапности, безмолвие котловины нарушило пение сверчков. Они все сильнее и сильнее журчали, подрагивая хитином, и возле колодца, и возле площадки, на которой лежали апачки. Монотонное, дребезжащее пение, будто звёзды были разогретыми до бела комочками металла, которыми встряхивала стальная поверхность небес.

Когда вытаскивали ведро, вокруг колодца раздавался долгий вздох, а потом звуки разрываемых рвотой глоток. Каучильо, вытягивая шею, старался увидеть ведро, но в темноте все предметы теряли свои очертания.

Старшая девочка улеглась спать и полчасика лежала на правом боку неподвижно. Потом она открыла глаза. На неё не мигая смотрела девочка, которая лежала рядом с ней. Старшая девочка прикрыла веки, но потом её глаза вынырнули из длинных, изогнутых по краям ресниц. Те же движения веками сделала и девочка, которая легла

спать напротив. Она слегка кивнула и начала, не отрывая голову от земли, осматривать местность вокруг площадки. Старшая девочка принялась осторожно разгребать возле себя песок. Она вырыла ямку глубиной в две ладони, потом засыпала её, чтобы сразу начать рыть в новом месте. Вырыв ещё одну ямку и засыпав её, очень медленно, не отрываясь от земли, переместилась на то место, где недавно лежала другая девочка, и начала разгребать руками песок уже там. Наконец она натолкнулась пальцами на трубочку, сделанную из побега тростника. Продолжая дальше выгребать песок, девочка нащупала горлышко фляги. Горлышко было заткнуто деревянной пробкой.

Старшая девочка осторожно вытянула пробку, вставила в горлышко фляги тростинку и только потом обожгла широко открытыми глазами свою соседку. Та ещё сильнее сжалась, свернувшись телом так, что можно было взять губами конец трубочки. Она сделала два глотка и отодвинулась в сторону. Никто из девочек не спал, даже шестилетняя. Все они почти незаметно переползали по площадке из песка, и каждая выпивала по два глотка. Когда вся вода была выпита, старшая девочка зарыла флягу и трубочку.

Паскуаль попытался подняться. Сделав несколько шагов, он опустил на колени, а потом упал.

— Не могу, — слабым голосом произнёс он. — Хотя бы один глоток воды.

Каучильо выпрямился и зашатался на ногах.

— Отведу тебя ближе к колодцу, — прошептал он. Обхватив Паскуаля за плечи, пытался приподнять его, но напрасно.

— Ты тоже старайся, парень, — сказал он.

Паскуаль кивнул.

С горем пополам Каучильо помог Паскуалю подняться на ноги и, придерживая под руку, повёл к колодцу.

Возле колодца половина солдат лежала, а половина сидела, уткнув лица в колени. Альмодовар лежал на спине, удивлённым взглядом разглядывая ночное небо. Каучильо склонился над ним.

— Ну так что? — спросил он.

— Вытанули ещё ящерицу, — сказал Альмодовар. — Полуразложившуюся.

— Будем продолжать чистить, — услышал Каучильо голос Пачеко, но, оглянувшись, не сумел определить, кто из сидящих в темноте сержант, а кто нет.

— Паскуаль полностью выдохся, — сказал Диего. — Пусть будет возле вас.

— Ага, — послышался голос, но уже не Пачеко.

Каучильо опустил Паскуаля на землю, поискал глазами Берручете, однако, вспомнив, что тот ему не нужен, поковылял обратно к апачкам. Увидел очерченное камнями пятно, но не подошёл к нему, а, полностью выбившись из сил, присел шагах в двадцати от него, положил винтовку на колени и уставился в сторону восточного неба, будто собирался его сторожить.

Ведро отрывалось от дна с чмокающим звуком, и в нём постоянно был ил — густой, зловонный и совершенно черный. Вытянули около ста ведер, прежде чем на дне ведра заплескалась одна вода. Опять предложили её лошадям, но те, постояв над ведром, повели головами по сторонам и испуганно отошли. Однако Педри-то и высокий сутулый солдат по очереди припадали к ведру и долго пили зловонную воду, пока Пачеко и Эчеверрия не отволокли их от колодца.

Берручете лежал, свернувшись калачиком. Он то стонал, то слабым голосом что-то проговаривал — непонятное, непохожее ни на один человеческий язык.

— Надо обновить воду, ещё вычерпывать, — сказал Альмодовар, но все лежали или сидели без движения.

— Чтобы запаха не было, — услышал он голос Эчеверрии.

С холмов долетел крик койота. Он сначала взмыл над котловиной — одинокий, тягучий, густой, а потом растёкся между возвышенностями, но после того, как будто бы затих, снова раздался, однако намного слабее, еле слышно, уже со стороны равнины.

Продолжали вычерпывать грязную воду Пачеко и Эчеверрия, — остальных солдат даже пинками невозможно было поднять. Хлюпанье воды сливалось со стонами Берручете.

От вылитого ила и грязной воды в пятидесяти шагах от колодца образовалась небольшая лужа. Высокий солдат заполз в неё, лёг навзничь и принялся, зачерпывая грязь ладонями, обливать ею своё тело.

— Кто это? — спросил Альмодовар.

— Бедолага Маурисио. Совсем спятил, — сказал Эчеверрия.

Пачеко посмотрел на небо. От жажды и усталости всё плыло перед глазами, звёзды роились — количество светящихся точек то уменьшалось, то увеличивалось. Ему стоило огромного труда сосредоточить взгляд и по местонахождению звёзд определить, сколько времени осталось до рассвета.

— Через час начнёт светать, мой капитан, — сказал он.

— Понятно, — ответил Альмодовар. — К полудню вода должна очиститься.

Опираясь на винтовку, Каучильо поднялся. Круг камней, что когда-то служили основой для хижины, искрился от росы. Глаза старшей девочки вспыхнули, отразив лучи молодого месяца.

Каучильо присел и отпустил винтовку. Она громко ударилась заговором о булыжник, выбросив из-под себя короткий сноп искр.

15

Забрезжило сначала в котловине, будто свет начал проступать из почвы. Чёрное безысходное пространство укрывалось сединой. У подножия холма шевельнулся оранжевый свет, потом исчез, а через минуту снова появился и начал трепетать быстро разрастающимися языками пламени.

— Апачи разожгли, — сказал Педрито, не поднимаясь с земли. — Издеваются над нами.

Солдаты зашевелились.

— У них вода, мой капитан. Они дразнят нас, — зашелестели голоса.

Похожие на мокриц, появившихся из-под перевернутых камней, солдаты начали передвигаться на четвереньках к трепещущему оранжевому пятну.

— Мы отберём у них воду, — послышался голос Маурисио.

Кто-то выстрелил в подножие холма, а огонь всё так же дрожал, будто журчал светом.

Альмодовар хотел крикнуть: «Назад, идиоты! Они дразнят нас!» — но с его губ сорвался только шёпот.

Еще кто-то выстрелил. Пуля срикошетила от камней и обрезала отголоски выстрела, повторяющимся эхом заполнившими котловину.

Какой-то сдавленный рёв качнулся и пополз, — Маурисио сотрясаясь от рвоты, вытаращив на землю круглые бессмысленные глаза.

Холм полностью очертился светлым абрисом. А котловину ещё больше пронизало сединой, словно укрыло войлоком.

Оранжевое пятно уже замолкало, только иногда, как колеблющаяся сталь штыка, по сумеркам хлестал одинокий язык пламени. Из-за западного склона холма выехал всадник. Рассвет окрасил все пространство в серо-лиловые тона, но на голове всадника алела налобная повязка. Всадник направил коня на северо-запад медленно, вброд, будто ехал в раздумии.

— Пацанёнок, — прошептал Альмодовар.

— Да кто его знает, мой капитан, — ответил Эчеверрия. — Может, и воин. Трудно разглядеть.

Несколько выстрелов пронзили тишину, от колодца поплыли светлые облачка дыма.

— Как они нас, — снова прошептал Альмодовар. — Вокруг пальца.

— Апачи это, мой капитан, — сказал Пачеко. — Не нужно было их обижать.

— Скажи это выродку де Лос Льяносу, — огрызнулся Эчеверрия с неизвестно откуда взявшейся силой в голосе.

— Не хватало, чтоб вы ещё поссорились, земляки из Дуранго, — успокоил их Альмодовар.

Он долго не отрывал взгляда от Пачеко, а, когда отвёл глаза в сторону, через силу произнёс:

— Что там с пленниками, сержант?

— Сейчас посмотрю, — ответил Пачеко.

Всадник медленно пересекал западный край котловины. Как только дым от выстрелов полностью развеялся, всадник остановился.

— Далеко, — сказал кто-то из солдат. — Не достанем. Напрасно стреляли.

— А и не нужно было, — попытался крикнуть Эчеверрия, но только прохрипел надтреснутым голосом. — Это ребёнок.

Пачеко дошёл до площадки, когда-то служившей основой для хижины. Никого не было. Каучильо лежал в двадцати шагах от площадки и как-то подслеповато, будто ощупывая пространство ладонью, водил рукой вокруг себя. Пачеко тщетно пытался помочь ему подняться. Даже беглый взгляд выхватывал из действительности неоспоримый факт — солдат полностью изнурен.

— Их нет, — постарался Пачеко произнести слова как можно громче.

— Понятно, — кивнул Доменико Альмодовар и отвернулся к далёкому всаднику.

Пачеко отметил, что девочки вначале передвигались ползком: там, где по камням скользили их тела, росы не было, редкие ростки травы были смяты. Апачки убежали не ранее, чем полчаса назад. Он прошёл ещё шагов триста и по следам определил, что индианки только вначале ползли, а когда удалились на достаточное расстояние от колодца, поднялись и побежали. Следы показывали, что шаг их был широким и лёгким, но Пачеко удивился лишь мимолётно, будто ожидал именно такого результата. «Откуда у них взялись силы?», — подумал он, однако поймал себя на мысли, что пытается размышлять об индианках с восхищением.

Пачеко побрёл дальше к проходу между холмами, где из равнины в котловину вползала тропа из Ларго Камино. Обогнув холм, он увидел старика, самую маленькую девочку и самую старшую, совсем близко, шагах в пятидесяти от себя. Было видно, что они выбились из сил, поэтому и присели отдохнуть. Остальные девочки бежали шагах в пятистах от Пачеко и старались побыстрее обогнуть холм, чтобы исчезнуть среди возвышенностей.

Старик поднялся. Его выцветшие глаза смотрели внимательно.

— Поликарпио? — обратился к нему Пачеко. — Это ведь вы, сеньор Поликарпио?

Старшая девочка схватила младшую за руку и попыталась побежать, но маленькая упала. Тогда старшая девочка взяла малышку на руки и быстро пошла вдоль подножия холма. Старик снял сомбреро и отбросил его в сторону. Его седые волосы, подстриженные под каре, были схвачены синей косынкой. Он пронизал глазами Пачеко — отрешёнными, закипевшими седым льдом.

Старик повернулся и пошёл, хромя, вслед за старшей девочкой, широко раскинув руки, прикрывая её собой, чтобы уберечь от выстрела.

Пачеко долго стоял и смотрел, как они уходили — девочка-подросток, несущая на руках малышку, и старый хромой индеец. Когда они удалились на расстояние, где пуля уже не могла их достать,

взяли маленькую девочку за руки и втроем побежали на северо-запад. Старик был невысоким и издали тоже походил на подростка. Он сильно хромал, переваливался телом из стороны в сторону, иногда поворачивался и бросал в сторону неподвижно стоящего Пачеко долгий и внимательный взгляд.

Солнце чиркнуло своим краем по равнине, сразу же окрасив её в красный цвет. Пачеко повернулся — пред глазами плыли то ли облака, то ли тлеющая светом котловина.

Он доковылял до Альмодовара и Эчеверрии. Ноги дрожали в коленях. Чтобы переступить, нужно было из последних сил опираться на винтовку. Но даже когда Пачеко присел возле Альмодовара, головок окружение не оставило его — в зрачки брызнул день, словно был разбит на множество осколков, а перед глазами поплыло, качаясь, как уносимое водой.

Солдаты лежали возле колодца, не отрывая взгляда от всадника, который огибал холм и постепенно удалялся. В стороне, сбившись в гурт, стояли лошади и мулы.

Альмодовар кивнул сержанту, а Эчеверрия сказал:

— Когда ты подошёл к Каучилью, я что-то заметил. Вроде как что-то мелькнуло на выходе из котловины.

— Они ушли, мой капитан, — сказал Пачеко. — Помните Поликарпио?

— Этого хромого старика? — спросил Альмодовар. Он откинул голову назад, чтобы посмотреть в небо, но по выражению его глаз Пачеко догадался, что взгляд капитана не ушёл в высоту, а остался возле задумчивого лица, словно удерживаемый внезапной мыслью.

— Ты хочешь сказать? — сказал Альмодовар.

— Я ничего не хочу сказать, — ответил Пачеко.

— Может это и к лучшему, — прошептал Альмодовар. — Нам нечего сказать, ведь так? Как всё это — всадник у холма, отравленный колодец, старик, который искал бруху, но оказался индейцем? Но я не верю в колдунов.

— Однако, получается так, что бруха есть, — сказал Эчеверрия. — Кто же тогда помог ему — этому хрому апачу?

— Может, всё это? — спросил Пачеко и обвёл рукой вокруг себя, будто хотел очертить начинающийся день, сделать его доступным и преодолимым.

— Всё равно не верю, — ответил Альмодовар. Он попытался улыбнуться, но боль и усталость сковывали его тело, поэтому на его лице появилось только что-то вроде извиняющейся гримасы.

Всадник исчез. Он и его конь слились с поверхностью пустыни, но ещё долго виднелась его налобная повязка, словно подтёк крови, который склон неба никак не решался с себя смыть и полностью утратить.

Віталій БОРИСПОЛЕЦЬ

/ Київ /



НАМАГАЮЧИСЬ НАЗДОГНАТИ МАЙБУТНЄ

*

Людина яка зреклася Батьківщини
висаджує дерева
з засохлим корінням
насолоджується ароматом
паперових квітів
милується з того як по небу
з якого зникли зорі
шарпають лапами
безкрилі птахи

Їй затишно
бо в чужому світі
всім байдуже до того
що у тебе немає обличчя

*

Ще ніколи
спів пташок
не був таким недоречним
як тепер
під час хвилини мовчання
по назавжди втраченим крилам
які обпалив
перегороджуючи шлях
оскаженій блискавиці
що цілилась у спину
моєму знесиленому янголу

*

Безжально
розтрощив на шмаття
філософський камінь

тепер з його уламків
намагаюсь побудувати храм
для шукачів істини

не даремно ж мене вчили
що головне —
це віра

*

Непомітно перетнув
межу дозволеного

інтуїтивно відчуваю —
щастя вже поряд

лишилось ще трохи —
самотужки подолати
кордон неможливого

Запитання без відповіді

про які глибини
мріють створіння
що мешкають на дні
Маріанської западини

чи сниться Небо
птахам
народженим в інкубаторі

куди приведе стежка
що починає свій шлях
від стічної канави

чи впаде в море
ріка
яка ховається під землею

чого бояться безликі люди
викриття своєї нікчемності
чи розуміння того ким вони є

*

Якщо мрієш
лише про щось таке
що можна просто купити

то напевно
з легкістю зможеш продати те
чого не можна втрачати
за будь-яких обставин

*

Намагаючись наздогнати майбутнє
навіть не помітив
як від мене пішло минуле

*

Самотність —
це коли щодня надсилаєш листи
без зворотньої адреси
адресатам
яких не існує

*

Душа —
це звивина мозку
що потерпає від вірусу емоцій
і перебуває на самоізоляції
аби запобігти пандемії розуму

*

У кожного свій дороговказ

пліч о пліч з натовпом
йдуть лише ті
що стидаються дивитись в очі
власним зорям

*

Не обов'язково бути
стрімкою рікою
аби якнайшвидше дістатися моря

першою домчить
пересохла ріка
бо вона довірилась Небу

*

Із року в рік
зводив храм любові
у своєму серці

та кохання
обрало іншу віру

перетворивши душу
на Мекку для сталкерів

*

На блошиному ринку
я придбав твій портрет
що його написав невідомий художник
викраденим з Неба
восьмим кольором веселки
тепер
аби знайти тебе
я маю подолати бурхливі течії
шостого океану
і зійти на рятівний берег
який ти лагідно тримаєш
на своїх долонях

*

Подолав пустелю самотності
видерся з болота байдужості
та попереду з'явилися
непрохідні хащі безликого натовпу

стомився від відчаю аж так
що відважився на самогубство

і не роздумуючи стрибнув
у омут твоїх очей

Марк ЗАЙЧИК

/ Тель-Авив /



СЛАВА ОРТОПЕДАМ

Толкнув дверь из кухни нежным коленом, в зал выдвинулась официантка с полным подносом в сильных руках. Лавируя, она подошла к столику, за которым восседали три джентльмена средних лет, одетых по местной привычке без лоска, чисто и аккуратно. Расставляя на столе блюдца с сильных цветов закусками и яркими салатами, опытная женщина успевала оценить ситуацию с мужчинами, которые уже крепко, по ее мнению, выпили и пребывали в состоянии веселых наблюдателей жизни. Почти пустая бутылка виски, названия которого официантка запомнить никак не могла, несмотря на все старания, доказывала, что женщина была права. 750 грамм поделить на троих и то не полностью, всего ничего, нет? Эта официантка, несмотря на большой опыт и понимание жизни, как ей казалось, была дамой недалекой.

Один из мужчин, лысоватый, крепкий, подобранный, с пронзительным синим взглядом глубоко сидящих глаз, отодвинул стакан, чтобы женщине было удобнее расставлять тарелки. «Вот этому я бы дала, с удовольствием», — подумала она мельком. Рубашка у него была дорогая, модная, очень известной фирмы, нейтральной расцветки. «Пижон, стареющий», — вынесла приговор женщина, которая и сама была уже не так и молода. Но, что называется, в соку. Что говорить зря. «И ботинки у него в тон всему, удивительно, а так и не скажешь никогда», — покачала официантка головой, уходя собранным и живым шагом. Это у нее получалось как бы само собой.

— Нам еще бутылку, принесите, пожалуйста, того же, — негромко сказал ей второй мужчина. Этот был светловолос и вежлив, целеустремлен и ни на что, казалось, не обращал своего внимания кроме как на количество алкоголя на столе. Официантка кивнула ему, что поняла просьбу, повернув пригожее лицо голодного, возбужденного человека, который с утра съел только две ложки протокваши с куском свежего огурца — у нее был разгрузочный день

сегодня. Она поправила шпильку в крашенных в светло-коричневый цвет волосах, ей показалось, что прическа ее потеряла форму и распустилась, сказала бармену, что на пятый столик нужна еще бутылка того же, и прошла на раздачу за тарелками со вторым.

Третий мужчина, того же примерно возраста, что и его знакомые за столом, постукивал чуткими пальцами по танцующей цыганке, изображенной на синей пачке крепчайших сигарет «житан», изготавливаемых из черного табака.

Они выпили минут за тридцать грамм 700 виски на троих без закуски, что не слишком отразилось на них и их общем состоянии. У этих людей, что было ясно и видно невооруженным, так сказать, взглядом, был некоторый опыт в этом увлекательном и затягивающем занятии. Официантка принесла им спорым зрелым шагом новую непотатую бутылку виски и торжественно и весомо водрузила ее посередине стола. Затем она быстро вернулась на кухню и принесла каждому из мужчин по плоской тарелке с куском сочащегося кровью мяса, ядовито-желтого цвета горкой зернистой горчицы и острейшим ножиком с тяжелой трезубой вилкой подле.

Хлеб был свежайший, ржаной, тяжелый. Они рвали хлеб на куски и, нацепив их на вилки, макали в мясной соус с острейшей горчицей, закусывая значительные глотки виски и одобрительно кивая процессу довольными, расслабленными и успокоенными мужскими лицами с закрытыми от удовольствия глазами. Поданное им мясо было упругим и сочным. Ха, что тут сказать, что говорить зря. Они выглядели так, как будто понимали жизнь и ее суть, эти уверенные в себе взрослые мужчины.

Арочный вход в этот ресторан, называвшийся «У Джона», вблизи хайфского многокилометрового пляжа был перекрыт сверху и сбоку лозами дикого винограда с гроздьями мелких ядовитого цвета ягод, досадливо мешавшим людям, которые входили и выходили, отодвигая от лица виноградные листья без раздражения и нервов. Как будто так и должно было быть при входе в популярный ресторан, источавший волнующие запахи свежей зелени, только что испеченного хлеба, привезенных утром из хозяйств овощей и жареного на углях мяса. С моря приносился легкий ветерок, деревянный пол в зале был только что вымыт, место было популярное, но столик найти было можно, просто нужно было знать часы. Они знали и всегда приходили вовремя, съезжаясь из разных мест Израиля.

Тот самый, солидный и модный, приезжал из Иерусалима, машину ставил вдали от ресторана и шел вдоль длинной парковочной стоянки, обсаженной с двух сторон кустами розмарина, жимолости, лимонного калистемона и лавра на встречу с друзьями неспешным вольным прогулочным шагом, он мало ходил и старался по возможности наверстывать недостающие в жизни шаги. В Иерусалиме у него получалась мало гулять: работа, дом, тренировочный зал в подвале семейного особняка в Старом городе и так далее. Русские

друзья звали его Федей. На самом деле его имя было Фуад. Это все шло еще из Ленинграда, где они все учились в середине 80-х и 90-х. Там этого человека называли Федей для удобства жизни и звучания. Ну, Федя и Федя, он не возражал. А что?!

Он посмотрел на море, переведя свой взгляд через широкую полосу пляжа с немногочисленными в этот час отдыхающими. Море было беспокойного серо-синего густого цвета с редкими купающимися, которых отгоняли от разрешенных границ плавания гулкие голоса спасателей на вышке, установленной посреди пляжа на сваях метрах в 30-ти от ресторана. «Вы могли бы принести мне чаю с лимоном?», — спросил он проходившую мимо официантку. Иврит его был лучше его русского, но хуже его арабского. «Конечно, немедленно», — женщина не удивлялась просьбам и требованиям, она повидала за месяцы и годы работы всякое. На ходу она подумала, не пряча улыбки: «Еще и не поел ничего, а уже чая хочет, вишь какой». Федор заметил, что у стены в полу проделана квадратная дыра неизвестного предназначения. В строениях Средиземноморья часто встречаются такие непонятные и необъяснимые загадочные штуки.

На улице свет казался как бы просеянным через марлю, сольным и зачищенным от постоянной силы солнца. Семья из четырех человек, мама и папа средних лет, и мальчик, и девочка, похожие на кузнечиков, в мокрых купальных костюмах, присев на камни низкой ограды, тщательно счищали песок старыми застиранными махровыми полотенцами со ступней и голеней, готовясь зайти в ресторан «У Джона», в котором сидели и кайфовали за поздним обедом наши герои. Будний день, без особых перегрузок и новостей. Девочка, почти Лолита по возрасту, неловко толкнула брата в спину, и он, оступившись и потеряв равновесие, шагнул в песок. Девочка хихикнула и отскочила, нелепо взмахнув длинными руками, от брата, похожего на обозленного шипящего котенка. «Ты жаба, вообще», — воскликнул он обиженно. Их отец сказал на все это глухим голосом: «Я кому сказал, не балуйте, а ну, тишина». И посмотрел кругом, как реагируют люди. Никому не было дела до них.

Все трое взрослых мужчин, сидевших в рестораничке за столом, лет двадцать назад учились в Ленинграде, тогда этот город назывался так, в медицинском институте на Петроградской стороне. Федя был стипендиатом и посланцем за самой гуманной профессией от компартии солнечного Израиля, или как эту страну называли арабские товарищи, Палестины. Глеб, медалист, глазастый и любопытный юноша, приехал учиться из небольшого городка на Украине, а вот Генаша родился в Питере, ему не надо было никуда приезжать, только поступать. Что он и сделал без особого перенапряжения, у него был большой талант к жизни.

Федя до поступления в ВУЗ проучился полтора года на курсах по изучению русского языка. Он был трудолюбивый, очень способный, выучил русский язык он на удивление весьма быстро и при-

лично. Два раза в год он ездил домой в родные, как говорят, Палестины на каникулы. «Ну, что Федор, как было? Как там наш вечный город, а?» — спрашивал его своим обычным голосом Генаша, встретив в коридоре института по возвращении. У него, казалось, не было комплексов, он, якобы простой человек, их преодолевал по мере поступления.

Генаша учил иврит в неофициальном кружке, уже было можно и казалось, что так было всегда, платя за удовольствие учебы рубль с полтиной за 45 минут, но успехи у него были слабые. Этот язык в другую сторону (справа налево) был не его вотчиной. Он был способный человек, все схватывал на лету, но язык иврит, родная речь, ему не давался. Это его раздражало, хотя он не сдавался и продолжал повторять глагольные формы, коверкая произношение.

Глеб был фанатом спорта, тренировался при каждом удобном случае, развивая свои и без того значительные бицепсы и излишние, на первый взгляд, грудные мышцы. Его удар, по слухам, правой прямой был сокрушительным, если достигал чужой челюсти. При всем своем нервном заряде Генаша не был большим любителем драк и скандалов. Мог лениво поругаться с кем-нибудь на институтском вечере в каком-нибудь Текстильном или Техноложке, но не больше того. Закон он уважал, советский закон был для него среди закрытых тем, в твердом табу, со второго класса. Он был сутуловат и укомплек ко всему, ему это как бы не мешало.

Федя остерегался всего и боялся даже возразить что-либо какому-нибудь дрожащему алкашу на выходе из метро «Петроградская». Безропотно отдавал 40 копеек «на похмел, друг, дай» и шел дальше под взглядами мужчин с подвижными кадыками на небритых шеях. Его предупредили не конфликтовать, не ругаться, не выяснять отношений, не реагировать ни на что. «Это не приветствуется, у тебя семитская внешность, запомни, там таких не обожают, Фуад, права не качай», — напутствовал молодого человека перед отъездом опытный родственник, который уже прошел через советский вуз.

Завкафедрой анатомии, пожилой известный в этом мире профессор, взял шефство над вдумчивым студентом Фуадом или попростому Федей из далекого Израиля. Профессора звали Михаил Абрамович Форпост, он прекрасно разбирался в жизни и понимал, кто есть кто и в Израиле, и здесь, в Ленинграде. Но ему, в действительности, было абсолютно все равно по большому счету. Своих детей у него не было. Парень ему просто понравился, он был очень вежлив, любознателен, усерден, все схватывал на лету и очень воспитан, не чета многим другим «парехам и уйсворфам» из советской провинции. Речь не обо всех идет, но Форпост в людях разбирался хорошо, как он считал.

Их сотрудничество, ставшее дружбой, продолжалось все годы учебы Феде в мединституте. Ничто не могло нарушить этой идил-

лии, не только рабочей, но и, кажется, общечеловеческой. Ни разу о деньгах речи не заходило, это просто было не к месту, Федя это понимал. Он напряженно думал, ну, как можно отблагодарить этого человека. Однажды он привез ему в подарок из Иерусалима менору ручной работы. Купил Федя ее в первом ювелирном магазине, который был ниже гостиницы «Кинг Дэвид» на той же стороне. Всего там было несколько магазинов, но Федя выбрал первый от гостиницы. До него дошел глухой слух, от друга отца, понимавшего в этих делах, что это лучший из всех. Не торгуясь с религиозным хозяином о цене, Федя попросил упаковать менору и сказал, что везет ее в далекую северную страну. Хозяин тщательно упаковал в три слоя пергамента менору, уложил в картонную коробку со стилизованным рисунком молящегося еврея, забрал деньги не считая, этот араб вызывал у него доверие, они пожали руки — и Федя, очень довольный, вернулся к машине, припаркованной на гостиничной стоянке. Охранник в форменной фуражке, сидевший в распахнутой будке на стоянке пытался съесть принесенный ему из гостиничной кухни обед, отправляя в себя большие порции спагетти и мяса, которые он щедро набирал поочередно из двух одноразовых тарелок. «Приятного аппетита», — пожелал ему Фуад, вежливый по жизни человек, хорошо воспитанный дома. Охранник прожевал пищу и сказал ему: «Спасибо, любезный господин».

Михаил Абрамыч был очень тронут подарком студента. Сначала буквально застыл при виде благородно блеснувшего серебром семисвечника. Он разволновался, долго рассматривал менору с разных сторон и потом значительным голосом торжественно сказал: «Замечательно, уважил пожилого семита».

Он извлек бутылку старого коньяка с названием из двух букв «КВ», что могло означать и «Коньяк Выдержанный», и «Клим Ворошилов». И со значением, свойственным редко, но с удовольствием выпивающим людям, не лишенным пристрастий, разлил его по хрустальным рюмкам. «За Иерусалим, мой мальчик». Он, казалось, не совсем разбирался в ситуации, не хотел в ней разбираться. Заметим, что уже можно было гражданам страны Советов получать такие подарки, прогрессирующая в демократическом направлении власть уже позволяла людям относиться к предметам религиозного культа с уважением, в разумных пределах, конечно. Без фанатизма, так сказать, как стали часто говорить позже. На Михаиле Абрамыче была его любимая шерстяная кофта крупной вязки, застегнутая доверху, ему часто бывало холодно. Это были последствия плохо объяснимого задержания органами безопасности и 25-месячного содержания под следствием более 30 лет назад. Вся эта довольно страшная история продлилась в общей сложности для Форпоста около двух лет, плюс-минус. До тех пор, пока не умер усатый хозяин в Кремле, вот тогда его, сильно сдавшего физически и психологически, конечно, тоже, и отпустили домой.

Все обошлось, по словам Михаила Абрамыча, «все вернулось на свое место, как прежде, видите, больше 35 лет прошло, я на своем месте». Феде он об этом не рассказывал, частная жизнь старика его того касаться была не должна. А Федя и не спрашивал профессора, он наблюдал жизнь с холодным несколько презрительным уважением иностранца, «чего не знаю, того и не должен знать, мало ли что в жизни бывает, разве нет?!».

Однажды Михаил Абрамыч спросил Фуада: «Там мои братья ваших братьев не обижают, уважаемый Федор?». Никакого подвоха в словах этого человека не было, его это интересовало, он читал газеты тоже. Фуад подумал и честно ответил: «Вопросы есть, конечно, к ним, вашим братьям, но сосуществуем пока, все в руках божьих, Михаил Абрамыч». Фуад не осторожничал, он чувствовал себя на редкость уверенно, как со своими. «А к вам и вашим братьям вопросов нет?» — любопытствовал старик, он не был наивным, он просто хотел добаться до истины, такой характер у него был. «Есть, дорогой, вопросы и к нам, конечно, но к вам их больше, как к сильной стороне». — «Дожили, что и мы сильная сторона», — непонятно было, он иронизировал или нет, этот сложный битый жизнью старик родом из евреев.

Потом они занимались наукой еще часа три, старик был настойчив и требователен. Его супруга, по имени Песя Львовна, с опущенными dolu прекрасными черными еврейскими очами, как у героини трогательного рассказа А. Куприна (был такой период у этого писателя — любил евреев и восторгался ими, потом это прошло), приносила им фаршированную рыбу, куриный бульон с миской риса и рубленую куриную печенку с жареным луком и крошеным яйцом. «Невозможно оторваться», — говорил он хозяйке. Та была счастлива и улыбалась гостю как родному. Фуад съедал все с огромным аппетитом, было 10 часов вечера, Михаил Абрамыч ел с ним вровень, с того осеннего ареста из начала 50-х годов он никак не мог насытиться и не поправлялся ни на грамм. О, Фуад не осторожничал в этом смысле. Они выпивали еще парочку рюмок, выдыхали с удовольствием и продолжали занятия до часа примерно ночи.

Потом Песя Львовна стелила Фуаду на кожаном диване в кабине постель, и он немедленно засыпал как ребенок до 7 утра. После завтрака занятия продолжались еще часов 5-6. Потом Михаил Абрамыч, справившись с так называемым привычным вывихом плеча, тревожившим его еще с ареста и допросов тридцатилетней давности, шел на работу, а Фуад отправлялся на занятия. Так происходило много раз. Ученик знал о травме Михаил Абрамыча, который никогда о ней не говорил с ним. Как и об отвратительных шрамах на шее возле правой ключицы, хорошо видимых тогда, когда профессор расстегивал свою кофту и рубаху после часов занятий. Все-таки Фуад готовился быть врачом, но ему, балованному неженке, никогда ничего подобного у взрослых людей не наблюдавшего, было неприятно и больно видеть эти шрамы почему-то. Фуад в резуль-

тате получил диплом врача, остался в аспирантуре, защитил диссертацию и уехал домой в Иерусалим, где у его состоятельной разветвленной семьи был большой дом. У него на руках были лучшие рекомендации от лучших специалистов, мировых питерских светил, от Форпоста, в частности.

Фуада, который пришел на собеседование в Совет директоров в английском костюме и галстук при белой рубашке с высоким воротником и платиновыми запонками, произведя сенсацию своим внешним видом, оттенком кожи прекрасного семитского мужского лица, приняли на работу единогласно в большую столичную больницу. Рекомендации у него были замечательные, и он умел очень многое. Просто чудеса творил. Он быстро завоевал себе место под солнцем. Он, схватывавший все на лету, был готов трудиться по 18 часов в сутки.

Он очень многому научился в этом промокшем сером от дождя Ленинграде, и не только в профессиональном смысле, но и в человеческом, у своего Михаила Абрамовича Форпоста и других учителей ленинградской школы, помогавших ему бескорыстно и искренне. Известность не испортила этого молодого человека, он знал себе цену, прекрасно ориентировался в жизни, не изменил своей привычке выпить после пяти дневных операций хорошего виски, отобедать в садике столичной гостиницы «Америкен колони», выкурить крепчайшую сигару «partagas», отдающую землей и благородным кубинским деревом из леса колдунов Альямдарес вблизи Гаваны, и оттуда поехать домой, держа в руке свернутую газету «Джерузалем пост» и бутылку итальянской минералки, необходимые для утра предметы не помешают никогда. Расплачивался Фуад наличными, широко и щедро, ему были там рады в этом месте, застывшем закутке английской оккупации (а была ли она вообще, английская оккупация), он был рад им, этим любезным людям, ему нравилось радоваться, вообще.

Дома он принял контрастный душ и лег спать. Дом был недалеко, 10 минут езды от гостиницы, когда нет пробок. Кривое шоссе с хорошим покрытием, но узкое и плохо освещенное. За перекрестком Гиват Царфатит перед поворотом на Гиват Зеев располагался полицейский патруль, но Фуада не проверили, ему иногда просто везло, к нему благоволители разные люди. Из-за выпитого он не переживал, был уверен в себе и расслаблен.

Входная дверь, забранная узорной кованой решеткой по обычаю этих мест, была не заперта, и никого при входе не было — входи и бери все, не хочу. «Ха, ничего себе», — пробормотал Фуад. В глубине дома ходила в войлочной обуви их пожилая прислуга Валия, тихо переговариваясь с ужинающим на кухне охранником Атифом. «Хороший у нас охранник, истовый», — вяло подумал Фуад. Шести часов сна у открытого окна под холодным черным, бесконечной глубины воздухом Иерусалима, было ему сверх достаточно. Проснулся свежим и сильным. Он просто молод еще, детей нет.

Только работа и отдельные мысли об оставленных там далеко людях. Поднял с пола вчерашнюю газету из ресторана, развернул, просмотрел первую страницу, ничего не нашел для себя и вернул на пол, там ей и место.

Однажды, еще в Ленинграде, выпив с приятелями достаточно много теплой водки из зеленых бутылок, Федя сказал им неожиданно, совершенно искренне: «Я лучше людей, чем Форпост, его еврейские коллеги, да и вы, парни, не встречал в жизни». Фуада учили и вытягивали в великого врача-ортопеда еще несколько учителей, большинство из которых были Моисеевой веры, Генаша и Глеб помогали ему как могли. Такое вот содружество, понять такой интерес и приязнь к любознательному парню из Старого Иерусалима и объяснить как-то рационально было невозможно.

— Кончай все это, а то я заплачу сейчас, — сказал Глеб, пьяненький и мало что понимающий. Он был очень хорош собой, атлетически сложенный красавец, учился сам по себе, поступил сам по себе, до всего добивался лично, никаких посредников. «Не признаю». Мир Глеб понимал, как он есть, ничего не преувеличивая и не преуменьшая. Вот он мир, а вот он я, и идите, так сказать, вы все к черту. При рождении его назвали Гиршем, но имя Глеб подошло ему больше, и он стал для всех Глебом.

На первом курсе они все ездили на так называемую «картошку» в совхоз на берегу Ладожского озера. Место было потрясающее, все зелено, вода синяя, беспокойная, с волной, мужики в ночь выходили на лодках ловить рыбу сетями. Они выгребали против волн, вверх-вниз, вверх-вниз. Рыбы было всегда богато в сетях, уха готовилась двойная и тройная, добавлялся в конце варки стаканчик водки и горевшая черная доска из печи или костра.

Ребята жили в добротном сарае без дверей во дворе директора совхоза, основательного практичного мужика. Кормили студентов отлично, и они работали хорошо. В воскресенье был выходной, все маялись от безделья. Никто ничего не читал, газет не было, зато был зачитанный до лохмотьев еженедельник «Футбол-Хоккей». В субботу были танцы в клубе, которые иногда заканчивались мужским выяснением отношений. «Ты чего? Девки наши были и будут, вы здесь чужие и никто, ясно! Врачи, бляди, отравители. Сейчас нос забью в глотку, понял?!» — такой был разговор.

Глеб ориентировался в этих ситуациях королем, хладнокровным уверенным человеком, который мог говорить с деревенскими в нужной интонации, глядя им в глаза, он сам был деревенским во многих смыслах. Знал, когда отступить, а когда ударить под дых, когда свалить. Местные ребята его ценили и уважали, хотя он мог и сбежать при необходимости без проблем. Его комплексы работали на него почти всегда. Глеб стоял в боевой позе атакующего уголовного хулигана, не знал страха и упрека, готовый к любому, самому опасному развитию событий. Эта наглая поза бойца срабатывала безотказно.

Босая пятилетняя дочь председателя Дуня приходила утром в воскресенье в сарай, где спали студенты, крепко брала своей сладкой розовой лапкой Глеба за ухо и тихо шептала: «Вставай, Глеба, обед готов, мама и сеструха ждут». Глеб вскакивал, смотрел на нее, потом умывался на улице из ржавого крана до пояса ледяной водой, растирался полотенцем, будил остальных и шел на обед. Он держал Дуню за ладонку, и они неторопливо брели к веранде, где дымилась картошка с мясом и луком. Совхоз был богатым, а директор щедрым и деловым. «Хочешь на мне жениться, Глеба?», — говорила Дуня заинтересованно. «Надо у папки твоего спросить, но я не возражаю, с удовольствием, Дуняша, если честно», — отвечал Глеб. «Вот и хорошо, я с ним поговорю сама», — она смеялась, как серебряный колокольчик на дверях.

А, вообще, по воскресеньям в любую погоду старались ездить на Крестовский остров, где возле стадиона «Динамо» пустовали теннисные корты, на которых играли в футбол в маленькие полутораметровые ворота с крупнозернистой сеткой на железных штангах из труб. Обычно играли 6 на 6 или 7 на 7, зависело от количества людей. Глеб, Федя и Генаша играли вместе плюс еще парни, которые погоды не портили. Блистал, как это ни странно, Генаша, сутуловатый и узкий какой-то, но играл прекрасно, остроумно и легко, мог, вероятно, сделать карьеру в футболе, но выбрал, как видите, для себя другую стезю. Он накручивал двух-трех человек из команды соперника вокруг себя, делал из них посмешище, парни злились, краснели и не знали, что с ним делать. К тому же очкастый, и что делать с таким?! Иногда кто-то не выдерживал и срубал наглеца наотмашь по опорной своей главной правой и ударной — «не хер выделяться» — и Генаша падал навзничь, чертыхаясь и добавляя матерка для понимания, если кто не понимал. Глеб и Федя игроками футбола в истинном смысле не были, но погоды не портили. Генаша все их недостатки перекрывал, и к тому же они отрабатывали в защите, дисциплинировано и грамотно. Особого понимания игры на этом уровне не требовалось, нужно было просто держать и караулить свое место, что они и делали.

Сразу после того, как кто-нибудь зло ронял Генашу на землю, к месту конфликта подбегал, топая кедами по жесткому укатанному грунту, Глеб и споро разбирался с обидчиком друга. Глеба побивались, и ругаться с ним никто не желал, можно было схлопотать. Федя стоял рядом, готовый вступить. Но это никогда никому не было нужно, все заканчивалось очень быстро. Медики народ отходчивый, разбирающийся не только в физиологии и анатомии, но и в душах клиентов. Команда Генаша и Глеба обычно побеждала и находилась на площадке, пока были силы. Потом они уезжали в полупустом воскресном метро обратно на Петроградскую, покупая у станции дымящиеся пирожки с ливером по 8 копеек штука. Обычно брали на рубль с мелочью 16 горячих и зажаренных

до изнанки. Тетка в белом фартуке накалывала их огромной вилкой и складывала в куль из оберточной коричневой бумаги. «Берите, мальчики», — бормотала она рассеянно, пытаясь не обсчитать себя. Ее спорые руки были в перчатках с обрезанными пальцами. Одновременно она успевала перебирать мелочь и сбрасывать деньги в кожаный кошель. Все были голодны, как дикие звери в лесу без добычи.

И даже Федя съедал свою порцию из четырех пирожков, не произнося своих обычных «как вы это можете есть, это несъедобно». Он уже привык, приноровился, ему нравилось. Все перемалывал очень быстро, но друзьям оставлял по шесть штук, ему хватало четырех. «В Иерусалиме я бы на это и не посмотрел даже из любопытства», — говорил он, вытирая рот платком. «А ты сейчас в Ленинграде, и не ври, ради бога, так много, здесь свои достоинства многочисленные, рискуй пацан, рискуй», — говорил ему Генаша, почему-то бледный и с черными кругами под узкими светлыми глазами, типичный мальчик, рожденный в этих болотных и страшноватых местах с ужасными рогатými чертями и отвратительными краснотазыми водяными в Лахте и даже в Разливе. Они водились в глубоких, густых, непролазных лужах, поросших пронзительной зеленью и находящихся неподалеку от моря в этих похожих друг на друга местах в окрестностях города и на побережье Балтики и ее мелких заливов. Невиданные звери и зверушки с оскаленными ртами довершали картину этого чудного, замшелого и опасного мира, прочно стоявшего на человеческих костях и бесконечных людских скелетах в мягком колышущемся дне болот.

Генаша учился очень легко, у него, у беса, была фотографическая память. Помимо этого, он был просто умен, то есть быстро добывал зерно и смысл из сказанного и прочитанного, понимал и запоминал существенное и делал выводы. Этот узкоплечий, нервный, независимого вида очкарик, часто небритый и криво застегнутый, проглядывал учебники и запоминал, перелистывал пособия и после этого просто все знал. Экзамены не были для него каким-то барьером или препятствием. Он вызывал невольное уважение у знакомых людей. Неудивительно, что с ним боялись не только играть в футбол, но и просто спорить.

Ленинград еще не был переименован обратно в Санкт-Петербург. Время дарило им всем потрясения и изменения. Генаша читал невероятные журнальные публикации, разрешенные в последнее время. Эти книги влияли на него, как наркотическое зелье. И имена. Например, Набокова и Розанова. «Голова кругом идет», — признавался он Глебу, который пожимал плечами и смотрел на приятеля, не совсем понимая. А Ходасевич, а?! Культ литературы существовал в этом месте в это время, иначе не сказать. Михаил Абрамыч тоже был подвержен этим пристрастиям, и другие знакомые тоже.

Только Федя смотрел вокруг без удивления. Его это все занимало постольку-поскольку. Он был своим, конечно, человеком, но были нюансы, вполне понятные и объяснимые. И, конечно, была еще первокурсница *Галю* — произносить это имя нужно было в нужной интонации. Девушка эта была из-под города Житомир и говорила напевно и ласково, с большим запасом женской энергии. Не тараторила, звонко смеялась, показывая чудные совершенные зубы, внимательно слушала, что для людей, и девушек особенно, значило так много. Волосы цвета спелой ржи, говорил Генаша, который никогда в жизни не видел ни ржи, ни спелой ржи. Но говорил как большой специалист. Федя ему верил безоговорочно.

Тем не менее, акулой секса *Галю* не была и не желала таковой быть. Училась, училась и была очень хороша собой, как может быть хороша 19-летняя студентка из украинской провинции, жаждущая получить медицинское образование в хорошем ленинградском институте. Все свое было при ней. Красные щеки, синие глаза, светлая прядь на лбу, подобие улыбки на юном лице от абсолютного владения телом и скоростью движения. На зимнем кроссе, в синем облегающем тело костюме с белыми полосками на воротнике — эта девушка привлекала внимание всех. Просто королева. Бег по лыжне мимо базы отдыха, сарая для переодевания и щербатой двери в сторожку дирекции, а дальше редкий лес с опушкой и подъем, у нее получался легко, естественно и красиво. Она скользила по подмерзшему снежному насту без напряжения, с видимым удовольствием. Непонятно было, как ей удавалось так, но удавалось. Молодость, сила, энергия, что еще? Свежесть, холодок, лесной воздух...

Ею любовались парни со всех курсов, редкие преподаватели в меховых, завязанных на темени шапках, да и девушки тоже. Кафедры были темные, мрачные, скучные, история партии, скажем, но что здесь поделывать? Они ведь тоже люди, и тоже не лишены чувства прекрасного, правда? Федя наблюдал за их деятельностью не без восторга. Кросс Федя не бежал, потому что скользить на лыжах не умел, как и теоретики марксистской теории, он не хотел позориться. Но он смотрел на Галю и наблюдал за нею очень внимательно своим арабским пронзительным глазом. Он пытался понять, смотрит ли она в ответ на него, но решить окончательно, что да, смотрит, не мог. Наверное, нет, что поделывать.

Танцевать он тоже не умел, но на институтские вечера ходил как заведенный, на нее посмотреть, полюбоваться и, может быть, пригласить в мороженицу, в кино, что ли. Дальше этого его фантазия не распространялась. Девственником он не был, просто необъяснимо стеснялся почему-то этой девушки. Любовь, что ли? Все возможно.

Глеб тоже не был прост. Вообще, никто не был прост в этой необычной компании, что было правдой. Когда у Феди заканчивались деньги, по причине лишних трат или чего-либо подобного, то тогда он доставал стодолларовую купюру из «Большой медицин-

ской энциклопедии» со страницы 123 и шел минут 10, шлепая по слякоти на Большой проспект с редкими машинами по мокрой мостовой, менять валюту на рубли. Недалеко от гастронома с двумя гранитными ступенями и рядом с афишей, сообщающей о старом фильме Шварценеггера на будущей неделе, был вход. В плохо освещенной кооперативной лавке с пыльными решетчатыми окнами его всегда принимали как своего, радушно и приветливо. Хозяева, два шустрых парня в бархатных костюмах и цветастых галстуках, его хорошо знали, были плосколицы, доброжелательны, быстры, сообразительны и даже любезны, а ведь вполне могли ограбить, убить и сбросить нерусского под лед в Неву, но ведь не делали этого. А?! Наоборот, они ему давали в обмен на доллары рубли в соотношении 1 к 5, огромные деньги, вообще. Вдруг появилось невероятное количество денег у людей непонятно откуда в этой удивительной стране. В гастрономе Федор купил по тройной цене от прежней свежей малосольной семги, парниковый огурец, сливочного масла, черного хлеба и грузинской минеральной воды, все настоящее. Появление таких продуктов было неожиданным. Пусть ребята побалуется, заслужили. Форпосту он продуктов не приносил, стеснялся, он был стеснительным человеком.

Он аккуратно доставал деньги из значительных размеров бумажника, делая это слишком медленно, по мнению людей вокруг. Выбившая ему в кассе чек кассирша скептически поджала пухлые губки алые и порекомендовала не глядя: «Деньгами не швыряйся так, юноша, будь скромнее». Федя ее не понял. Она тоже не поняла, почему это нерусский и гладкий не купил водки, с такими-то деньгами, чего же еще? «Не пьют оне, вон какие».

Фуад не переставал удивляться, он жил в этом дождливом странстве с открытым ртом, честно говоря, все годы. Действительность превосходила все его фантазии. Никто из его друзей про валютные операции Феде не знал, никто этим процессом не интересовался, у ребят были другие интересы. Им не казалось, что все это находится в плоскости их внимания, ну, есть деньги и есть, Федино дело и никого другого. Возраст и воспитание у них были такими, не лезьте не в свое дело. Что, делать больше нечего, а?! Федя был старше своих товарищей на три-четыре года, среднюю школу он закончил в Швейцарии (город Женева, точнее, пригород ее), а уже после этого он (его) поехал (отправили) в Ленинград завершать высшее образование, о чем он не жалел ни секунды. Ни секунды. Глеб из районного городка в далекой от Киева области, был, кажется, образован не хуже его, просто меньше шума и суеты. Федя знал пять языков, не считая арабского, итого шесть. Полиглот, нет?! Глеб очень много читал, все подряд, без системы и правил, любопытство и страсть к знаниям двигали им.

Фамилия Фуада была Аль-Фасих. Генаша называл его еще с устатку Федор Фадеев, но не педалировал звучания. Нельзя оби-

жать никого, он придерживался этого принципа с малых лет еще из отцовского дома. У Феди была еще кличка Фадей, и он откликался на нее. Фамилия Гали была Кобзарь, она откликалась на нее. «Галина Кобзарь, красиво звучит а? — мечтательно спрашивал Фуад, подвыпив, — не правда ли, парни?»

— Неплохо, пацан, совсем неплохо, — говорил Генаша. Он был младше Феди на три года, но чувствовал себя его наставником во всем, что касалось жизни в СССР. Справедливо. Что он понимает здесь, этот Аль-Фасих? Со всей своей Шейцарией, аристократизмом, связями и обаяниями. Но Союз! Таинственная, необъяснимая страна. Да его съедят здесь без соли и перца, этот пришлый аристократ из Вечного города из его Старой части. У клана Аль-Фасих было несколько больших домов. Один в Шоафате, за первым большим перекрестком слева третий, чуть в глубине за каменным забором, если в сторону Рамаллы. Здесь Фуад и проживал, еще один в Шхеме, ну, и там по мелочи, в Газе в квартале Шати, в Аммане, в Бейруте, в Алеппо и в других городах, странах и весях. Сюда в Шоафат, в отчий дом, Фуад очень хотел привести Галю в статусе жены, но та поддавалась ему с трудом, точнее, со скрипом.

Фуад подозревал, что девушке нравится Генаша, но никаких доказательств этого у него не было. Генаша был узкий, сутуловатый, нервный, но что-то в нем было. Он был тощий какой-то, ненасытный, аппетит бесконечный. Он не соглашался никогда ни с чем, у него была своя точка зрения, очень самостоятельная, часто противоречивая, неверная. И потом, у него был явный талант, у этого парня, что всегда притягивает. Например, в футбол он играл неподражаемо, а экзамены, самые нудные и неприятные, он сдавал на раз. Сразу и безоговорочно. В нем билась страсть и нерв, иначе говоря. Его уважали окружающие. Глаза в очках молодо и опасно блестели. Фуад подозревал ее без повода. По его мнению, девушка подтягивалась при появлении Генаша, чуть ли не интуитивно. Сильные бедра ее как бы поднимались, натягивались. Ревность не давала Фуаду возможности быть объективным наблюдателем.

Галя одевалась не вызываяще, ничем не подчеркивала свою привлекательность, очень много и прилежно училась. Но была в ней какая-то горящая сила, которая, казалось, помимо ее воли торжествовала и пылала. Ей не нужно было носить провокационных коротких юбок или очень смелое декольте до пояса, все было при ней, как бы и так. Однажды Федя все-таки пригласил ее в кино. Она пришла вовремя, была в каком-то широком плаще на меховой подкладке. Промозглый ветер со стороны реки не мешал ей быть потрясающей красавицей, по мнению ухажера. Была опять или все еще зима, точнее, уже конец зимы, начало апреля. Федя, добротно одетый, в шарф и охотничью шапку из грубой шерсти, подарил ей тяжелую плитку швейцарского шоколада, и она восхищенно сказала: «Молодец какой, обожаю шоколад, откуда узнал?». — «Догадался сам». «Это было несложно», — мог бы он добавить.

Они быстро добрались на метро до Невского, вышли наружу, где Федя спросил ее, задыхаясь от холода, от чего же еще: «Так кино или мороженое, скажи». Галя засмеялась, орехового цвета украинские глаза ее сияли, и сказала: «Сам реши». Перебежали заляпанный мокрой грязью проспект, она цепко держалась за его руку, они заскочили через широкий тротуар в малопрезентабельную мороженицу с унылым входом, три ступеньки вниз без вестибюля. И прихожей тоже не было, но были мраморные столики. «Я принесу сейчас», — в мороженице было самообслуживание. Фуад принес за два подхода от стойки с темноволосой буфетчицей все необходимое к столику, включая тяжелые никелевые ложечки, бокалы с шампанским и, конечно, знаменитое мороженое, просто великолепное.

Съели смородинового мороженого из металлических плошек на ножках, запили бледным шампанским, посмеялись над Генашей, который смотрел на всех девушек, по мнению Гали, с видом восточного повелителя — «а сам-то, Ален Делон из Хацапетовки, хе-хе», — закусил шоколадом с орехами. «Ах, какой чудный шоколад, обожаю, все как я и представляла, понимаешь?! Впервые ем такой». Галя ела с удовольствием, смотрела на Фуада как на голодного жалкого кота, каковым он и был. Потом он проводил ее до общежития мимо группы топтавшихся у подворотни озябших парней, которые подпрыгивали от холода и ржали, как кони. Но пропустили они их молча, несмотря на устрашающий гопацкий вид и косые лица. Они прошли плечами вперед мимо парней, те посторонились и все. А ведь могли сделать все что угодно. У Фуада была карма победителя, как сказал ему как-то Генаша. Потом Фуад поехал домой.

Он совершенно не мог ни на что решиться. В Швейцарии у Фуада был опыт близких отношений с развитой во всех смыслах девочкой из его класса. А с Галей он был растерян и, как сам думал, смешон. Это правда, он был смешон, крупный молодой смуглый мужчина с неуверенной походкой. Галя его поцеловала на прощанье, мимоходом как-то, в щеку, заботливо потерла поцелуй большим и указательным пальцем, стирая помаду, сморщилась отчего-то, склонив голову, пронзила взглядом и быстро ушла.

Еще был при ней парень, которому Генаша при встрече всегда напевно говорил: «Берендей, Берендей, ты, наверное, еврей, нет?». Никто из сокурсников благодаря Генаше не звал его по настоящему имени и фамилии, а только так: «Берендей, ты, наверное, еврей, нет?». Ничего, в принципе, обидного, но парень смущался и просил Генашу придумать что-нибудь приличнее. Генаша обещал, но обещание не реализовывал. Так вот, Берендей, розовощекий рослый хлопец, тоже рьяно ухлестывал за Галей Кобзарь. Со своей устойчивой кличкой у него шансов было мало, Фуад это понимал, но кошки на сердце все равно скребли. Генаша вовремя подсуетился, это точно, за что ему вечное спасибо, дорогому Аббаду. Берендей был земляком Гали, что должно было увеличить его шансы, кто пой-

мет этих европейских красавиц. «Галья наша — европейка, ты скажи, — удивлялся Глеб, — а я и не знал, но чумовая девка, конечно, это правда». Потом на факультетском сборище Генаша еще раз прошелся по бедному Бендерю. Тот пришел после начала всего, к самому разбору. Генаша пропел ему навстречу: «Берендей, Берендей, потерял своих блядей, почему ты без блядей, Берендей, а?». Парень побледнел, напрягся и пообещал шутнику: «Плохо кончишь, еще заплатишь мне за все, поверь Андрюше Гуменюку». Галя скептически улыбалась в углу с подружками, шансы земляка на победу в битве за ее сердце приблизились к нулю. Глеб сложил свои чудовищные руки на груди, качал головой вперед и назад, напоминая своего религиозного родственника из Мукачева на вечерней молитве.

После приезда Фуада в Ленинград с ним несколько раз беседовал один на один взрослый мужчина на темы отвлеченные и непонятные. «Меня звать Иван Максимович Гордеев, я ваш друг в этой стране, надолго и крепко. Как жизнь ваша, Фуад Акбарович? Вам нравится здесь? Какие у вас планы на будущее? С родителями разговариваете? Ну, вы же наш человек, Фуад Акбарович, конечно»... и так далее. Все в утвердительной интонации. Фуад понимал, что его просматривают и хотят разобраться с ним дружеские организации, что там и как с этим Аль-Фасихом. Опытнейший отец его, который не одобрял всей этой затеи с Ленинградом и учебой, ему говорил перед отъездом: «Не лезь в политику, твой поступок — политическое решение, они тебя будут вести все время там, от а до я, не забудь, ничего им не подписывай, ты понял меня?!». Он, Акбар Аль-Фасих, ледяной, успешный, состоятельный человек, был почти в отчаянии. Получив английское воспитание и образование, и сам став почти англичанином, он не мог позволить себе демонстрировать испуг и волнение даже сыну.

Когда Фуад приехал в мае в Ленинград, в Москве еще не пришел к власти реформатор с пятном на лбу. Еще был на троне очень пожилой, дрожащий и больной дядя на месте русского партийного царя в Кремле. Со стороны казалось, что все было в порядке и Совдепия в полной силе, огромной мощи и совершенной красоте. Да так и было, конечно. Такая большая власть стоит прочно, сохраняет равновесие и никаких признаков распада не демонстрирует рядовым гражданам. Все функционировало по-прежнему, а люди, охранявшие безопасность государства, продолжали свою всеобъемлющую и всеохватывающую работу на благо и во благо великого народа, стремящегося к миру во всем мире, изо всех своих безграничных сил.

Фуад не знал точно, что он подписывал на встречах с этим человеком. Он понимал, что привлекает их внимание. Иногда они разговаривали на английском, а позже, когда он начал немного понимать и говорить, по-русски. «Ну, вот прочтите и здесь подпишите, и здесь. Что вам объяснили смысл разговора и что вы с ним согласны, да?!», — деловито говорил Фуаду его собеседник с университетским

значком на лацкане, представившийся сотрудником министерства просвещения (или работником Общества дружбы с народами всего мира, было не разобрать). Фуад даже видел его удостоверение среди других с надписью на корешке «Почетный сторонник мира» или что-то в этом роде.

Потом он стал соображать больше, разобрался более-менее в ситуации и немного испугался. Никаких последствий не исходило из этого, и он перестал бояться, хотя немного душа у него побаливала и ныла по ночам. Затем началась вся эта история с переменами в СССР, он решил, что ему повезло и опасность прошла мимо. Фуад боялся самому себе признаться в этих подписях. Была подпись его и, вообще трудно поверить, на пустом листе бумаги. «Потом заполним, вижу, что устали и хотите отдохнуть», — отечески говорил Фуаду Иван Максимович Гордеев, из организации, поддерживающей изо всех сил мир и дело мира. Он дружески держал правую руку на плече перспективного арабского гостя: «Надеюсь на вас, уважаемый, вы наша опора, дорогой». Рука его была невыносимо тяжела и горяча, что не соответствовало его внешнему виду, потому что сам он был худощав, жилист, со впалыми щеками. Беспokoил Гордеев Фуада редко, но беспокоил.

Когда с некоторым неудовольствием и даже содроганием Федя вспоминал все это позже: пасмурную погоду, к которой он не мог привыкнуть и очевидную для него неудачу с Галей Кобзарь — он приходил к выводу, что вылезти из всего этого, не пострадав, очень трудно, да просто невозможно, надо признать, что говорить. «Эта страна и система власти в ней не вмещаются в мое сознание и понимание», — однажды он подумал, засыпая. «Швейцария и тамошняя власть более понятны, что ли, чем Союз, или тот же Израиль со своими евреями и верой в последнюю истину, а? Только медицина стройна и очевидна, доступна мне, только медицина, хотя и здесь есть вопросы, и их много. Сколько вопросов, а?! Как все сложно!». С этой мыслью он, сильный, умный, с хорошей памятью и стройными мыслями совсем молодой человек 24 лет, тревожно заснул, не додумавшись до чего-либо конструктивного и обнадеживающего.

— Ну, что Галина Богдановна? Продвигаемся с нею в счастливое будущее, а? — спросил Федю в перерыве между лекциями Глеб. Для него не было запретных тем и слов. Глаза его светили синим неотразимым цветом галицийского неба. — Что скажете, товарищ Аль-Фасих? На, бери, закуривай, Федя, нашу любимую «Приму». Не хуже ваших крученных сигар будет, поди.

Фуад не опровергал слова приятеля, но и не подтверждал. Он был восточный, выдержанный человек, напомним.

— А Галя-то наша не уступила, как я понимаю, не дала пришлому чужеземцу, Богдановна, вот так, дорогой. Мы не такие, мы советские люди, мы любим родину и наших простых парней, понимаешь?!

Глеб любил сыграть (и играл) такую роль — широкого рубахи-парня, не совсем русского, скорее славянского. Это было довольно забавно, если вспомнить и учесть его происхождение и шикарную наследственность этого грешного юноши из местечка. Фуад острожно вытаскивал двумя пальцами из мятой пачки сигаретку с осыпавшимися крошками ядреного табака — «Прима» была архангельская, самая, по слухам, резкая и дерущая, как любил Глеб — и ловко закуривал, как заправский пацан возле заляпанного входа в гастрон или у зеленого пивного ларька где-нибудь на улице Шкапина или даже на самой Турбинной.

Жизнь в Ленинграде проводила с Фуадом свои разрушительные эксперименты, оказывавшие на него особое воздействие, которое нельзя было охарактеризовать положительно. Фуад, конечно, не становился с прохождением времени человеком российским или уж совсем русским, но он явно приближался к пониманию этих людей и совпадению с ритмами их так называемых душ и сердец. Если это, конечно, возможно, по идее, в принципе. Все-таки заметим, что нет, невозможно такое.

— Значит, дела твои, Федор, на личном фронте не блестящие, как я понимаю. Но я скажу тебе так: терпи и терпи, ты ее возьмешь, парень, в конце концов, не мытьем, так катаньем, она будет твоей, точно тебе говорю, — рассказал Фуаду Глеб. Он говорил странным голосом, внятно, громко, почти кричал, не считая нужным понижать голос, ничего в этом всем, он считал, тайного или постыдного не было. Фуад шараялся от его голоса и слов. Но он слушал его и слушал, считая, что этот парень все ему скажет про то, что будет и чего не будет. Была в нем эта неизгладимая, чудесная иерусалимская наивность, которая присутствует в наличии у самых изощренных и умных уроженцев этого не всегда и всем понятного города.

Если говорить честно, то Фуад и сам не мог бы объяснить, почему поехал к этой даме в Яффо. Не так уж он хотел знать подробности про свое будущее. Но вот поехал. Кто-то нашептал чего-то, вдруг загорелось выяснить, а стоит ли ехать учиться в Ленинград, это занимало его сильно, и ко всему отец очень возражал, предлагал любые варианты. А мать вообще была на грани истерики: «Какая Россия, где это? Это как полет на луну, как ты вернешься оттуда?». А и правда, как? В общем, Фуад взял, собрался и ничего никому не говоря поехал с утра к гадалке в будний день на маминной машине, предупредив, что вернется к обеду. Это был вторник.

Гадалка в Яффо, которая жила в доме за знаменитой каменной башней с часами, принимала всех, кто хотел выяснить за плату свое будущее и размеры личного счастья, здоровья, несчастья. Женщина была полная, с обведенными черным глубокими пугающими глазами, одетая в цветастые одежды кочевницы, она внушала волнение и почтение гостям. Горели свечи, позванивали мониста, было прохладно, хотя кондиционер не работал, его не было слыш-

но. Сначала она посмотрела на чашку опрокинутого на блюдце черного кофе, покачала головой и сказала гулким голосом Фуаду, севшему напротив нее за стол: «Тебя ждет дальняя дорога в город у моря, будешь знаменитым, вижу тебя врачом или адвокатом, будешь очень богатым, все у тебя будет. Любовь большая тебя настигнет, но вместе я вас не вижу, жизнь будет сложная, тебе будут помогать другие люди бескорыстно, у меня здесь провал, не знаю, но помогут тебе точно. Это все, что я могу тебе сказать про тебя и жизнь твою». Она задула желтую свечу перед собой и со вкусом закурила сигарету из мягкой пачки. «Каирские, Флорида», — прочел Фуад. Запах дыма был сладковат и не слишком силен, но вкусен. Разговор шел на иврите, хотя женщина была бедуинкой. Фуад посидел, помолчал, обдумал услышанное, как окончательный приговор кассационного суда, и сказал ей: «Сколько я должен тебе, женщина?». Фуад был внушаем и пуглив. Гадалка пожалала жирными смуглыми плечами: сколько дашь, все хорошо. Фуад достал из кармана 300 долларов тремя купюрами и протянул ей. Гадалка до денег не дотронулась, лицо было непроницаемо, губы опущены: ты что, мол, мало. Фуад добавил еще 200 долларов. Гадалка взяла деньги и положила их под тяжелую скатерть, со словами, произнесенными равнодушным голосом: «Все кончено, молодой человек из Иерусалима, иди». Потом она добавила для него еще фразу, глядя в сторону и пожевав губами: «Бойся бледнолицых мужчин, коварных и умных, от них все зло».

Фуад с настойчивой мыслью «дорого и непонятно» ушел от нее полный сомнений, забрал машину с частной автостоянки, вокруг которой по периметру за оградкой росли густые непроходимые кусты и деревья с огромными неподвижными листьями, и вернулся домой, медленно проехав южный, малорадостный выезд из Тель-Авива и успев крепко подумать за полтора часа езды в пробках Первого шоссе до столицы. Так или иначе, он все накрепко запомнил из того, что сказала ему эта дама с шалыми черными глазами, подвижным перекрашенным алой помадой ртом и низким оглушительным голосом.

А ведь дед Макрам, отец отца, одетый в безупречный костюм невозмутимый старик, всегда причесанный на пробор, как-то говорил ему: «Не заглядывай в будущее, это не твоя задача, не заглядывай, мальчик». Фуад кивал ему и соглашался с тем, что «не надо заглядывать в будущее, это не лучшее из того, что можно сделать и на что можно рассчитывать». Дед был очень умный, вкрадчивый человек. Он занимался банковским делом и в силу своих занятий не был авантюристом и болтуном. Его советы очень ценились окружающими. «Люди ценят на вес золота слова деда Макрама», — повторял отец. Но, как можно понять в случае с Фуадом, что нам не наше золото, что нам мудрость стариков, мы сами с усами.

— Ты куда уходишь, на вторую пару остаешься или дела? — спросил Глеб мельком, но напористо. У него был свой интерес, обозначим его как ревность. Генаша тут тоже появился, без него было

нельзя, но он молчал и не курил, просто слушал и не комментировал. Что-то его занимало, о чем он не говорил. Зато он напевал популярную местную песню, приплясывая и кивая в такт: «На недельку до второго я уеду в Комарово, я за то, чтоб в синем море не тонули корабли, та-та-та...».

— Мне надо к Михаил Абрамычу, договорились раньше, — ответил Федя. Он не совсем точно знал, что нужно скрывать, а что не нужно. Генаша бормотал какую-то фразу, завершавшую популярную, задорную и даже отчаянную песню о Комарово. Федя прислушался, но понял не все. Генаша выговаривал: «С гор спустились басмачи — это общество Нефтчи». — «Какая связь? Кто такие басмачи?» — хотел спросить Федя, но не спросил и правильно сделал, Генаша был насмешлив и опасен, как Федя понял давно. Генаша продолжил балагурить: «Басмачи спустились с гор — это местный Пахтакор». Федя не понимал многих слов, запоминая их и намереваясь спросить позже, когда Генаша расслабится и смягчится. Сейчас к нему явно не стоило обращаться с вопросами ни на какую тему. Интуиция у Фуада получила в Ленинграде большое развитие. «Михаилу Абрамычу передай мое почтение и уважение», — сказал Феде Глеб. «Я хочу родить ребенка от Володи Казаченка», — выговаривал Генаша совсем непонятно. Фуад отвернулся от него, он гневался: «Да иди ты, Генаша, к черту, что ты несешь?». Он понимал, что это все связано с обожаемым Генашей футболом, но что именно, не знал. Тема обожаемой им футбольной команды «Зенит» чаще, чем внутренние болезни перед зачетом, возникала в монологах Генаша, но без объяснений. Все повисало в воздухе не разъясненное, что, возможно, было и к лучшему.

Фуад в Иерусалиме даже ходил пару раз на футбол, который играли на стадионе ИМКА в центре города. Ему там не понравилось. И поле там было плохое, далекое по цвету и качеству на первый взгляд от газона стадиона Уэмбли, который ему показывал в юности отец после окончания школы в Женеве. И играли на корявом поле ИМКИ в рытвинах и редкими пятнами растоптанной травы не слишком ярко и интересно какие-то корявые мужички в желто-черной форме столичного клуба «Бейтар». Фуад уже не говорил о болельщиках, оказавшихся шумными и вульгарными людьми, появившимися неизвестно откуда и зачем. Фуаду не слишком удивились на той игре, но поглядывали на него с некоторым удивлением. Что такое, кто такой, ничего себе? — говорили взгляды соседей на трибуне. ««Бейтар» — это наше все, ты понял это парень?!» — задиристо воскликнул один из них, небритый, нарядно одетый в честь царицы Субботы в белое, с застиранным воротом рубахи, обращаясь к Фуаду. «Что значит все?» — подумал Фуад. Один из игроков под номером 10 очень понравился Фуаду. Он спросил у соседа: «Кто это такой?». — «Этот с челкой — Ури, наше все, живет здесь неподалеку, внизу, в Мамилле, он полукурд-полуперс, родители его бакалейную

лавку держат», — объяснил один из них. Сочетание «наше все» всплывало на футболе часто в тот день. После этого Фуад на футбол не ходил, футбол его не привлекал.

— Неужели ты иврита не знаешь? Как так? — спрашивал его поначалу Глеб. — Ведь ты там жил долго и живешь? Разве нет?!

Эти вопросы возникали поначалу, потом все сошло на нет. Вообще, вопросов, друзья задавали Фуаду на удивление мало. Он тоже не был любознателен. Взаимная осторожность сопровождала их дружбу. Фуад знал иврит, но не пользовался им часто, ему это было не нужно, он был прагматичен. Знал то, что необходимо, а то, что сейчас не нужно, пусть хранится в закромах памяти до нужного времени. Глеб, который учил иврит достаточно тяжело и почти безуспешно, несмотря на усилия, никогда ничего у Фуада о языке почему-то не спрашивал. Не считал нужным, что ли. Сам Фуад, человек отзывчивый и добрый, по возможности, тоже не видел особого смысла в помощи товарищу. Они не сговаривались, просто так получилось.

После каникул Фуад привозил с собой из Иерусалима чемодан с личными вещами и еще один, кованный по углам чемодан с продовольствием. Друзья приходили к нему, в его съемную трехкомнатную квартиру, в которой он жил один, и Фуад с нейтральным лицом показывал заморские продукты, дефицит невиданный для тех лет. Получалась почти абсурдистская пьеса. «Мы сотканы из ткани наших снов», — произносил Генаша.

Фуад доставал главный чемодан, стоявший между венскими звонкими стульями у шкафа от потолка до пола, и устанавливал его на обеденный стол. Материнскими руками были заботливо упакованы-запакованы лучшие подарки из Вечного города для драгоценных друзей и учителей ее благородного мальчика и для него самого: цейлонский чай в ядовито-желтых пачках, растворимый германский кофе, банки меда обычного и финикового меда силан, «это все Форпостам», коробки орехов и сухофруктов, португальские и израильские рыбные консервы, обязательные четыре лимона с как бы лакированной кожурой из их сада и стандартные две бутылки шведской водки («у нас «Столичная» не хуже, — честно, — бормотал Глеб, — ты не обижайся, Федя, а уж яблочный самогон из Берегово просто слеза, клянусь»); Федя пожимал плечами и не реагировал: «говори, говори, знаток и мыслитель»), затем следовали сигареты «кэмел», называемые Фуадом крепкими и вкусными. Это правда. Генаша часто говорил Глебу: «Не клянись ты все время, евреям нельзя, ты что, не знаешь?». Две бутылки виски Фуад привозил не потому, что жалел денег (он вообще не был жадным), а потому что больше было нельзя провозить через госграницу по закону. Две бутылки виски, два блока сигарет — и все.

Фуад помнил о соблюдении законов всегда, научили на собеседованиях, напугали до ступней. Все продукты принимались на ура и с большим удовольствием. Дело было не в голоде, его не бы-

ло в регулярном понимании, но заморские предметы вызывали восторг и радость, никто ничего подобного не видел и не знал о существовании. И потом это красиво, разве нет?! Ничего запрещенного: книг, журналов, кассет фривольного содержания для видео — Федя не привозил, его не просили, и потом, он был предупрежден: «Ни в коем случае, товарищ Фуад, не позорьте семью и партию». Генаша пару раз сказал, отвернувшись от всего этого продуктового пиршества: «Люди с Литейного помогли, Фуад Акбарыч, иначе не объяснишь». Через пару лет после приезда Федя начал понимать смысл этих слов, похолодел и ничего ответить не смог. Да и что тут ответить? Нет? Ну, помогли, и что?

— Ты, вообще, молишься, Фуад, извини меня? В бога веруешь? У вас же с этим строго? — интересовался Глеб вполне заинтересованно.

Фуад пожимал плечами, мол, лучше не спрашивай меня. «А у тебя как со всем этим? Ты — веруешь, комсомолец Гутман?» — он все видел, не все понимал, отбивался от наваждения. «Какое твоё дело, Глеб, вообще, а?». Но сам себе он признавался в редкие минуты откровенности: «Отцовской цельности мне не хватает, характер у меня слабее, что ли». Он, наверное, был атеистом, или стал им, неизвестно. Глеб отставал от него со своим вопросом, как будто других тем не было.

— Чего ты лезешь к нему, как женщина на седьмом месяце? Отстань от человека, — шипел Генаша, — не вынимай душу у людей, зануда.

Узкоплечий, очкастый Генаша выглядел угрожающе, его раздражало местечковое любопытство приятеля. Глеб подавал назад, начинал неловко оправдываться.

— Я не спал сегодня, занимался, представляешь! И вообще, у меня впервые в жизни бессонница, что-то со мной не так, может быть, причина — весна, не знаешь, Гена?

Генаша не отвечал ему, отворачивался, брал в руки бутылку, осторожно крутил-вертел, вглядывался в этикетку, щурился за очками и выносил приговор: «Конечно, бессонница у тебя, Глеб, что же еще». В это время в городе были периодические, реальные, хотя и, конечно, временные проблемы, связанные с почти полным отсутствием продуктов питания, но никто из друзей Фуада не жаловался на это. Во всяком случае, об этом не говорили при нем, зачем? Наш гость из Вечного города, а тут какая-то нехватка продуктов?! Плановая?! Этот парень был ни при чем.

Самое интересное, что на фоне всей этой увлекательной жизни кругом происходили и другие масштабные события. Ситуация в мире менялась, менялась страна и страны вокруг. Город тоже оседал, ветшал, не выдерживая стремительно наседавших со всех сторон событий. Федя ездил к Египетскому мосту, там ему назначала женщина встречу, до станции метро «Балтийская» и оттуда пешком до-

волью далеко. Он ждал Галю Кобзарь, которая хотя и приходила вовремя, роскошная и веселая, улыбалась, любезничала, но будучи продвинутым студентом-медиком, вела себя с арабским гостем рассудочно, взвешенно, очень осторожно. Уж что она себе там понастроила, какие цитадели, катакомбы и минные поля в отношении этого парня, можно было только представлять. Женская фантазия, как известно, безгранична, что ей наговорил Глеб о приятеле из Вечного города, тоже лежит за семью замками.

У Фуада было, по его собственному мнению, слишком много тайн, которые давили на него. Тайны эти терроризировали его и очень мешали жить. Желание освободиться от них было очень большим, но как это сделать, Фуад Аль-Фасих не знал. Тайны отпечатывались на нем, влияли на поведение и иногда, только иногда, он просто не знал, как с ними поступать и что делать. Груз этих тайн был значителен и неподъемен для одного человека. Сохранять спокойствие и веселье, свойственное молодости, ему было очень сложно и требовало усилий.

Старый профессор Форпост затеял написать мемуары о своей жизни. Пришло время. Форпост возжелал восстановить свою жизнь, пока он еще помнил ее подробности, часто пугающие, часто слезливые и душещипательные, но в основном, его намерение было соединить все эти разные эпизоды в подобие единого целого. Последние лет 25 он хотел это сделать, записывал на клочках бумаги отрывки и складывал их в нижний ящик письменного стола. В конце концов, Михаил Абрамыч под влиянием громогласных событий вокруг власти и политики в империи вдруг решился и в один из вечеров сел к столу — и начал писать регулярно и последовательно. Ему было что вспомнить и что написать. Как и почти каждому, но не всякий мог систематизировать события и картины.

Он подошел к делу основательно, подготовил авторучки, три тетради с листами в клеточку, и начал эту личную историю со своего ареста у дома в апреле 1951 года четырьмя решительными молодыми людьми с безупречными мужскими лицами.

Они все были в серых неуклюжих пыльниках, шляпах на брови а-ля гангстеры Нью-Йорка и простроченных широких поясах выше талии. Была бы, в принципе, смешная картина, если бы не смутный осадок ужаса, желто-синего цвета, обрамленного красной каймой и ставшего фоном происходящему. Форпост, молодой человек с чистой совестью, хорошо запомнил, что было часов 8 мутного ленинградского вечера, шел дождь со снегом, и парни стояли спереди него, позади него и слева, загораживая от окон ЖЭКа на первом этаже, аккуратно, молча и неотвратимо подвигая его к бежевой «победе» с приоткрытой задней дверцей. «Давай, Форпост, давай, садись уже, не кочевряжься», — сказал ему один из этих мужчин чуть постарше возрастом в уличной тишине с шипящей непогодой. Его крепко сжатое службой недовольное лицо было неподвижно.

Он был очень бледен, Форпост успел подумать: «Он, кажется, тяжело болен, этот офицер с ужасными нервами». Почему 33-летний Миша Форпост решил, что этот человек офицер, было, в принципе, понятно: мужчина отдавал приказания, выглядел безупречно и казался властным и сильным.

Короче, офицер, конечно. Офицер сильно надавил на правое плечо Форпоста левой рукой в перчатке, и тот, сморщившись и согнувшись, сел на заднее сиденье «победы», уронив при этом свою шляпу, которую ловко подхватил у самой земли один из парней, стоявший справа. Забрал он и портфель Форпоста, положив его к себе на колени уже в машине. Постановление об аресте Форпосту предъявили уже на Литейном после того, как он спросил, есть ли оно вообще. Когда его вели по коридору Большого дома, пропустив оформление, оставив его на потом, важен был момент неожиданности, на первый допрос, он увидел в приоткрытую дверь свою жену, сидевшую с прямой спиной перед письменным столом с настольной зеленой лампой, от которого отошел следователь.

Михаил Абрамыч исписал за полтора года работы большую пачку бумаги своим мелким, не самым разборчивым почерком врача. Он захотел восстановить прожитую жизнь, занятие очень сложное и трудоемкое. Он возводил мосты от эпизода к эпизоду, будучи в плену у времени, которое для многих людей является всего лишь часами на циферблате. Но не для него. Форпост не забыл своего прошлого, память его не подводила ни в чем. В этом была некоторая опасность, но и большое искушение для него. Шорох колес по мокрому асфальту той «победы», которая везла его в тот вечер на Литейный, был безупречным фоном для его памяти.

Песя Львовна вносила ему вечерний чай с кубиками сахараazole и с обязательным лимоном, за которым специально ездила на Мальцевский рынок, в других местах этот цитрусовый плод с плотной ровной кожурой, которую было тяжело надрезать, в Ленинграде тогда было не достать. Продавали по одному на рынке — как драгоценность. «Пиши все как есть и как было», — говорила Песя Львовна ему тихим голосом. Детей у них не было, не наградил создатель. Форпост поставил точку, просмотрел, старательно пронумеровал листы и отдал все перепечатать знакомой машинистке с кафедрой внутренних болезней. Получилось всего 607 страниц. Три дня работы. «Очень интересно написано, Михаил Абрамыч, — сказала женщина, аккуратно складывая 15 рублей за работу в объемный потертый кошелек. — Я даже не ожидала, если честно».

М.А. Форпост, согласно собственным и не абсолютным расследованиям, потомок царей Израилевых, буквально расцвел при этих словах. «Видишь, Песя, говорят, что небезынтересно, неожиданно, волнующе», — сообщил он жене, которая слышала слова машинистки и сама. «Ого-го, берегись классика, Миша Форпост идет, считая все мыслимые преграды», — его смех звучал издева-

тельски и насмешливо. Он понимал толк в откровенности, хотя его можно было обмануть достаточно легко, когда он этого хотел и допускал. Он развел руками в стороны, насколько позволял ему привычный вывих, с которым он жил больше 35 последних лет. Форпост не знал, что делать с этой рукописью, он не был уверен в своем даровании, в ценности написанного и в интересе для других перипетий его жизни.

У него ни разу не возникла мысль попросить Фуада вывезти рукопись из СССР. Он решил, что этого делать нельзя ни в коем случае. Тоже мне драгоценность. Соображения старика были стандартными и правильными. Друзей, и вообще никого, подставлять под угрозу ради своих собственных интересов, выгоды и амбиций нельзя. Этому он научился даже за недолгое время в тюрьме, хотя можно считать год там за три или даже пять лет, а еще в отчем доме, в затерянном местечке в западной Белоруссии на границе с Польшей. В те годы Мойшка Форпост хотел учить арифметику, которая потрясала его сознание цифрами и уравнениями, которые приводили написанное к гармоничному результату. Но получилось с медициной, как получилось. Форпост не жалел ни о чем, что случилось с ним в жизни. И этому он тоже научился в том местечке в двухкомнатной избе с умывальником в сенях и туалетом во дворе. Изба, ничем не отличавшаяся от других подобных ей в местечке. Эта изба называлась хедером, главным предметом изучения была Тора, затем шла тоже Тора, и на третьем месте Тора. Без конца и без края Тора, так было все в них заложено с малых лет. Оставшееся время учитель и ученики посвящали всему остальному, как-то: русский язык, география, арифметика, идиш. 20 остриженных наголо внимательных детей в ермолках с живыми любопытными глазами, одетых в чистые рубахи, застегнутые сбоку у шеи, возрастом от 4 до 7 лет, пели хором за бородатым суровым учителем реб Мотлом на известный мотив «зол шейм кумен де геуле, зол шейм кумен де геуле», и так далее, прихлопывая ладошками по столу в такт и ритм. Все дети сидели в ряд за одним большим столом, все хотели все знать. Перед обедом, состоявшим из картошки в мундире, ломтя хлеба и половины луковицы, весь класс увлеченно пел за реб Мотлом, который запевал, «ше йибану бейс а мигдаш би мхейре ве ямейну, тен хелкейну торатеха...». Память об этом времени смягчала и посыпала сахаром цветные картины, Форпост это понимал, это не мешало ему. «Да что там, я весь из этого сахара состою, борюсь с дефицитом его в детстве, это все возраст, ничего не поделаешь», — думал снисходительно Форпост.

Глеб и Генаша окончили институт одновременно. Они начали карьеру врачей в поликлиниках в разных концах города. Чуть позже Генаша устроился хирургом в районную больницу и начал оперировать людей в попытках их вылечить от травм и недугов. Делал он это успешно, слава бежала впереди этого человека вприпрыжку по городу, который уже сменил название на Санкт-Петербург. Какое-

то время у Генаши жил иногородний Глеб. У обоих не было жен. Мама Генаши согласилась, чтобы Глеба жил у них, втроем было веселей, как она считала, надо было помочь другу сына, да и получалось легче, потому что время было непростое. Простого времени на их веку ни Генаша, ни мать его, не помнили и не знали. Место для Глеба было в их квартире на Герцена. В простенке между входной дверью и дверью в коридор мать повесила на гвозде знак времени — топор, который у нее сохранился еще с войны — рубила мебель для печки-буржуйки, стоявшей посередине гостиной, отопления не было — и холод убивал не меньше людей, чем голод. Как она выжила в блокаде, мать Генаши не могла объяснить, утверждая скучным голосом: «Сама не знаю», — и никогда на эту тему не распространялась, не рассуждала, поджимала губы и молчала. По поводу того, зачем топор, она не говорила, и так все понятно. А никто и не спрашивал.

Жили они дружно, не тужили, ужинали, пили чаек с песочным печеньем, разговаривали, смотрели телевизор, удивлялись новостям, утром вместе уходили на работу, довольствуясь тем, что было. Иногда Глеб приносил домой с работы, отстояв боевую очередь в булочной напротив больницы, длинные свежие батоны, со словами «австралийские вот достал». Иногда украшали стол зефиром, который мама Генаши обожала, и литовским сыром, который покупали у парней в суконных конфедератках без эмблемы возле арки Генштаба.

Галья покрутилась в городе с месяц после диплома, ничего не нашла для себя подходящего, поговорила за это время пару раз с Фуадом, один раз решительно, и окончательно уехала домой к родителям, там и стены помогают, правда ведь. Ну, не нравился он ей и все, и ничего поделать было нельзя. «Ну, не нравится он мне», — заявила она Генаше и Глебу на отъездной. Глебу она, женщина с личной большой красотой, чуть ли не напрямую сказала: «А почему ты не ухаживаешь за мной, Глебко, никогда». Тот выпил бокал какого-то смешанного пойла, помолчал и сказал ей при всех: «Ну, не нравишься ты мне, ничего поделать нельзя». Галья обиделась смертельно, она была гордая очень. Красавица, но гордая. Уехала не попрощавшись. И ни ответа, ни привета. Фуад даже нельзя сказать, что расстроен, он буквально развалился, почернел. «Ты выпей, Федя, стакан, должно помочь», — говорил ему Генаша.

Галья все приглядывалась к ребятам, приглядывалась. Это длилось два-три курса. А гормоны зреют, набирают силу, не ждут. Она искала и выбирала. Глеб ей приглянулся не только по причине того, что отличник и атлет, земляк и весельчак, красавчик и сам по себе человек достойный. Еврей, конечно, но у Гали предрассудки не торжествовали, хотя и были. Нет, не только это. Однажды они все гуляли на 8 марта у Гали в доме, который она снимала с двумя подругами в Шувалове за трамвайным кольцом. Частный дом с садом, прочным частokoлом, поленницей дров выше человеческого роста у почерневшей от сырости стены сарая, калиткой на щеколде, сугробами вдоль тропки к дому и прочее. Парни приехали с вином и

едой, началась чистка картошки, поиски чугунка, приготовление винегрета. Выяснилось, что топор в доме есть, но топориче разгудалось, выпало — и колоть им дрова просто невозможно. «Мужской руки в доме нет», — вынесла приговор Галя безнадежным тоном. У нее не было излишнего оптимизма. Глеб подошел, повертел в руках топор, быстро выстрогал кухонным ножом три клинышка из щепы и укрепил лезвие на рукоятке.

Затем вышел на крыльцо и, выбрав плоский камень на земле, минут 7-8 затачивал лезвие топора, смачивая поверхность снегом из пригоршни. Галя вышла из дома за ним и наблюдала за работой Глеба с потрясенным, восторженным видом, как смотрела, например, за движениями патологоанатома Мельцера, насмешливого наглого доцента, виртуоза скальпеля. Затем Глеб, нарисовав обломком химического карандаша контур на полене, быстро вырубил топориче. Топор в его крепкой руке летал, как шашка гайдамака, легко и безжалостно. Затем он обтесал лишнее с полена и поднял у ступеней с земли два больших обломка от пивной бутылки «Жигулевского». Он начал тесать топориче широкими движениями, придавая ему вид виолончельный, или даже скорее скрипичный.

«Страдивари, просто народный умелец», — пробормотала Галя восхищенно. Она обожала таких людей — рукастых, как ее батько. Глеб подогнал топориче и надел лезвие сверху, подбив его камнем и добавив пару клиньев для верности. Получилось совсем неплохо. Галя вернулась из дома и протянула Глебу лист грубой наждачной бумаги. «На, Гутман». Глеб взял наждачный лист не глядя и отшлифовал топориче до совершенного вида и удовольствия рабочей ладони. Все это привело Галю в совершеннейший экстаз, и девушка гулко захлопала Глебу в ладоши со словами «красавец какой, молодчина, обожаю, Гутман». «Звучит, конечно, забавно, товарищ Кобзарь, и звать меня на самом деле Гирш, просто чтобы знала, на всякий случай», — сказал Глеб, он любил расставлять точки над *i*, большой умник из галицийского поселка, мадьярский семит. В доме стучали ножами Галины подруги, нарезаая винегрет из дымящихся клубней картофеля, моркови и свеклы, огурцы и лук были уже готовы. «Комплекс раньше тебя родился, какой ты дурак, Гутман глупый», — пригвоздила его с досадой Галя. Потом засмеялась, а потом ушла в дом, хлопнув входной дверью и все еще смеясь. Но запомнила этого парня, его бычью шею, крепкие голые руки до локтей, кисти хорошей лепки и топор, которым можно было черт знает чего еще нарубить — все это запомнила наша *Галю*. Почему нет? Фуад сходил с ума от ревности, слыша ее смех и голос, которым Галя сказала: «Гутман глупый».

Соседка по парадной с первого этажа, направлявшаяся в оренбургском платке и в пальто с рыжим вытертым у шва воротником за булкой и кефиром в 7 утра, глядя на двух мужчин без ша-

пок, спешащих на автобус, говорила им в спину без осуждения: «Вот ведь клика какая, сионисты бессовестные, миллионеры, тьфу на вас». Бабка всегда добавляла к монологу популярную, необъяснимую в контексте вышесказанного фразу «у нас зря не сажают». Потом у Генаши в больнице освободилось место, и Глеб перешел туда. Работы было очень много, но ведь на то и молодость, нет? Фуад же продолжал учиться, готовился к защите диссертации и очень нервничал. После очередной обязательной поездки домой Федя вернулся и позвал друзей к себе: выпить, закусить, поговорить. Он, казалось, подбивал итоги своего пребывания здесь: все кончилось, делать Фуаду здесь было больше нечего, он свое получил, своего добился. Диссертация — и все, домой.

Фамилия Генаши была какая-то, как говорил Глеб, не очень русская, Аббада. «Гена, наверное, из ваших будет», — говорил Глеб Фуаду. Тот отворачивался от Глеба, не желая высказываться по этому поводу, потому что это не находилось в его компетенции. Он варил кофе и занимался столом, демонстрируя швейцарскую независимость и нейтралитет. Обратили внимание, что действие происходит в русском государстве, в русской империи, а русских-то почти и нету здесь. Они есть, конечно, например, бледнолицый красавец Гордеев или Берендей, или мэр города на Неве, или его заместитель по международным связям. Просто они в другом месте находятся, в другом месте гуляют и в другом месте выпивают. Наверное. Молодые, образованные, перспективные, борцы за демократию, одна надежда на них.

Генаша, продолжавший много заниматься ивритом, не захотел оставлять все это без ответа. Успехи его были не слишком значительными, но упорству его можно было позавидовать. Известно, что люди Моисеевой веры очень упрямы. Параллельно с языком Генаша узнавал много сопутствующего. Он отпил от маленькой чашечки кофе и суровым голосом сказал: «Фамилия моя исконно иудейская, чтобы ты знал, Глеб Гутман. Она означает, ав бейт дин, в переводе на русский — председатель суда, теперь ты должен извиняться и молчать при мне, как мало знающий неуч и невежда». Никакой победной интонации в высоком голосе Генаши не наблюдалось, он не тратил эмоций на пустое торжество.

— Ты мне скажи, Фуад, а что там у вас премьеров стреляют? Вы там что, с ума посходили? Старику в спину три пули, вы что? Я очень переживаю, в чем дело, новые сикарии, да? — Генаша был потрясен, ему было интересно узнать все из первых рук. Хотя, конечно, что мог знать этот избалованный арабский барчук из своего дома в Шоафате, а? Кажется, вопрос не совсем по адресу, нет?

А не скажите. Не скажите, господа.

— Да я сам потрясен, безумие какое-то, очень плохой знак, очень. Не хочу говорить на эту тему, ужасно все, за землю старика пристрелили, но эта тема не моя, я посторонний в этом процессе,

информации у меня нет, — отозвался Федя, держа в руках извлеченный из прозрачного пластика увесистый кусок халвы с зеленоватого цвета вкраплениями фисташкового орешка там и сям и поперечными оранжевыми линиями. Очень красиво, что твой Жоан Миро, не меньше. Он, Федя наш, осторожный мужчина, не хотел говорить на политические темы, зарекся. Но в этой компании Фуад считал, что можно говорить все и всем, и говорил. Он был прав, конечно, здесь можно было сказать все. И у него потом были обязанности и обязательства перед страной, давшей ему так много, все, что говорить.

— Я уезжаю, Фуад. Буду жить, надеюсь, в Вечном городе, — сказал Глеб решительно.

— И я с мамой тоже уезжаю, начнем новую жизнь, — сказал Генаша. Он посмотрел на Фуада, ожидая его реакции на эту новость. Фуад, в принципе, ждал этого давно, и все равно сообщение застало его врасплох.

— Ничего себе, поздравления от меня, большой поступок. Как решились? А Форпост, не знаете, не собрался уехать? — Фуад был явно в растерянности. Сжал кисти рук и затрещал сильными суставами. Он затянулся сигаретой, выпустил струю дыма в сторону и глянул куда-то в угол, непонятно что высматривая. Потом он взял в руки столовый нож и крупно нарезал халву, раздав друзьям куски на салфетках. В его вздохе можно было услышать облегчение.

— Я не знаю, но Форпост очень сдал, ему не до поездок куда-либо, жена в больнице, не знаю, не интересовался этим, — ответил Генаша. Он часто играл эту роль, мол, я здесь ни при чем. Он не интересовался подробностями чужой жизни, потому что брезговал и просто не мог себе позволить. Распад и запустение его не интересовали. Он был старый подпольщик, всегда говорил меньше, чем знал. Его ленинградский навык говорил ему о том, что в каждой компании должен быть один стукач. Комплекс? Неизвестно, конечно. Но ведь это правда, господа. Так?!

— Хочу Михаила Абрамыча привезти, свозить в Иерусалим, все показать, поездить по Самарии и Иудее, по Галилее и Голанам, к Тивериадскому озеру, он же не был нигде, этот чудесный старик, кроме как в Ленинграде, — Фуад был возбужден и говорил как близкий родственник их всех, всех этих Аббадов, Гутманов и иже с ними. Он и был их родственником, разве нет? Его семитское лицо хмурилось от мощной лампочки ватт на 100-120. Он уверенно шагнул в большую жизнь из этого болотистого, мрачного и безнадежного, давно изжившего себя места. Утробный запах вчерашнего выпитого, появлявшийся в самых разных местах, сводил Фуада с ума все время жизни здесь, почти 10 лет. На сердце, правда, все равно скребло и даже болело, глаз косил, как у известно кого, как у ведьмы, ответственной за уборку двора из ЖЭКа, но он знал, что все быстро проходит и забывается, эти боли не были предназначены для него, он их не заслужил. Каждому свое и у каждого свое.

Лица нескольких ушедших за эти годы его близких родственников все время находились в сознании Фуада, в его памяти. Дед, отец матери, был самым важным в этом скорбном ряду, постоянно увеличивавшемся, арабские семьи многочисленны и дружны. Этот ряд ушедших лишь подчеркивал тот факт, что невозможно жить без памяти о родине и родных людях. А Фуад еще жил как-то и там, и тут, без точного определения, где это тут и где там. Разные демоны со снежного цвета лицами, с огромными горящими глазами мучили его по ночам и не только по ночам, он справлялся с ними большим напряжением всех сил. Никогда и не скажешь, что такое происходит, и, вообще, может происходить с этим красивым, крепким, воспитанным и гладколицым мужчиной. Это так, мелкое дополнение к жизни Фуада, которое не меняет ничего.

Галя Кобзарь в своей счастливой широкой Украине жила как хотела, делала карьеру, ей всего хватало, только хорошела женщина. На его письма, написанные по-английски, русским языком в письменном виде Фуад владел неуверенно, она не откликнулась, ни на одно. Не судьба, получается, так случилось с нею и с Фуадом. Он со всем этим смирился, кажется, упрямый, сентиментальный арабский юноша, но наверняка сказать нельзя.

— Ты про Берендея слышал, Федя? — спросил Генаша. Глеб заулыбался. — Нет, конечно, а зря. Все подтвердилось, все, что мы предполагали, стало былью. Берендей стал специалистом по борьбе с алкоголизмом. Большой врач. Клиника на Старом Невском. Реклама по телику. Лечит депутатов и простых граждан в любой стадии зависимости. Использует народные методы, современную медицину, гипноз, целебные травы с Памира, что нет... Рубит капусту, жиреет и набирает статус. Я его встретил на улице, не поверишь, герой нашего времени, шелк, голос, как у Синатры, неуверенный и наглый, но в силе, в большой силе, пацан... Звал в ресторан, я с трудом отбился.

— А Галя что? — нервно поинтересовался Фуад.

— Старая любовь не ржавеет. Клинья он к ней подбивает, но ты не думай, она все понимает в людях, разбирается твоя Галя, она фрейдистка, как сама говорила. Он не ее герой, так что не думай.

— Я тоже не ее герой. И вода камень точит, ты сам говорил.

— Ни о чем не говорит. Не о тебе речь сейчас, Федор.

Глеб и Генаша с матерью уехали в Израиль почти одновременно, с разницей в месяц. Сначала Генаша и его мама добрались через Будапешт до Израиля. В Лоде их угостила в зале ожидания за документами стыдящаяся себя девушка в тесных брюках на подвижных чреслах, не говорившая по-русски, свежайшей крупной желто-алой клубникой. «Последний, пятый урожай в этом году, клубника здесь поспевает пять раз в год», — объяснил с восторгом в юношеском голосе всезнающий мужчина, сидевший не-

подалеку от Генаши и его матери. Они были одеты излишне тепло для этой гудящей, глубокой, миндального запаха ночи. Мужчина был каким-то несущазным, похожим на ночную птицу. Он, если честно, вызывал удивление в своем разношенном свитере с белыми оленями на груди, раздутым кожаным портфелем завсегдатая библиотек и наглым испуганным взглядом безумца. Мама Генаши инстинктивно отшатнулась от этого человека, она таких знатоков боялась и на дух не переносила, хотя навидалась и пострашнее его, и поназойливее его, и опаснее.

— А ведь когда-то, — звенящим голосом, ни к кому не обращаясь, провозгласил мужчина, — сюда приезжали как в космос, без возможности возвращения на большую землю, в метрополию, я знаю таких людей, их немало.

— Давай, Гена, поменяемся местами, — сказала мама, надменная брезгливая женщина из коммуналки на Герцена. Генаша пожал плечами и с невозмутимым видом пересел на ее место, а она, не повернув в сторону совершенно седой прекрасной немолодой головы, села на его место.

— Да, это очень важно. Необходимо выбрать правильный ракурс и разобраться с собственной судьбой, — мужчина был неуютим, в силе, он знал много важных слов и желал их донести до людей.

И тут звонкий женский голос в репродукторе произнес: «Аббада, семья Аббада, пройдите в четвертый кабинет, пройдите в четвертый кабинет». Было 2 часа ночи, сна у Генаши и его мамы не было ни в одном глазу. С прилипчивым занудным мужиком в свитере с оленями, сказавшим им вслед «вот видите, здесь нет бюрократии, не то, что там, в русской коммунияти, бога не забудьте поблагодарить», они расстались без особого сожаления.

Затем приехал Глеб. У него был путь в Израиль более сложный, но, и это главное, он приземлился в Лодде, здоровый, как говорится, и красивый, и отправился в Иерусалим в квартал Гило, где уже жил и обживался Генаша вместе с матерью и приبلудной кошкой Манюней, хитрой и ласковой предательницей. Глеб тоже записался на курс по подготовке на врачебный экзамен, то бишь на получение лицензии. Ему все пришлось по душе, с мамой Генаши, непростой женщиной, он ладил, это было главное. Сосед по парадной с первого этажа, смуглый и щетинистый крепкий молодой мужчина, взял его к себе на работу грузчиком. Этот парень всегда казался по утрам вставшим не с той ноги. Потом он расходился, начинал ладить с жизнью и понемногу говорить с людьми и даже улыбаться. Глеб обратился к нему, встретив его после рабочего дня, тот оглядел фигуру «русского менаека», Глеб выглядел подходяще, по его мнению, и сосед сказал «русскому *манменаеку*»: «Завтра выезжаем в половине шестого утра от дома, не позже этого времени». Он, которого звали Хези Ангула, конечно, гнал волну, Глеб, понимавший людей неплохо благодаря уму, опыту советской жизни, образованию, ему подыграл,

уважительно кивнув. Ангула перевозил на своем грузовике-холодильнике мясо из скотобойни в Рош Аине (45 километров, если по прямой до Иерусалима) в магазины, в основном, на рынке.

По половине коровьей туши на плечо, укрытое мешковиной — и шагай себе в мясную лавку спорым шагом рабочего-грузчика. Ангула смотрел на Глеба с некоторым удивлением, но ничего не говорил, чтобы не баловать парня. Они были почти ровесниками по возрасту, но Ангула был хозяин и работодатель, Глеб об этом помнил. Ангула (или Ангола, кто как хочет, так и зовет) платил наличными своим рабочим в конце каждого рабочего дня, добавляя некоторую сумму в качестве премии. Глеб был счастлив совершенно. У него оставались силы читать учебники, которых он не читал со времен первого курса. Он приносил домой и передавал матери Генаша большой кусок мяса, завернутого в бумагу. Не брезгуя, женщина брала мясо руками и выкладывала его на тарелке в холодильник, где оно помещалось с трудом, такой был большой кусок, килограмма на три, на три с половиной, сочащийся сукровицей, кровью и нежным жиром, готовый к жарке, парке, тушению и чему только нет, да его и так можно было есть, промолоть в мясорубке, добавить лука, перца, соуса табаско, перемешать — и ложкой с выжатым лимоном, с черным хлебом — на раз и на два...

Это не канонический рецепт, но кто там придерживается канонов высокой кухни на иерусалимском рынке, особенно в конце тяжелого рабочего дня. Восточные приправы, лучок в барбарисе, амба (манго) и прочее, на тонкие ломти мяса — что может быть лучше, скажите?! Но мы же не дикари и не каннибалы какие-нибудь, правда, чтобы вот так отрезать, крошить и жевать сырое мясо, пусть с солью и перцем... Мы же в Ленинграде учились на врача, стали дипломированными врачами, разве нет?! Вот только экзамен сдадим, подтвердим — и все. Ну, так, изредка, можно позволить себе на сытный ужин. К Глебу коллеги относились размеренно спокойно, с плохо скрываемым интересом. Он сам был в стороне от всего, лишь бы платили. Что мне делить и с кем? Кипела в Глебе еврейская мощь и сила, с которой он пока справлялся. Выпьешь араку, доктор? Конечно, с удовольствием, наливай Ангула.

Надо сказать, что Иван Максимович Гордеев очень редко перевозил Фуада в последние годы. Ему было не до этого парня, возможно. Но от Гордеева позванивали Фуаду в Иерусалиме какие-то люди, спрашивали профессионального совета по вопросам синовильных сумок, менисков и связок, заодно интересуясь, помните ли вы, Фуад Акбарович, господина Гордеева и ваши обязательства перед ним? Фуад холодел, молчал и кивал, что помнит. Звонивший как будто видел это признание араба.

Отчетов Фуад давно Гордееву не писал. Тот не просил, да и просить было нечего. В Ленинграде его отчеты касались мелких подробностей жизни, выглядели очень подробно, включали его

друзей и даже Форпоста. Фуад не утаивал ничего, не желая обманывать своего главного наставника. Гордеева Фуад боялся, понимая, что этот мягкий, воспитанный человек может с ним сделать все что угодно. Ничего такого, что могло его знакомым навредить, Фуад в отчетах не писал, по его мнению. Очередность отчетов его была произвольной. Он сообщил еще тогда, например, что Форпост пишет воспоминания. Ну, что может быть предосудительного в воспоминаниях старого профессора, думал Фуад, ну, что?! Писал он в отчете и о том, что Генаша учит с преподавателем иврит в группе таких же как он людей еврейского происхождения с бледными лицами. В конце концов, его право, что учить и с кем учить. Он был чужой человек здесь, как не старайся, этот Аль-Фасих, ничего с этим нельзя было поделать. Симпатичное семитское лицо его было опалено этим городом и этой страной, не изуродовав его слишком, но и не украсив его. С кем вместе Генаша учит иврит и кто преподает ему язык, Фуад не написал, потому что не знал. Интуитивно он понял, что об этом не стоит спрашивать и не надо об этом распространяться.

Потом он стал кое-что соображать про жизнь в России. Не все, но кое-что. Потом он триумфально защитился и уехал обратно на родину в Иерусалим, где начал работать врачом, в полную силу и с большим успехом. Они все: Фуад, Глеб, Генаша — поддерживали дружеские отношения и в Израиле, благо все жили и служили в Иерусалиме. Держались друг друга. Город хоть и большой этот Иерусалим, но с Ленинградом не сравнить, конечно. Никто и не сравнивал. Генаша говорил, подвыпив, Глебу: «Не стоит заниматься сравнениями, ты что, акмеист? Нет, ты не акмеист, и вообще не поэт». Фуад не просил объяснений отдельным словам, они ему были не нужны. И потом он, осмотрительный молодой человек, если честно, Генашу, его пронзительных глаз и бестактных вопросов, заданных ему после стакана-другого, побаивался.

Фуад регулярно звонил Форпосту в Санкт-Петербург, подолгу беседовал, выяснял, как там и что в этом пасмурном месте в углу Балтийского моря, какие новости, есть ли нужда в чем-либо и прочее. Фуад передавал поклон и сердечный привет старику от Глеба и Генаши, «которые помнят и любят его, как и прежде», тот очень радовался и просил сказать им про его любовь в ответ. Жалоб и просьб у Михаила Абрамовича было немного. «Все есть, Федя, у меня, будет возможность, приезжай с ребятами вместе ко мне поведать, посидим, поговорим, вспомним». Потом его любимая и единственная жена Песя умерла от остановки сердца, он остался совершенно один. Фуад решил и приехал в Ленинград, точнее, прилетел, взяв (с большими усилиями, никто его не хотел отпускать, «кто оперировать будет, господин Аль-Фасих, кто?!» — спрашивал его замдиректора больницы с надрывом) неделю отпуска.

Перед отъездом Фуада Генаша принес для Форпоста запактованный в пластик томик. ««Псалмы Давида», отдай Михаилу Абрамычу, будет спасать в нужный час», — сказал он, передавая книжку «теилим», так это называется. «По-русски. Все там сказано про нас и нашу жизнь. 137 псалом — пусть Михаил Абрамыч прочтет внимательно. Запомни, Федя, 137-й, так и скажи».

Глеб принес для старика Форпоста килограмм халвы в нарядной коробке. «Фисташковая, как он любит», — сказал он Фуаду. Совсем старенькая Валя внесла поднос с чаем и арабскими сладостями от Мансура на другой стороне шоссе — он был лучший кондитер в округе, готовил баклаву для богачей в Шхеме и Рамалле. Все это происходило в семейном доме Аль-Фасиха в Шоафате, где бывших выпускников мединститута в Ленинграде принимали как родных людей. Ни Глеб и ни Генаша этому не удивлялись, так и должно быть, разве нет?

Фуад достал с полки возле напольных часов бутылку виски Jameson. Его слова «надо вздрогнуть по этому поводу» были восприняты гостями без удивления и с одобрением.

Генаша протянул через стол Фуаду открытый конверт с фирменным знаком столичной гостиницы со словами: «Возьми, Федя, это от меня и Глеба для Форпоста, и ни слова, мы что, бедные какие».

Валя вернулась в гостиную все так же тихо в своих войлочных тапках. Она принесла большое блюдо с соленьями, маринованными перцами, сэндвичами с мясом и еще с марокканскими колбасками от знаменитого уроженца города Багдад Шалома Леви, державшего небольшую лавку со сверкающим никелированным прилавком. Лавка эта находилась в иракском филиале рынка Махане Йехуда, куда пробирались через узкий проход между развалов с зеленью и бананами. Фуад уважал новые пищевые пристрастия своих друзей, приобретенные уже в Иерусалиме. Ни слова не говоря, не вглядываясь в содержимое, он положил конверт на стол перед собой. Рядом с конвертом лежал старый номер журнала «Огонек» за 1999 год с панорамной фотографией Петропавловской крепости, сделанной с высоты птичьего полета. Генаша подвинул журнал к себе пальцем, посмотрел на него сбоку, затем вернул его обратно тем же движением и ловко забросил себе в рот сирийскую битую маслину без косточки.

Про принесенные друзьями деньги Фуад не говорил и вообще не реагировал на них. «Что нам деньги, когда есть наши дружеские многолетние отношения, ну, они такие, мои друзья, щепетильные, что я, не понимаю, что ли». Они за все годы не говорили ни на какие щепетильные темы, там, террор, отношения арабов и евреев, и так далее. Однажды, еще во время жизни в Ленинграде, Фуад, находясь в нетрезвом состоянии, но контролируя себя абсолютно до последнего согласного звука, вдруг сообщил им: «Вы прекратите повторять эти марксистские глупости, будто бы причины террора в Палестине экономические или социальные. Вы что?! Это все ерунда на постном масле, как говорит мой друг Генаша».

Все посидели в полной тишине, слушая пение птиц в саду, глядя в высокий потолок и никак не комментируя слова Фуада. «Ты, кажется, перебрал, брат мой, причины эти известны всем, мы же не специалисты в этом вопросе, не стремимся ими быть. Но что же тогда является причиной злодейства, если не экономика, а?» — спросил хозяина Генаша. Глеба ни этот, ни другие вопросы сейчас не интересовали, он скучнел при слове «экономика», но услышать что-либо от хозяина он хотел. «Федька — он умный и осведомленный», — поджав губы, с трудом пробормотал он.

— Все руководители и организаторы нашего террора из состоятельных семей, все с хорошим образованием, я это знаю, — Фуад был убедителен в своих словах. Виноград, висевший в просторных окнах гостиной, создавал иллюзию райского сада, насаженного на частном участке в северной части Иерусалима. Семейство Аль-Фасих жило здесь довольно давно, не обольщаясь излишне, не питая больших надежд, но все-таки на надежной родовой и финансовой основе. Из гостиной их дома в самом углу была дверь с матовыми толстыми стеклами в сад, прямо в объятия гранатовых и лимонных деревьев, в кусты жимолости, розмарина, лавра, с поющими птицами и стрекозами, на изумрудный, подстриженный с утра рабочим газон, который отец Фуада с удовлетворением называл «английским».

Фуад подробно изучал вопрос о лидерах террора, по просьбе Ивана Максимовича, интересы которого распространялись и на эту сферу жизни. Фуад признавался себе, что не понимает мотивов Гордеева и никогда их не поймет. «Я чужой в этой стране и никогда ее не пойму», — смиренно и почтительно думал он.

Его подробный отчет о лидерах и некоторых влиятельных людях боевых революционных организаций района к югу от города Тир был признан заказчиком «важным и необходимым». Фуад многих знал и даже находился в родстве с некоторыми так называемыми активистами. Так сложилось в его жизни. Гордеев не баловал арабского студента похвалами, но в этом случае не сдержался. «Большое спасибо за помощь», — сказал Иван Максимович с чувством Фуаду. «Далее будет правительственная награда», — он доброжелательно кивнул парню с необычной кожей нежного лилового цвета лица.

Остается сказать, что совсем недавно, за несколько лет до фразы о марксистских глупостях, тот же Фуад Аль-Фасих, прибывший в Ленинград из Иерусалима, с воодушевлением говорил о «всепобеждающей теории Маркса-Ленина, с мыслями и надеждами на которую живут все прогрессивные народы мира, и в первую очередь мы, народ оккупированной Палестины». И Генаша, и Глеба, и Галя Кобзарь глядели на него странно, с некоторым радостным удивлением, «откуда, мол, ты появился, парень», но никто ничего не произносил. Что тут говорить?! Их смешки были подавленными.

Зато сейчас Фуад, не похудевший с ленинградских времен, но и не слишком прибавивший в весе, был другим человеком, с боль-

шой долей здорового скептицизма, с сомнениями в собственной правоте и прочими недостатками. Он узнал многих людей, полюбил их, они повлияли на него удивительным образом, изменили его, приноровили к настоящей жизни в Ленинграде. Знакомство с Гордеевым напрягло и напугало этого молодого человека, поставив его в ранг человека с обязательствами и обязанностями. Он жил настоящим без особых надежд на будущее. О том, что происходило с ним в прошлом, Фуад искренне старался позабыть. Это не получалось у него никогда.

Единственный человек, которого Фуад по-настоящему побаивался, не побаивался, но, скорее, остерегался, был Генаша, хотя тот никогда не разыгрывал его и не издевался. Так, шутка здесь, шутка там, беззлобно и мягко. Генаша был человеком мягким от природы. Его полуулыбка на худом и не гладком лице не предвещала никому удобной жизни, но он скорее насмехался и иронизировал над собой. Было над чем иронизировать.

Фуад прилетел в Санкт-Петербург на самолете российской авиакомпании ранним утром. Естественно, шел мелкий апрельский дождь. Он нанял машину, сложил чемодан в багажник, взял в руки швейцарский саквояж с вертикальными полосами, уселся на заднее сидение и попросил водителя в кожаной кепчонке отвезти его на Петроградскую. «Не интересна вам цена вопроса?» — лениво полюбопытствовал шофер, голос его звучал глухо во время непогоды. Он был широколиц и плосколиц, но умеренно, а вообще симпатичен и скован в движениях, как будто побаивался своей физической мощи. В нем можно было наблюдать смеси кровей великой казахстанской целинной земли. «Поехали, все в порядке, уважаемый, двинем понемногу, помолясь», — щегольнул Фуад на не позабытом за четыре года, как можно так думать вообще, русском языке. Руку он держал на замке саквояжа, как будто был инкассатором фирмы Бринкс, но без оружия.

Фуад нашел этот город по-прежнему дорогим ему, похорошевшим, намокшим от перманентного дождя, как всегда похожим на Париж и не оставлявшим ни у местных жителей, ни у приезжих никакого сомнения в своем происхождении и предназначении. Местные аферисты и жулики на каждом шагу, часто встречавшиеся здесь вместе с их охранителями, на берегах вольной Невы, как поется в песне, пели в унисон вольному балтийскому ветру. Доехали быстро, машин было еще не так много.

На последнем светофоре перед Большим проспектом шофер притормозил, и в машину возле Фуада быстрым движением присел мужчина. Он был в шляпе и плаще, с которых лилась дождевая вода. Это был Иван Максимович Гордеев. «Здравствуйте, Федя», — сказал он, протягивая руку. Фуад ожидал от этой страны всего, так что его удивление не было тотальным. «Здравствуйте, Иван Максимович», — сказал Фуад приветливо.

— Что караулим? — поинтересовался Гордеев, кивнув на сак-вояж. В это время Фуад извлек из наружного кармана плаща пластиковую синюю папку, скрученную в трубку. Гордеев взял ее, открыл, проглядел листы, исписанные Фуадом, кивнул и остался доволен. «Хорошо».

— Да вот, видите ли, — светским тоном сказал Фуад, — прямо везу подарки учителю. Не хотел в гостиницу ехать с подарками, боялся, что украдут...

— Мы решили эту проблему, товарищ Аль-Фасих, — сообщил Гордеев излишне суровым тоном, — теперь у нас в гостиницах не воруют. Все, кто должен, уже в тюрьме.

От тихого голоса его можно было поежиться с непривычки. Но Фуад был готов к этому и не испугался нисколько. Он погладил в левом кармане плаща камень, который привез по просьбе Форпоста из Иерусалима. «Нет, этот камень недостаточно тяжел для него, а жаль, кирпич здесь нужен, как минимум, или базальтовый булыжник с нашего двора», — подумал Фуад без особого разочарования, оценив башку Гордеева панорамным взглядом опытного иерусалимского врача-ортопеда и при надобности травматолога.

Через метров двести Гордеев, у которого было довольное выражение лица, легко потрепал шофера по стальному плечу, и тот сразу прижал машину к тротуару против всех правил движения. Сзади немедленно длительно гуднул какой-то частник на сером пезо 504. Он объехал по крутому овалу помеху, выматерил шофера в кепке («да отъебись ты, гондон, штопанный в хлеву»), который даже не повернул в его сторону головы, «мы их в упор не видим, всю эту шпану зеленую», говорил его крепкий затылок и острый кусок скулы, которые видел Фуад. Гордеев быстро взглянул на Фуада и со словами «найду» выскочил, не хлопнув дверью машины, на улицу, как мальчишка. «Карьеру он за эти годы все же не сделал, бегаёт на встречи, как начинающий», — неправильно решил Фуад.

Это был угол Пионерской и Большого, здесь через дорогу на втором этаже жил совсем недавно поэт В.Б. Кривулин. Неукротимый, неутомимый Виктор Борисович написал такое стихотворение о памятном месте в Ленинграде: «Здесь пыльный сад похож на документы, скрепленные печатью, а в саду, печально так... Я выйду. Я пройду вдоль перержавленной ограды в каком-то пятилеточном году перемещенная зачем-то от Зимнего дворца в рабочью слободу, из Петербурга в сердце Ленинграда». И так далее. (Стихотворение «Сад Девятого января»).

От метро «Нарвская» шли домой пешком одну остановку мимо школы, мимо дома специалистов, переходили тенистый проезд к больнице, продвигались еще вперед, и напротив Кировского райсовета и сада Девятого января сворачивали направо во двор. Иногда ездили от метро одну остановку на троллейбусе в «сердце Ленинграда», как написал Кривулин.

Но если отвлечься от этого места, то в продолжении города Санкт-Петербурга если не на Петроградской, то на Пионерской был ларек, уже открытый в ранний час, с сигаретами, бутылками, жевательной резинкой, разовыми зажигалками, банками германского пива и невозможными журналами с лаковыми хрустящими ломкими листами на витрине.

Денег от Гордеева Фуад за все годы ни разу не получил, хотя была однажды предпринята попытка, но Фуад сделал вид, что не понимает, за что ему платят, и отбился от денег. Он понимал, что и так занимается чем-то малодостойным, и еще больше увязать во всем не хотел, брезгуя и боясь до дрожи этого человека. Хотя куда уж дальше увязать, куда больше бояться?! Генаша, правда, иногда повторял в самом начале их знакомства: «Запомни, Федя, в каждой нашей компании, в каждой, есть их человек, а возможно, и два, так это устроено, запомни, любознательный юноша с Ближнего востока, да?!». Он показывал указательным пальцем вверх. Фуад ему кивал, хотя понимал в его словах не все, палец вверх говорит, конечно, о Боге-охранителе, о ком же еще. Только потом он во всем кое-как разобрался.

За месяц до этого дня мать позвонила Фуаду на работу и попросила приехать домой. «У меня операция, мама, я не могу», — они разговаривали по-арабски, Фуад стеснялся этого не очень, «что поделать, когда моя мама другого языка не знает». «Юсуф приехал, ты ему очень нужен». Юсуф был сыном двоюродного брата отца Фуада. На самом деле операций на сегодня уже не было, обход Фуад сделал и все бумаги заполнил. Юсуфа Фуад не жаловал, он был оголтелый парень, учившийся когда-то в Оксфорде философии Возрождения. Его связи с различными одиозными для Фуада людьми раздражали, а то, что он вслух проговаривал, граничило с вульгарным нацизмом. Невозможно было представить, зачем ему мог понадобиться Фуад.

«Еду, мама». Было два часа дня, никогда так рано его рабочий день не заканчивался. Он дал указания ординаторам по больным, попросил сразу звонить, если что, и оглядев свой стол, понял, что можно и уходить сейчас, хватит. Обычно он менял рубашки два-три раза в день, но сейчас решил это сделать дома, времени не было, Юсуф, мужчина гнилой и непростой, просто так помощи никогда не просил. Фуад быстрым шагом дошел до больничной стоянки на склоне холма за чахлыми хвойными саженцами на охряного цвета грунте, уселся с размаху на водительское сидение, вытянул спину и шею, глубоко вдохнул и выдохнул, включил зажигание, послушал сдержанно урчащий двигатель на 194 лошадиные силы, и опустив стекло в двери водителя, помчал домой, думая, что «как вовремя мама позвонила, какая молодец она, устал я от всего этого очень».

Уже подъезжая к дому, он повернул на проспекте Эшколя на Паран — этот маршрут ему нравился больше всего. Здесь он услышал громкий хлопок, от которого у некоторых припаркованных у

тротуара машин сработали антиугонные sireны. Шумно захлопав крыльями, разом взлетели птицы с деревьев, высаженных вдоль футбольного поля за полицейским штабом. У большого супера на углу Фуад повернул налево на Гиват Амифтар. Слышны были sireны скорых, которые мчали по проспекту, и вой полицейских патрульных машин, усугублявших и нагонявших тревогу на всех. Фуад добрался на подъеме до светофора Гиват Царфатит (Французская горка), на балконы вилл вышли люди и смотрели по сторонам. Он остановил свой автомобиль перед перекрестком и запарковал его в тени лавровых кустов выше человеческого роста. Картина, открывшаяся перед ним, была ужасна. Все пространство перекрестка было усеяно непарными башмаками, разорванными сумками, листами бумаги, окровавленными рваными пакетами с названиями магазинов и чем-то совсем невозможным, кашеобразным и буро-кровавым. В самом центре этого совершенно невероятного, влажного от разлитого бензина и крови ужаса, можно было разглядеть лежавшую на мостовой оторванную по локоть белую женскую полную руку. Рядом с рукой валялся кусок мужского торса, разрезанного напополам на равные половины неизвестным и тщательно подобранным художником военной темы. Современным Верещагиным, можно сказать.

У Фуада закололо сердце, но, глубоко вздохнув, он сумел преодолеть себя и выйти из машины. Он, тяжело двигая ногами, пошел навстречу медику в желтой безрукавке, который молодецки соскочив с мотороллера, торопился в самый эпицентр местного катаклизма — это был сильный взрыв бомбы, минимум килограмм на 20–25 тротила. Заряд привел в действие самоубийца, который, по всей вероятности, находился в автобусе. Было привычно очень жарко, за тридцать. Фельдшер, двигавшийся навстречу Фуаду, был ортодоксальным евреем, совсем молодым очкастым парнем с шафранного цвета лицом. Он был мотивирован на помощь и спасение людей до полной потери чувства самосохранения. Он дрожал от переизбытка чувств.

— Я врач, — сказал ему Фуад издали, как можно спокойнее, — давай осмотримся, коллега.

Ортодокс закивал ему, как игрушечный болванчик, что да, давайте, доктор, осмотримся, вон что делается вокруг. Уже все подъезды к этому перекрестку были забиты полицейскими машинами с синими огнями на крыше, каретами скорой помощи и какими-то минибусами, окрашенными нейтрально в серый цвет из неизвестных служб. Уже суетились медики по всему пространству взрыва, какие-то ортодоксы средних лет тщательно перебирали в пальцах обрывки и осколки на земле. Фуад работал вместе с бригадой скорой, которая трудилась слаженно, как отрегулированный механизм. Если бы не обстоятельства, любо-дорого было бы смотреть на все это. Фуад глубоко оцарапался о рваный кусок жести, ребята быстро, почти на ходу, все дезинфицировали, сделали укол, перевязали, он работал с ними наравне, включив режим автономного существования. Через час примерно всех раненых развезли по больницам, по-

гибших отправили в морги. Водитель автобуса остался жив, он сидел на стуле в углу на обочине, свесив тяжелые руки между раздвинутых коленей и безнадежно глядя перед собой застывшими глазами. Пожарные смывали брандспойтами с асфальта бурую грязь, Фуад простился с ребятами из бригады, один из них был из Саратова, жилистый волжанин. «Был рад познакомиться с доктором», — сказал он Фуаду, сжав ему руку своей до боли. Рабочие муниципалитета в оранжевых куртках подметали металлическими метлами остатки жизни вдоль шоссе.

Через десять минут он въехал во двор своего дома, ворота за ним закрылись, верный Атиф в рубаше с длинными рукавами поверх брюк уступил ему дорогу, и Фуад, неуверенно пошатнувшись, ступил на газон. Атиф, бывший воин иорданского легиона, сделал движение прийти на помощь молодому хозяину, но Фуад остановил его: «Мне не надо помогать, ворота проверь и замкни, Атиф». — «Сейчас, хозяин. У вас сзади какая-то грязь налипла», — сказал Атиф Фуаду. Если честно, то Фуад впервые столкнулся в реальной жизни с подобной историей и находился в состоянии *гroggi*. Вся его учеба, операции и прочее отошли далеко в сторону. Еще бы. Фуад отодрал с брюк какую-то липкую гадость, отряхнул руки и зашел в дом. У Атифа было пятеро детей, трое взрослых и двое совсем маленьких, он был крепкий мужчина с солдатским лицом, в силе и в зрелом возрасте, исполнительный, преданный, но не без ленцы.

В гостиной сидел в глубоком кресле Юсуф с неестественно вытянутой вперед левой ногой. «Здравствуй, брат, — сказал он, — жду тебя давно, не могу подняться, прости, оступился на ровном месте, и на тебе». Его интонации были просительными и не жалкими. Глаза его блестели от возбуждения. «Колено болит, — без перелома пожаловался он, — очень».

Фуад сел напротив него, он чувствовал себя усталым и выжатым, сил на этого Юсуфа у него не было. «Видишь, что происходит, брат. Народ наш жив, мы боремся с врагом, и мы побеждаем в страшном, героическом противостоянии, побеждаем, брат». Юсуф сжал руки в кулаки и потряс ими, кивая в такт победоносной музыки, звучавшей в нем. Фуад смотрел на него с холодным любопытством энтомолога, обнаружившего в гостиной непонятно откуда взявшегося огромного жесткокрылого жука-оленья из рода *Lucanus* неизвестной до сего дня боевой красно-синей окраски.

«Все-таки в Англии он был поспокойнее, там прохладно, доброжелательные блондинки, вот в чем дело», — решил Фуад, глядя на сверкающие от праведного счастливого гнева глаза родственника.

— Что у тебя стряслось с ногой? — спросил он.

— Не поверишь, но утром шел по двору, споткнулся — и что-то там дернулось, сместилось, что ли, не знаю, наступить не могу, на тебя одна надежда, брат, — Юсуф откинулся на спинку кресла и сполз вниз, прикрыв глаза и вздохнув от боли. Он любил и умел врать, не замечая своей лжи.

— Сейчас, только умоюсь и займусь тобой, — Фуад поднялся и с некоторым усилием побрел в ванную, расстегивая набухший от чужой крови рукав рубашки. Все-таки Юсуф, несмотря ни на что, был родственником, просил о помощи, ко всему Фуад давал клятву Гиппократата, да и вообще. Просто этот день был, что называется, не его. И все.

Было без двадцати четыре дня. Мама ушла в гости к подруге по английской школе-интернату Берджес Хилл для девочек, с которой училась некогда вместе, и которая теперь, через 35 лет, по счастливому стечению обстоятельств жила в двух домах от нее. Они пили цейлонский чай с медом и беседовали по-английски о жизни, категорично и возмущенно. Отец Фуада был в отъезде и должен был вернуться через неделю. Фуад остался с больным один на один, чтобы он был только здоров и счастлив.

Ожидаемая к вечеру столичная прохлада еще только набирала силу, не давая о себе знать. Атиф помог стонавшему Юсуфу добраться до комнаты Фуада, которая служила хозяину и кабинетом, и спальней. Ставни были закрыты, кондиционер работал тихо и продуктивно. И все-таки были слышны с улицы завывания машин скорой помощи, патрульных джипов пограничников и глухой, оглушительный, неразличимый рев многих людей. Там продолжалась, не утихая, суета вокруг взрыва.

Несмотря на боли в ноге и тревожную ситуацию вокруг Юсуф вел себя развязно. Ничего серьезного у него не было, и Фуад, в широкой зеленой рубашке, завязанной на спине Атифом, справлялся с его травмой быстро и уверенно. Он успел принять душ и почти отодвинуть от себя куда-то в глубины сознания картины взрыва. Юсуф же говорил без перерыва, демонстрируя чудовищную неуверенность. «Какая-нибудь разнузданная азиатка, наверное, могла бы на корню решить проблемы этого парня, но где эта азиатка, ха», — между делом подумал Фуад. Юсуф никогда не был уверен в себе. «Женитьбы не намечается у тебя?», — между делом спросил Фуад. «Нет, не до женитьбы мне. Но я тебе процитирую 32-ю пророческую суру, не волнуйся, отрывки из нее, коротко, поучительно», — и он с важным видом сказал несколько фраз, действительно интересных.

«Нет для вас помимо Него ни покровителя, ни заступника. Неужели вы не помянете назидание? Он управляет делами с неба до земли... и начал создавать человека из глины, затем создал его потомство из капли презренной жидкости, затем придал ему соразмерный облик, вдохнул в него от Своего духа и даровал вам слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность! А!» — Юсуф, с пульсом в двести ударов в минуту, с торжествующим и надменным видом победителя смотрел перед собой. Лицо его было пунцовым.

Фуад запоздало подумал, что за этим неженатым парнем наверняка следят все время. «Они же все знают обо всем. Все ведет

ко мне, все нити и связи его, и взрыв еще, в метрах от нашего дома, все сошлось, и ничего поделывать нельзя, вот гадость какая». На душе у него было плохо, болела голова, и ничего хорошего будущее ему не предвещало.

В завершение работы Фуад натянул на ногу больного резиновый чулок с отрезанной стопой и сказал ему: «Походи дня три-четыре, а потом пройдет, ступай. Я попрошу Атифа отвезти тебя домой. Думаю, что дома тебе сидеть не надо, отдыхай в другом месте, сам найдешь где. Ты умный. Революционер сраный. Давай, Атиф, увози его к Бениной маме», — последние фразы Фуад сказал по-русски, но Юсуф, кажется, понял. Атифу Юсуф тоже не был симпатичен, такая у него была судьба. Он очень хотел нравиться и даже быть любимым всеми, но не складывалось у него. Атиф, между прочим, мог двумя пальцами правой руки, средним и указательным, пробить насквозь грудную клетку, никогда из уважения этим умением не пользовался при Фуаде. И слава богу.

Глядя вслед машине Атифа, который осторожно поехал по грунтовой дороге вокруг домов, Фуад, щурясь на заходящее за Рамотом солнце, решил, что лучше было бы пригласить сюда два десятка или даже три десятка веселых, смешливых, прочных и порочных девушек, и проблемы были бы разрешены здесь. Нет?! Может быть, все бы и успокоилось как-то. Можно и в разы больше вызвать девчат, не в этом дело. Но надо помнить, что с женщинами надо быть очень осторожным, потому что они могут обидеться на какую-нибудь ерунду, на самую незаметную малость, и тогда все, все летит к чертовой матери. В этой простой мысли было свое рациональное зерно, но не более того. Большим мыслителем Фуада назвать было нельзя. Да он и сам всегда сомневался в своих взглядах на эту жизнь. Есть люди поумнее меня — это он знал хорошо. Но настроение у Фуада было грустное и, больше того, почти безнадежное.

«Надо сказать про Юсуфа, опередить их. Все равно они узнают, они все знают, главное, опередить», — Фуад определился со своими действиями. Вернувшись в дом, он плюхнулся на диван и стал искать нужный номер в телефоне. Фуад сказал Валии, вышедшей к нему с вопросительным выражением широкого пожилого лица: «Дай мне чаю и поешь чего-нибудь, принеси прямо сюда». Затем он позвонил и поговорил с неизвестным человеком, который его успокоил: «Ничего страшного, вы же все сказали, ничего не утаили, подъезжайте к нам — и уясним с вами частности, хорошо?! Лучше сегодня, конечно. Когда вам будет угодно, ждем вас, Фуад, в любое время». Он на всех языках говорил без акцента, такой вот одаренный и трудолюбивый человек, Фуад Аль-Фасих, для некоторых друзей просто Федя. Трогательно, нет?! Большое дело делал Фуад, нет?!

Потом он медленно поел, не совсем ощущая вкус риса, зирь, барбариса и мяса, попил чая, выпил грамм сто ирландского виски

и попытался уснуть. Потом пришла мама из гостей и тревожным голосом спросила, стоя на пороге: «Все в порядке, мальчик?». — «Хорошо было застрелиться, но не получится», — привычно подумал Фуад.

В обитую черным дерматином дверь Форпоста Фуад позвонил в 8 часов 15 минут утра, если по Санкт-Петербургскому времени. Начало апреля. Хозяин широко распахнул дверь, радостно улыбаясь. Он очень сильно похудел за эти годы, но выглядел бодро. Он был одет в темный костюм-тройку, отличный галстук в тон синей рубашке и домашние тапочки. «Здравствуй, дорогой», — сказал Форпост, обнимая ученика. «Иди так, какие тапки», — сказал он Фуаду.

В столовой уже был накрыт стол, горела люстра, пожилая приходящая домработница поправляла приборы и бокалы. «Невероятно, что ты приехал сюда опять, Феденька, что я вижу тебя. Наслышан о твоих успехах, горжусь тобой, я просто счастлив», — говорил старик, показывая на место за столом. Фуад тем временем выкладывал на диван подарки. «А это от Глеба и Гены вам, Михаил Абрамыч», — он положил на стол открытый конверт с долларами. Форпост смотрел на происходящее глазами полными слез. «Они не сумели выбраться, поручили мне эту миссию», — объяснил Фуад. Форпост пришел в себя, взял в руки бутылку и разлил коньяк по фужерам: «За встречу, дорогой, очень рад». Они выпили и закусили бутербродами с красной икрой и свежим огурцом. Повторили.

Уселись за стол и посмотрели друг на друга. Форпост сидел с прямой спиной и тяжелым взглядом абсолютно одинокого человека, который не смог научиться жить один. Форпост многому чему научился за свою жизнь, а вот этому все еще нет. Он считал и надеялся, что у него еще есть время на учебу.

— Я ваш курс помню отлично, все разъехались, кто куда, вон Галя Кобзарь недавно звонила, рассказала, что у нее все хорошо, работает в частной клинике, собирается замуж. Украина ее любимая живет независимо и самостоятельно, Гале нравится, солнце, говорит, светит всем. Талантливая женщина и очень яркая. Собирается замуж за парня с горящим огнем, смешливого, хочет много детей, ешь, пожалуйста, мой мальчик, прости, что так называю, просто рад очень тебя видеть, вот и говорю, и говорю... Она спрашивала обо всех, о тебе тоже, она ведь тебе нравилась, нет? Как она могла не нравиться, такое невозможно, правда! — признался Форпост, одинокий старик. — Вообще, она приезжала сюда, не знаю почему, по делам, наверное, заходила ко мне. Галя большой молодец. С нею был этот быстроглазый юноша в брюках из шелка или чего-то подобного, Андруша, кажется. Он ведь с вашего потока... Вы ведь знакомы с ним, Федя, правда?

Фуад кивнул ему, что правда. Одновременно он необязательно подумал, что «вот приеду домой и повешусь на заднем дворе за гаражом, мать жалко». Он не мог понять женскую душу, как и многие

другие. Форпост уже в Израиле был привезен на Мертвое море в Эйн Геди, есть такое чудо света здесь, с пресной водой и непролазными джунглями с шумящим за скалой водопадом. Он остался в машине на стоянке и увидел за лианами возле водопада огромную красивую тигрицу, смело раскрашенную в ярко-оранжевый и желтый с черными полосами цвет.

Тигрица, неотразимая, прекрасная и страшная, внимательно вглядывалась в Форпоста, пытаясь понять, кто он и что он. Профессор смотрел на нее с восхищением — она была очень хороша, уже в преклонном возрасте, одинокая и непрístupная. Все это неважно. Так вот, в таинственном взгляде ее глаз можно было разглядеть жизнь Гали Кобзарь, такую же необъяснимую и прекрасную. Когда Фуад вернулся к машине, то тигрица уже скрылась, она не переносила людей, собиравшихся группами. Да и одинокие люди, если честно, также вызывали у нее неприязнь. Что хорошего в них, загорелых тварях? Коварны, лживы, опасны и трусливы...

Рояль фирмы «Броудвуд» из прошлого века, купленный Форпостом по случаю для жены года через четыре после счастливого и такого неожиданного освобождения из-под сурового следствия на Литейном, стоял на том же месте возле окна, в смежной комнате с гостиной, и матово и дорого сверкал в полутьме выгнутыми боками. Песя Львовна обожала музыку, в юности училась в консерватории, и по слухам, подавала надежды на будущее. Хотя бы пальцы ей тогда, зимой 52, не переломали — и за то спасибо.

— Там в Теилим, Генаша, наш праведник просил вас прочесть обязательно 137 псалом, настаивал на этом, и просил не грустить ни в коем случае, — выполнил просьбу друга Фуад.

— Обязательно, — ответил Форпост, — обязательно прочту. Не грустить, мой мальчик.

Форпост не был великим мудрецом, ну какой мудрец? Он просто как всякий пожилой еврей, проживший целую жизнь, очень многое видел и знал, вследствие чего его понимание нынешних событий производило на знакомых впечатление большого провидения. Часто он попадал в цель своими словами и прогнозами, и столь же часто ошибался. Ничей в результате не наблюдалось.

Фуад пошел в ванную, а Форпост взял в руки книжку Теилим, раскрыл ее на нужной странице и прочел Псалом номер 137. Там было сказано так:

«На реках Вавилонских — там мы сидели и плакали, вспоминая Цион, на ивах у реки мы повесили наши лютни. Ибо пленившие требовали от нас песнопений и глумящиеся над нами — веселья: «Спойте нам из песен Циона!». Как нам петь песни Г-спода на чужой земле? Если забуду тебя, Иерусалим, пусть потеряет память моя правая рука. Пусть присохнет мой язык к небу, если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим на вершину своего веселья. Припомни, Г-сподь, сынам Эдома, день разрушения Иеруса-

лима, когда они говорили: «Крушите, крушите его до основания!». Дочь Вавилона, разоренная! Блажен, кто оплатит тебе по заслугам за то, что ты сделала нам. Блажен, кто схватит твоих младенцев и разобьет их о скалу».

Все он помнил, старый Форпост, память его не подводила пока. Он прочитал страшные строки о тоске, боли и о мести на русском, а потом на иврите на раз, не по слогам или буквам в ашкеназском произношении, а все подряд, как учил. Старик зачел слова великого вечного напева почти не запинаясь, так, как его учил когда-то в хедере в белорусском местечке тот бородатый учитель, веселый и суровый одновременно:

«Аль нахарот Бавель шам яшавну, гам бахину безахрейну эт Цийон...

...Ашрэ шэйохэз вэнипэц эт олалайих эл хасэла».

Это был шаг Форпоста к отъезду. Вернувшийся из ванной осанистый, с кремового цвета лицом и губами лилового оттенка Фуад с полотенцем, привезенным с собою из дома, и висевшем на шее, сказал Форпосту убежденно и как мог душевно:

— Я ведь приехал вас забрать, Михаил Абрамыч, с собой, в Вечный город.

Он был вознагражден удивленной и смущенной улыбкой ясноглазого старика. «Как так? Что ты говоришь, мальчик?».

— Мы с ребятами посоветовались и подумали, что это будет лучший вариант для вас. Что сидеть здесь в одиночестве? Чего ждать? А там свои, там ждут, жить можно у меня, место есть, друзья и ученики любят, решайтесь, Михаил Абрамыч.

«Кто этот милый, коренастый, неуверенный человек с полотенцем на шее, я с ним знаком, что он такое говорит? Это образ из моего прошлого, мой родственник?» — подумал неожиданно Форпост. Слова Фуада стали для него сладкой ловушкой.

— Это чудесная идея, Федя, но как ее осуществить, это невозможно, никак. Я одинок, никого у меня ни тут, ни там нет, я никому не нужен нигде, дорогой, — сказал Форпост со старческой грустью.

— О чем вы говорите, дорогой Михаил Абрамыч, о чем вы говорите? У вас в Иерусалиме есть Гена Аббада, Глеб Гутман, я, со всей душой, и весь еврейский народ и еврейская страна, а *милихе*, как говорит Глеб, тоже. Неужели мало, Михаил Абрамыч? — Фуад селил сомнения в душе старика. Он выглядел сионистским агитатором, как это не звучит странно, он просто считал, будучи честным и благодарным человеком, себя обязанным всем этому человеку.

— Федя, да ты посмотри, что со мной стало, от меня того прежнего не осталось много, так, по сусекам, ты не понимаешь, не видишь, что ли? Очень соблазнительно, конечно, поехать туда с тобой в Эрцисроель, но боюсь, что я опоздал на этот поезд, прости, — согбенный одинокий старик не казался ему уверенным в своем мнении.

— Не будем спорить, я уеду сейчас, вернусь после обеда, и мы продолжим. Я уверен в вас, Михаил Абрамыч, — убежденно сказал Фуад, он знал, что уговорит старика, это казалось ему не таким трудным делом.

В конце концов, Фуад уговорил старика, в чем никто и не сомневался, по правде, и тот пустился в иерусалимскую авантюру. В продаже квартиры Михаила Абрамовича и обеспечении безопасности денежного перевода в Иерусалим в Национальный банк на имя Форпоста (счет открыли по телефону посредством отца Фуада Акбара Аль-Фасиха, известного финансиста) оказал помощь подполковник Иван Максимович Гордеев в знак уважения к заслугам иерусалимского ортопеда. «А что, у них ведь тоже есть душа, правда?!» — как говорила в Ленинграде одна набожная старушка. Несомненно. Мы умеем ценить друзей, товарищ Федор Акбарыч.

В Иерусалиме все прошло как по маслу. И встреча, и прием. Много слез, много радости. Фуад поселил Форпоста у себя на вилле, места было много. Валяя готовила ему фаршированную рыбу, правда, из карпа, щуки здесь было не достать, хотя на севере Эрец Израэль в ручьях и реках, по слухам, она водилась. Форпост объездил всю страну с Атифом и остался очарован ею. Даже в кнессет он попал и перекинулся несколькими фразами с депутатами от так называемой «русской партии». «Молодцы, что сохранили такой хороший русский язык», — похвалил их Форпост. Мужчины сдержанно улыбались и смущенно пожимали крепкими плечами, глядя на гобелен Марка Шагала на огромной стене, что тут говорить. Один из них был крутолобый, глазастый математик, шахматист московской школы, ученик и поклонник академика Сахарова, другой прихрамывал, знал французский и быстро думал, третий хорошо соображал, был большим любителем футбола и его тактических схем, болел за столичный черно-желтый клуб ревизионистов, все вместе они являли собой партию, которая влияла на политический расклад в еврейской стране очень сильно. Тогда влияла, да и потом тоже. Поделаться с этим ничего было нельзя, у них был свой большой электорат, приехал и совершил все хорошее и очень хорошее в политике, и не только в ней.

«А воздух какой здесь, иерусалимский, лекарственный, ах, могут эти чудные перспективные молодые люди со временем найти общий язык с нашими молодыми лидерами, могут советоваться друг с другом, могут повлиять на мир, еще вспомните Форпоста и его предсказания, еще все будет хорошо», — восклицал старик и, кажется, плакал от счастья происходящего с ним и содержания своих мыслей.

Генаша сделал мощную попытку забрать Форпоста к себе, но Фуад не уступил, если говорить объективно, он был прав. «У меня ему свободнее, Атиф возит, он принимает гостей с радостью, а что вы, с вашими лачугами». Зато Гутман сумел поспо-

собствовать в покупке места для Форпоста, когда придет его час. Место было на Масличной горе, Глеб оперировал когда-то одного ребенка из Бней-Брака без очереди и без оплаты, и тот отблагодарил. «Я понимаю, что *амицве*, господин Гутман», — сказал он быстрым голосом.

Генаша проводил Форпоста на джипе семьи Аль-Фасих к праведнику все в том же Бней-Браке, полчаса от Тель-Авива. К праведнику, который жил на первом этаже (пять ступенек прямо и еще четыре направо, двери фанерные, но крашеные), стояла очередь, но «реб Мойше Форпост», как сказал молодой служака, был пропущен впереди всех. Очередь не роптала, здесь не ропщут. Праведник, который был много старше Форпоста и по внешнему виду, и по, так сказать, наполнению, сидел за столом с раскрытым фолиантом. Стакан чая и кусок хлеба стояли сбоку на вязаной скатерти. Форпост сел напротив него, Генаша остался у двери, рядом с койкой, накрытой солдатским одеялом. Праведник взглянул на профессора быстро и пронзительно, и сказал «благословение и успех». После этого, ничего больше не ожидая, Форпост с трудом поднялся и вышел, поддерживаемый Генашей. Атиф ждал их в машине с выключенным радиоприемником, это было бы здесь не к месту, Атиф все понимал, но не все говорил вслух. Внимания на него не обращал никто, здесь террористов не боялись, возможно, необоснованно, наверняка необоснованно. «Впервые в жизни увидел его и захотел встать перед ним на колени, не знаю почему, ты знаешь, Геночка, почему так?». — «Я не знаю, почему так, Михаил Абрамович».

У Фуада были неприятности с этим сумасшедшим дураком Юсуфом, как он и ждал. Но как-то обошлось. Фуад почему-то думал, что ему помог в этом вопросе Гордеев, отбил своего *стукачило*, как называл таких людей наш Генаша. У двух контор разных стран на том отрезке времени, да и потом тоже, было сотрудничество в некоторых вопросах. Юсуфа не нашли, а может быть, не так и искали, неизвестно.

Знаменитый рояль своей супруги Песи Львовны «Броудвуд» Форпост передал в детский дом для детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении. А был такой? Неизвестно. «Вы ведь не возражаете, Феденька?». Федя возражал, но кивнул старику в знак согласия, рояль в Иерусалиме стоил сумасшедшие деньги, которые могли Форпосту понадобиться. Но Фуад советов не давал, когда у него их не просили. Он был меньшего масштаба, чем ответ на этот вопрос. Фуад научился этому в Ленинграде, отец с дедом тоже вбивали в него это знание.

Гордеев позвонил старику и тепло его поблагодарил. «Дети будут музицировать, учиться играть Гайдна и любить прекрасное», — сказал Иван Максимович профессору. «Обязательно Гайдна, Песя его обожала», — ответил Форпост. Фуаду показалось, что

старик прослезился, и он протянул ему носовой платок с вышитой по канве надписью «Иерусалим — город Аллаха, только его и никого больше».

Глядя на горящий в середине дня вдалеке, 5 км по прямой от дома Фуада, лес в предместье Иерусалима с низким черным жутковатым облаком над ним, Форпост, большой семитский провидец, *а грейсер нови*, как утверждали не без сарказма на европейском еврейском языке, поправляя у горла тяжелый галстук, с которым он не расставался здесь ни при какой погоде ни на мгновение, как и с парадным костюмом, негромко говорил: «Все будет хорошо здесь, как я говорил и говорю, слушайте меня, все будет хорошо». Фуад послушно кивал в знак согласия: «Конечно, профессор, конечно» — и приносил ему высокий стакан холодной воды без льда, как Форпост, не переносивший холода, любил.

Все это, конечно, сказка, скажете вы, и будете правы. Конечно, сказка. Но некоторые признаки реальной жизни, признайте, присутствуют в ней. Признайте.

2022



Олександр СПРЕНЦІС

/ Київ /

Зі збірки «Тяжіння простору»

* * *

я зробив
паперовий літачок
і пустив його у вікно...
він полетів по кривій —
кривій мого життя...

* * *

всього стало обмаль —
грошей, здоров'я і бажань.
жебрацький капелюх мене чекає!

* * *

вчора,
сьогодні
і завтра —
сльози, поразки, страждання,
радість і сподівання...
безжальний рух сансари!..

* * *

коли сонце сідає за обрій
не забудьте попрощатися з життям...
на всякий випадок!

* * *

час знепритомнів:
лежить гориліць...
незабаром — небіжчик?

* * *

в глухій темряві
ліхтарик ледь-ледь жевріє...
ні, не жевріє — вмирає...

* * *

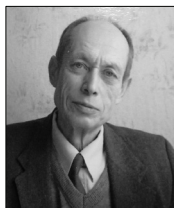
життя — це папірець
папірчик
листок-листочок
пелюсток
сонячний зайчик
на склі води...

* * *

птахи осиротіли —
вони вже не знають,
для кого їм співати!

* * *

ця тиша — як океан:
чи поглине,
чи впливемо?



Игорь КУРАШ
/ Бостон /
Владислав КУРАШ
/ Варшава /



КТО ПОХИТИЛ ЭДИТ БРЕДТ?

Драма в четырёх действиях

История, от начала и до конца выдуманная авторами, не имеющая ничего общего с историческими фактами, событиями и личностями.

ЛИЦА

Артур Конан Дойль — писатель.
Чарльз — сын Артура Конан Дойля.
Миссис Хадсон — служанка Артура Конан Дойля.
Гарри Бредт — издатель.
Эдит Бредт — дочь Гарри Бредта.
Роберт Гилкрест — племянник Гарри Бредта.
Паркер — слуга Гарри Бредта.
Джозеф Белл — врач, друг Артура Конан Дойля.
Болтер — слуга Джозефа Белла.
Руэл Толкин — сослуживец Чарльза.
Грег Лестрейд — полицейский, инспектор.
Хорнер — полицейский, констебль.
Алексей Толстой — писатель.
Николай Корнейчуков — писатель.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Дом Гарри Бредта, гостиная.

Явление первое

Входят Гарри Бредт и Артур Конан Дойль.

ДОЙЛЬ. Вы прочитали мою рукопись?

БРЕДТ. Сегодня закончил.

ДОЙЛЬ. Вам понравилось?

БРЕДТ. Нет. Не понравилось.

ДОЙЛЬ. Почему?

БРЕДТ. Потому что от неё пахнет тюрьмой.

ДОЙЛЬ. Как вас понимать?

БРЕДТ. Понимайте, как хотите.

ДОЙЛЬ. Так вы берёте рукопись?

БРЕДТ. Нет. Я в тюрьму пока ещё не собираюсь. И не хочу оказаться в центре международного скандала. Я издатель, а не политик. Поищите кого-нибудь другого для издания своих политических прокламаций. *(После паузы.)* Лучше бы вы написали новую книгу о Шерлоке Холмсе.

ДОЙЛЬ. Я уже много раз вам говорил, что о Шерлоке Холмсе я писать больше не буду. Эта тема исчерпана и давно не актуальна. Мы стоим на пороге двадцатого века, века бурного, прогрессивного. Вокруг нас столько интересного. Об этом надо писать.

БРЕДТ. А читатель ждёт от вас новых историй о Шерлоке Холмсе. И готов за это хорошо платить.

ДОЙЛЬ. Нет, о Шерлока Холмсе я писать не буду. Даже если это сулит мне большие гонорары.

Явление второе

Гарри Бредт и Артур Конан Дойль. Входит Роберт Гилкрист.

ГИЛКРИСТ. Здравствуйте дядя. Доброе утро мистер Дойль.

Гарри Бредт и Артур Конан Дойль здороваются с Робертом Гилкристом.

БРЕДТ. Роберт! Когда ты приехал?

ГИЛКРИСТ. Вчера вечером.

БРЕДТ. Почему ты не позвонил мне?

ГИЛКРИСТ. Простите, дядя. Я был разбит и едва дополз до постели. *(К Артуру Конан Дойлю.)* Как ваши дела, мистер Дойль?

ДОЙЛЬ. Спасибо, не жалуюсь. Вот только спину иногда прихватывает. Ревматизм.

ГИЛКРИСТ. Это всё влажный английский климат.

ДОЙЛЬ. А вас, Роберт, можно поздравить?

БРЕДТ *(к Роберту Гилкристу)*. Теперь тебя знает вся Англия. Ты стал знаменитым.

ГИЛКРИСТ. Не преувеличивайте, дядя.

БРЕДТ. Я не преувеличиваю. О победителе на ежегодных скачках в Эскоте сегодня пишут во всех газетах. Твоё имя теперь у каждого на устах.

ДОЙЛЬ *(к Роберту Гилкристу)*. Вам несказанно повезло.

БРЕДТ. Мы все рады за тебя. Жаль, что твои родители не дожили до такого дня.

ГИЛКРИСТ. Давайте не будем об этом.

БРЕДТ. Ничего не могу с собой поделаться.

ГИЛКРИСТ. Довольно.

БРЕДТ (*выдержав паузу*). Роберт, а как там твоя учёба в колледже?

ГИЛКРИСТ. Лучше не спрашивайте.

БРЕДТ. Я слышал, ты перестал посещать занятия.

ГИЛКРИСТ. Откуда такие сведения?

БРЕДТ. Не в лесу живём. (*Пауза.*) Роберт, возьми за голову. И не заставляй меня нервничать.

ГИЛКРИСТ. Хорошо, дядя. Обещаю исправиться. Вот отдохну пару дней после скачек и снова засяду за словари и учебники.

БРЕДТ. Прошу тебя. Не запускай учёбу.

ГИЛКРИСТ. А где Эдит? Я её так давно не видел.

БРЕДТ. В манеже, в Гайд-парке. На прошлой неделе я купил ей алжирского жеребца. Теперь она всё свободное время проводит в манеже и в конюшнях.

ГИЛКРИСТ. И когда она появится?

БРЕДТ. Я просил её приехать к обеду. Так что если не забудет, то скоро появится.

ГИЛКРИСТ. Было бы здорово.

Явление третье

Гарри Бредт, Артур Конан Дойль и Роберт Гилкрист. Входит Эдит Бредт, здоровается.

БРЕДТ. А вот и Эдит.

ЭДИТ (*к Артуру Конан Дойлю*). Сер Артур! Как я рада вас видеть!

ДОЙЛЬ. Я тоже, дитя моё.

ЭДИТ. Я на вас сильно обиделась. Вы совсем меня забыли. Перестали заезжать. А я сижу и гадаю, как там вы, что там с вами.

ДОЙЛЬ. Слава Богу, со мной всё в порядке.

ЭДИТ. Знаете, кто вчера был у нас в гостях?

ДОЙЛЬ. Нет.

ЭДИТ. Герберт Уэллс. Я почему-то раньше думала, что литераторы все люди воспитанные и культурные. А он оказался таким пошляком. Весь вечер рассказывал неприличные анекдоты. Ну до того уморительные. Я так хохотала. А папа говорит, что литераторы все со странностями. Но к вам это не относится. (*Пауза.*) Какой сегодня хороший день. Вы любите кинематограф? Не хотите сходить со мной в кино?

ДОЙЛЬ. Мне кажется, что для кино я несколько старомоден.

ЭДИТ. Тогда в театр.

БРЕДТ. Эдит, ты не забыла, что у тебя сегодня ещё занятия с профессором Каафом.

ЭДИТ. Папа, профессор Кааф меня утомляет. От одного его вида меня клонит в сон. Он такой зануда. Я не хочу ходить к нему на лекции.

БРЕДТ. Дочка, это не обговаривается. Девушка из высшего общества должна быть образованной. Ты мне ещё потом спасибо скажешь.

ЭДИТ. Вечно ты со своими нравоучениями. А я уже не маленькая девочка.

БРЕДТ. Для меня ты всегда будешь моей маленькой любимой девочкой.

ЭДИТ (*с раздражением*). Ну, папа, перестань. Ты невыносимый. Ты всегда всё портишь.

ГИЛКРИСТ. Хорошее образование в наше время — не дешёвое удовольствие. Только состоятельные люди себе могут позволить это.

ЭДИТ. Как вы мне надоели. (*К Артуру Конан Дойлю.*) Сер Артур, пойдёте лучше, я покажу вам своего жеребца. (*Берёт Артура Конан Дойля за руку и тянет его к выходу.*)

БРЕДТ (*к Эдит Бредт*). Дорогая, только не сейчас. У нас с мистером Дойлем ещё дела. (*К Артуру Конан Дойлю.*) Идёмте ко мне в кабинет. (*Смотрит на часы.*) Ого. Я опаздываю в редакцию.

Гарри Бредт и Артур Конан Дойль уходят.

Явление четвёртое

Роберт Гилкрест и Эдит Бредт.

ГИЛКРИСТ. Хорошо, что мы остались одни. Я давно уже хотел с тобой поговорить. Только всё как-то не решался.

ЭДИТ. Давай как-нибудь потом. (*Собирается уйти.*)

ГИЛКРИСТ (*преграждает ей дорогу*). Постой. Если я не сделаю этого сейчас, то не сделаю никогда. И потом не прошу себе этого. Прощу, выслушай меня.

ЭДИТ. Ладно, говори. Только быстро.

ГИЛКРИСТ (*в замешательстве*). Так много думал об этом. И вот теперь не знаю с чего начать.

ЭДИТ. Нервничаешь? Удивительно. Ты всегда такой самоуверенный и наглый. Здесь что-то не так.

ГИЛКРИСТ (*собравшись с мыслями*). Думаю, ты знаешь, что обо мне говорят в обществе.

ЭДИТ. Только не надо снова заводить рассказы о своих бесконечных любовных интрижках и пьяных вечеринках с друзьями-собутельниками.

ГИЛКРИСТ. Просто я хотел сказать, что мне это больше не интересно.

ЭДИТ (с издёвкой). С каких же это пор?

ГИЛКРИСТ. С тех пор, как я понял, что люблю тебя.

ЭДИТ (с удивлением и недоумением). Что?

ГИЛКРИСТ. Я люблю тебя и не могу без тебя жить.

ЭДИТ. Бред какой-то. (Пытается уйти.)

ГИЛКРИСТ (останавливает Эдит). Я на самом деле люблю тебя.

ЭДИТ. С тобой всё в порядке? Ты не заболел?

ГИЛКРИСТ. Я совершенно здоров. Прошу тебя, стань моей женой.

ЭДИТ. Я обручена с Чарльзом.

ГИЛКРИСТ. Если ты меня отвергнешь, я убью его.

ЭДИТ. Убей лучше себя.

ГИЛКРИСТ. Ты этого хочешь?

ЭДИТ. Ты мне безразличен. Поступай как знаешь.

ГИЛКРИСТ. Не губи меня.

ЭДИТ. Всё, с меня довольно. Ненормальный. (Уходит.)

ГИЛКРИСТ (кричит ей вслед). Ты всё равно будешь моей.

Явление пятое

Роберт Гилкрист. Входит Гарри Бредт.

ГИЛКРИСТ. Дядя, мне нужно с вами переговорить.

БРЕДТ. В другой раз, Роберт. Опаздываю в редакцию.

ГИЛКРИСТ. Прошу вас, выслушайте меня. Это не займёт много времени.

БРЕДТ. Ну, хорошо.

ГИЛКРИСТ. Дядя, от вас зависит всё. Если вы мне не можете, то я покончу с собой.

БРЕДТ. Что там у тебя стряслось?

ГИЛКРИСТ. Я люблю вашу дочь.

БРЕДТ. Эдит?

ГИЛКРИСТ. Да, дядя, Эдит.

БРЕДТ. Ну и отлично. Я рад за тебя. И я её люблю. Её нельзя не любить. Она же ангел.

ГИЛКРИСТ. Я хочу просить у вас её руки.

БРЕДТ. Это невозможно. Она помолвлена с Чарльзом.

ГИЛКРИСТ. К чёрту Чарльза. Расстройте помолвку.

БРЕДТ. Ты с ума сошёл. Как ты себе это представляешь?

ГИЛКРИСТ. Если вы согласитесь, я сам всё устрою.

БРЕДТ. При чём здесь я? Ты с Эдит разговаривай.

ГИЛКРИСТ. Она не хочет меня слушать.

БРЕДТ. Я же тебе говорил, что это невозможно.

ГИЛКРИСТ. Дядя. Я знаю, чем вас заинтересовать.

БРЕДТ. Ну?

ГИЛКРИСТ. Я отдам во вдовью часть Эдит всё моё движимое и недвижимое имущество. Все ценные бумаги и все счета. Всё чем владею. Всё своё состояние. Прошу, помогите мне.

БРЕДТ. Это меняет дело. Ладно, постараюсь что-нибудь придумать.

ГИЛКРИСТ. Вот и отлично. Думайте, дядя.

БРЕДТ. Ты меня совсем запутал. Ну, мне пора.

ГИЛКРИСТ. Подождите, я с вами.

Роберт Гилкрест и Гарри Бредт уходят.

Явление шестое

Входят Артур Конан Дойль и Эдит Бредт.

ЭДИТ. Мы не виделись больше месяца, я так по вас соскучилась. Вы написали новую книгу?

ДОЙЛЬ. Да, Эдит.

ЭДИТ. О чём ваша книга?

ДОЙЛЬ. О войне.

ЭДИТ. Я ненавижу войну. Если бы не эта война, то Чарльз сейчас был бы здесь, со мной.

ДОЙЛЬ. Это был его выбор. Он сам пошёл добровольцем.

ЭДИТ. Почему вы не запретили ему?

ДОЙЛЬ. Я пытался. Но он меня не послушал.

ЭДИТ. И меня тоже не послушал. Сказал, что хочет себе что-то доказать.

ДОЙЛЬ. Он уже взрослый. И сам принимает решения.

ЭДИТ. Мне так не хватает его. Я боюсь, что не выдержу.

ДОЙЛЬ. Старайся не думать о плохом.

ЭДИТ. Не получается. Знаете, вчера я накричала на Паркера. Ни за что. Просто так. А ведь он меня нянчил с самого рождения. Мне так потом стало стыдно за себя.

ДОЙЛЬ. Это всё нервы.

ЭДИТ. Что отец сказал о вашей книге?

ДОЙЛЬ. Он не хочет публиковать её. Сказал, что это политическая прокламация.

ЭДИТ. Я поговорю с ним, и он опубликует её. Мне он не откажет.

ДОЙЛЬ. Спасибо, Эдит, не стоит.

ЭДИТ. Я всё равно с ним поговорю. Так мы идём сегодня в театр?

ДОЙЛЬ. Мне ещё нужно заехать кстряпчему на Кеннингстон-роуд.

ЭДИТ. Жаль.

ДОЙЛЬ (*подумав*). Впрочем, я могу перенести визит кстряпчему на другой день.

ЭДИТ (*радостно*). Значит, мы сегодня пойдём в театр? Как я вас обожаю!

ДОЙЛЬ. Эдит, кажется, ты хотела показать мне своего жеребца.

ЭДИТ. Пойдёмте в конюшни. Вы увидите, какой он красавец.

Артур Конан Дойль и Эдит Бредт уходят.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Дом Артура Конан Дойля, кабинет.

Явление первое

Миссис Хадсон убирает в кабинете. Входит Артур Конан Дойль.

ДОЙЛЬ. Миссис Хадсон, что вы там делаете?

ХАДСОН. Пытаюсь навести порядок на вашем письменном столе.

ДОЙЛЬ. Умоляю, оставьте там всё как есть. Сколько раз я вам говорил, чтобы вы ничего не трогали на моём письменном столе.

ХАДСОН. Ладно, только пыль протру.

ДОЙЛЬ. Прошу вас, ничего там не надо протирать. (*С раздражением.*) Что ж вы такая упрямая и непослушная.

ХАДСОН (*отходит от стола*). Вам ужин подавать?

ДОЙЛЬ (*снимает плащ*). Подавать, подавать. Я ужасно голоден.

Миссис Хадсон собирается уходить.

ДОЙЛЬ (*вслед*). Миссис Хадсон, постойте. Я всё хотел у вас спросить. Вы не обижаетесь на меня?

ХАДСОН. А за что мне на вас обижаться?

ДОЙЛЬ. За то, что я вас сделал персонажем своих рассказов.

ХАДСОН. Вы об этом? Уже, нет. Скажите спасибо Чарльзу. Если бы не Чарльз, я бы вам этого никогда не простила.

Звонок.

ДОЙЛЬ. Это Эдит. Она обещала зайти.
ХАДСОН. Пойду открою.

Миссис Хадсон уходит.

Явление второе

Артур Конан Дойль. Входит Джозеф Белл.

ДОЙЛЬ. Джозеф? Ты?

БЕЛЛ. Не ожидал?

ДОЙЛЬ. Должна была заехать Эдит. Я думал — это она. (*Хватается за сердце.*) Ого. Опять сердце прихватило.

БЕЛЛ (*наливает стакан воды и даёт Дойлю*). Я всегда говорил, что литература ни к чему хорошему тебя не приведёт.

ДОЙЛЬ. Что мне делать? Бредт отказывается брать мою новую книгу.

БЕЛЛ. Теперь понятно, почему ты за сердце хватаешься. После каждой встречи с этим Бредтом у тебя сердечные приступы. Не нравится мне твой Бредт.

ДОЙЛЬ. Дело не в нём. Просто читатель ждёт от меня только Шерлока Холмса. И ничего другого. Книги о Шерлоке Холмсе раскупаются огромными тиражами. А все остальные мои книги стоят в магазинах на полках и пылятся.

БЕЛЛ. Да, уж. Нельзя не согласиться. Твой Шерлок Холмс стал крайне популярен в последнее время. И Бредта можно понять. Зачем вкладывать деньги в неприбыльные проекты, когда на твоём Шерлоке Холмсе можно зарабатывать миллионы.

ДОЙЛЬ. Я пишу не ради денег и славы.

БЕЛЛ. Ты только никому другому этого не говори. Люди тебя не поймут.

Звонок.

ДОЙЛЬ. Ты слышал? Позвонили в дверь. Это Эдит пришла.

Явление третье

Артур Конан Дойль и Джозеф Белл. Входит миссис Хадсон.

ХАДСОН. Дойль, вас хочет видеть какой-то молодой человек.

ДОЙЛЬ. Он представился?

ХАДСОН. Его зовут Руэл Толкин.

ДОЙЛЬ. Мне это имя не знакомо.

БЕЛЛ. Может, один из твоих поклонников?

ДОЙЛЬ. Только не это. (*К миссис Хадсон.*) Скажите, что меня нет дома.

ХАДСОН. Он в военной форме и просит его срочно принять.

БЕЛЛ. Какое хамство.

ДОЙЛЬ (*к миссис Хадсон*). Ладно. Скажите ему, пускай завтра приходит. Я его завтра приму.

ХАДСОН. Я ему так и сказала. Но он, настаивает на своём.

ДОЙЛЬ. И в самом деле, хам. Хорошо, впустите его в дом.

Хадсон уходит.

БЕЛЛ. Надо было вызвать полицию.

ДОЙЛЬ. Вдруг у него что-то важное.

Явление четвёртое

Артур Конан Дойль и Джозеф Белл. Входят миссис Хадсон и Руэл Толкин.

ХАДСОН. Руэл Толкин.

ДОЙЛЬ. Проходите, молодой человек.

Миссис Хадсон уходит.

ТОЛКИН. Благодарю вас. Добрый вечер. Прошу прощения за то, что так поздно.

ДОЙЛЬ. У вас какое-то неотложное дело?

ТОЛКИН. У меня извещение для Артура Конан Дойля. (*Достает из кармана конверт.*)

ДОЙЛЬ. Давайте ваше извещение.

ТОЛКИН. Вы Артур Конан Дойль?

ДОЙЛЬ. Да, я Артур Конан Дойль.

Руэл Толкин отдаёт конверт Артуру Конан Дойлю.

ДОЙЛЬ. Похоже на армейскую канцелярию.

ТОЛКИН. Так точно. Полевая канцелярия Верховного Командования Королевских Вооружённых сил.

ДОЙЛЬ (*хватается за сердце*). Что-то мне опять нехорошо.

БЕЛЛ. Если ты не против, я прочитаю.

ДОЙЛЬ. Да, конечно, читай.

БЕЛЛ (*открывает конверт, достаёт извещение и читает*). Чарльз Уортен Дойль, рядовой Ланкаширского пехотного полка, 17.11.1916 года в бою на реке Сомме, в О-де-Франс, был убит. Его тело захоронено в общей могиле на кладбище Сент-Женевьев Де Буа в Париже.

ДОЙЛЬ. Всё?

БЕЛЛ. Всё.

ДОЙЛЬ (*в растерянности*). Это, наверное, какая-то ошибка.

ТОЛКИН. Нет, сер, не ошибка. Чарльз умер у меня на руках.

ДОЙЛЬ. Вы были знакомы?

ТОЛКИН. Да, сер, мы были друзьями.

ДОЙЛЬ. Этого не может быть.

БЕЛЛ. Держись, Артур.

ТОЛКИН. Я знаю, сер, как вам сейчас тяжело. Я видел смерть моих товарищей. Это очень страшно. Но с этим нужно смириться.

ДОЙЛЬ. Я хочу умереть. Где мой револьвер? (*Идёт к столу и достаёт из ящика револьвер.*)

БЕЛЛ. Артур, что ты делаешь? (*Пытается забрать у Артура Конан Дойля револьвер.*)

ДОЙЛЬ (*сопротивляется*). Не мешай.

ТОЛКИН. Это безрассудство, сер.

ДОЙЛЬ. Оставьте меня в покое.

БЕЛЛ (*к Руэлу Толкину*). Держите его.

ДОЙЛЬ. Не подходите. Я буду стрелять. (*Хватается за сердце, теряет сознание.*)

БЕЛЛ (*подхватывает Артура Конан Дойля, к Руэлу Толкину*). Заберите у него револьвер и помогите мне.

ТОЛКИН (*забирает у Артура Конан Дойля револьвер*). Нужно вызвать врача.

БЕЛЛ. Не нужно.

Джозеф Белл и Руэл Толкин укладывают Артура Конан Дойля на диван.

ТОЛКИН. Он может умереть.

БЕЛЛ. Не умрёт. Позовите миссис Хадсон.

Толкин уходит и через какое-то время возвращается с миссис Хадсон.

ХАДСОН (*к Джозефу Беллу*). Вы меня звали?

БЕЛЛ. Возьмите револьвер, спрячьте его где-нибудь подальше. И принесите мне медсаквояж Дойля.

ХАДСОН. Что с Дойлем? Почему он лежит?

БЕЛЛ. Чарльза убили.

ХАДСОН. Как убили? Я этого не переживу.

БЕЛЛ. Возьмите себя в руки.

ХАДСОН. Мой маленький мальчик.

БЕЛЛ. Мне нужен медсаквояж Дойля.

ХАДСОН. Это какое-то недоразумение.

БЕЛЛ. Миссис Хадсон!

ХАДСОН. Что?

БЕЛЛ. Мне нужен медсаквояж Дойля.

ХАДСОН. Сейчас принесу.

БЕЛЛ. И не забудьте спрятать револьвер.

ХАДСОН. Хорошо, спрячу. (*Уходит и через какое-то время возвращается с медсаквояжем Артура Конан Дойля.*) Саквояж, доктор Белл.

БЕЛЛ. Поставьте его на стол.

Миссис Хадсон ставит медсаквояж на стол. Звонок.

ХАДСОН. Звонят, доктор.

БЕЛЛ. Слышу.

ХАДСОН. Я пойду, узнаю, кто пришёл.

БЕЛЛ. Миссис Хадсон, только прошу вас, никого больше не впускайте. Скажите, что Дойль себя плохо чувствует, нет, лучше скажите, что он уже лёг спать. Или придумайте что-нибудь сами.

ХАДСОН. Хорошо, сер. (*Уходит.*)

БЕЛЛ (*вслед*). Только никого не впускайте. Слышите, никого не впускайте. (*Открывает медсаквояж.*)

Явление пятое

Артур Конан Дойль, Джозеф Белл и Руэл Толкин. Входят миссис Хадсон и Эдит Бредт.

ХАДСОН (*к Беллу*). Она не стала меня даже слушать.

ЭДИТ. Сер Артур, с каких это пор вы распорядились не впускать меня в ваш дом?

БЕЛЛ. Это вы, Эдит?

ЭДИТ. А где сер Артур?

БЕЛЛ. Не кричите.

ЭДИТ (*подходит к дивану*). Боже, что с ним?

БЕЛЛ. Не кричите. Дойлю стало плохо, сердечный приступ.

ЭДИТ. Нужно вызвать врача.

БЕЛЛ. Не нужно. Врач уже здесь. Кстати, забыл представить. Это Руэл Толкин — боевой товарищ Чарльза.

ТОЛКИН. А вы невеста Чарльза, Эдит Бредт?

ЭДИТ. Да. Откуда вы знаете?

ТОЛКИН. Чарльз показывал ваше фото.

БЕЛЛ (*даёт Эдит Бредт извещение*). Эдит, прочтите это.

ЭДИТ. Что это? Письмо от Чарльза? (*Берёт извещение, читает, прочитав, теряет сознание.*) Помогите мне.

Руэл Толкин подхватывает Эдит Бредт и усаживает в кресло.

БЕЛЛ. Миссис Хадсон, дайте стакан воды.

Хадсон наливает стакан воды и даёт Эдит Бредт.

ЭДИТ (*выпив воды*). Я думала, что если это произойдёт, я обязательно с собой что-нибудь сделаю. Удивительно, а теперь, когда это случилось, я ничего не чувствую. Только какая-то странная пустота. Внутри меня и снаружи. Будто ничего нет, только одна оболочка.

ХАДСОН. Я могу идти?

БЕЛЛ. Да, конечно, ступайте.

Миссис Хадсон уходит.

ЭДИТ. Я так на него злилась. Я и сей час не могу понять, зачем это ему было нужно. Я так много плакала. Если бы вы знали, как я много плакала. А сейчас хоть бы слезинка.

БЕЛЛ. Поплачьте, Эдит. Станет легче.

ЭДИТ (*истерично*). Я не хочу плакать. К чёрту слёзы.

БЕЛЛ. Я сам любил Чарльза. Но, к сожалению, мы ничего изменить не можем.

ЭДИТ. Сегодня я окончательно убедилась в том, что чудес не бывает. Они только в сказках. Я больше никого не люблю.

БЕЛЛ. Вы так молоды. У вас всё ещё впереди.

ТОЛКИН (*к Джозефу Беллу*). Он очнулся!

ДОЙЛЬ (*открыв глаза*). Как шумит в голове. Где я? Что со мной? (*Пытается встать.*)

БЕЛЛ (*останавливает Артура Конан Дойля*). Лежи и не делай резких движений.

ДОЙЛЬ. Что произошло? Я ничего не помню.

БЕЛЛ. Этот молодой человек принёс извещение о смерти Чарльза. У тебя случился сердечный приступ, ты потерял сознание.

ДОЙЛЬ. Мне уже лучше. (*Садится.*)

ТОЛКИН. Прошу прощения, но мне надо идти.

БЕЛЛ. Да, да. Мы и так задержали вас.

ДОЙЛЬ (*встаёт, к Руэлу Толкину*). Пойдите! Извиняюсь, забыл как вас зовут?

ТОЛКИН. Руэл Толкин, сер.

ДОЙЛЬ. Мне нужно с вами поговорить.

ТОЛКИН. Не могу, я опаздываю на поезд.

ДОЙЛЬ. Отложите отъезд.

ТОЛКИН. Я уже купил билет. Тем более меня будут встречать.

ДОЙЛЬ. Чарльз — всё, что у меня было. Мне нужно с вами поговорить.

ТОЛКИН. Право, даже не знаю, что делать.

ДОЙЛЬ. Перенесите отъезд на завтра.

ТОЛКИН. Тогда мне надо сдать билет и сообщить, чтобы меня не встречали.

ДОЙЛЬ. Вы даже не представляете, что вы для меня сделали.

ТОЛКИН. В таком случае разрешите откланяться.

ЭДИТ. Пожалуй, и я поеду. (*К Руэлу Толкину.*) Если хотите, могу вас подвезти.

ТОЛКИН. Благодарю. Не откажусь.

ДОЙЛЬ (*к Руэлу Толкину*). Завтра утром я вас жду.

ТОЛКИН. Договорились. Завтра утром я к вам заеду.

БЕЛЛ. И я пойду. Время позднее.

ЭДИТ (*к Джозефу Беллу*). Доктор, может, и вас подвезти?

БЕЛЛ. Не нужно, Эдит. Я прогуляюсь.

Эдит Бредт, Джозеф Белл и Руэл Толкин уходят.

Явление шестое

Артур Конан Дойль. Входит миссис Хадсон.

ХАДСОН. Ужинать будете?

ДОЙЛЬ. Что-то аппетит пропал.

Миссис Хадсон плачет. Артур Конан Дойль обнимает миссис Хадсон.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Дом Гарри Бредта, гостиная.

Явление первое

Гарри Бредт и Паркер.

БРЕДТ. Паркер. Я ожидаю детективов из Скотленд-Ярда. Когда они приедут, проведите их ко мне.

ПАРКЕР. Слушаюсь.

БРЕДТ. Прошу вас. Оставьте вы это своё «слушаюсь». Не говорите так.

ПАРКЕР. А как говорить?

БРЕДТ. Не знаю. Только прошу вас, не говорить так больше. А то всё «слушаюсь», да «слушаюсь». Рабство какое-то получается. Перед людьми неудобно.

ПАРКЕР. Хорошо, сер.

Звонок.

БРЕДТ. Вот и детективы.

ПАРКЕР. Пойду, встречу.

БРЕДТ. И ведите их прямо сюда. Я их здесь приму.

ПАРКЕР. Слушаюсь. (*Уходит.*)

БРЕДТ (*вслед Паркеру*). Неисправимый.

Явление второе

Гарри Бредт. Входят Паркер, Грег Лестрейд и Хорнер.

ЛЕСТРЕЙД. Добрый день. Вы, мистер Бредт?

БРЕДТ. Здравствуйте. Да.

ЛЕСТРЕЙД. Гарри Бредт?

БРЕДТ. Совершенно верно, Гарри Бредт. К вашим услугам.

ЛЕСТРЕЙД. Я инспектор Лестрейд. Уголовная полиция. Ско-тленд-Ярд. (*Показывает удостоверение.*) Мне поручено расследова-ние исчезновения вашей дочери. Надеюсь, что в ближайшее время мы выясним все обстоятельства этого дела и найдём вашу дочь. Это мой помощник, констебль Хорнер. Прежде всего, мы хотели бы ос-мотреть личные вещи вашей дочери. Сугубо в интересах следствия. Может быть, удастся найти какую-нибудь подсказку.

БРЕДТ. Что ж.

ЛЕСТРЕЙД. Где её комната?

БРЕДТ. Наверху. (*К Паркеру.*) Паркер. Проведите детективов в комнату Эдит.

ПАРКЕР. Слушаюсь, сер.

БРЕДТ. Паркер. Я же просил вас.

ПАРКЕР. Хорошо, сер.

ЛЕСТРЕЙД (*к Гарри Бредту*). Осмотр произведёт констебль. А я тем временем задам вам несколько вопросов.

БРЕДТ. Что ж. Я готов.

Паркер и Хорнер уходят.

Явление третье

Гарри Бредт и Грег Лестрейд.

БРЕДТ. Хотите что-нибудь выпить? Виски, джин?

ЛЕСТРЕЙД. Благодарю. При исполнении не пью. Итак. Рас-скажите, что вы делали двадцать третьего декабря. В тот день, ко-гда исчезла ваша дочь.

БРЕДТ. Что именно вы хотите услышать?

ЛЕСТРЕЙД. Всё. Начиная с того, как вы проснулись, и вплоть до того, как вы узнали об исчезновении дочери.

БРЕДТ. Проснулся я ровно в восемь. Потом позавтракал, посмотрел свежий номер «Morning Star» и уехал в издательство.

ЛЕСТРЕЙД. В котором часу?

БРЕДТ. Около девяти.

ЛЕСТРЕЙД. А где в это время была ваша дочь?

БРЕДТ. У себя в комнате, спала. Она обычно просыпается к десяти, потому что в одиннадцать у неё занятия.

ЛЕСТРЕЙД. Занятия?

БРЕДТ. Я нанял несколько преподавателей, чтобы подготовить её к поступлению в колледж.

ЛЕСТРЕЙД. Где проходят занятия?

БРЕДТ. Здесь, в библиотеке.

ЛЕСТРЕЙД. Какие уроки были в тот день?

БРЕДТ. В тот день должна была быть латынь.

ЛЕСТРЕЙД. Кто преподаватель?

БРЕДТ. Метью Кааф, профессор Кембриджского университета.

ЛЕСТРЕЙД. Прекрасно. Вы точно знаете, что ваша дочь в то утро была у себя в комнате?

БРЕДТ. Я не проверял. А где она ещё могла быть?

ЛЕСТРЕЙД. Угу.

БРЕДТ. Да и Паркер мне потом рассказывал, что она спустилась завтракать как обычно к десяти.

ЛЕСТРЕЙД. Паркер, ваш слуга?

БРЕДТ. Да. Вы только что его видели.

ЛЕСТРЕЙД. Проворный малый.

БРЕДТ. Ему уже за семьдесят.

ЛЕСТРЕЙД. Ага. Ну и что вы делали дальше?

БРЕДТ. Поехал в издательство. Я владелец небольшого издательства на Годолфин-Стрит. Как раз возле Вестминстерского аббатства. Может, слышали что-то об издательстве «Голден-Гейтс»?

ЛЕСТРЕЙД. Слышал.

БРЕДТ. Там я был до полудня. В полдень я поехал в клуб выпить кофе.

ЛЕСТРЕЙД. В какой клуб?

БРЕДТ. «The Arts Club». На Довер-Стрит. Из клуба где-то во втором часу я поехал в «Дейли Телеграф». И только в шесть вечера вернулся домой.

ЛЕСТРЕЙД. Что дома?

БРЕДТ. Паркер дал мне письма и вечерние газеты.

ЛЕСТРЕЙД. Какие письма?

БРЕДТ. Деловая переписка.

ЛЕСТРЕЙД. Дальше.

БРЕДТ. Я спросил у Паркера, где Эдит. Паркер сказал, что сразу после занятий куда-то уехала и сказала, что вернётся к шести.

ЛЕСТРЕЙД. Но к шести не вернулась?

БРЕДТ. И раньше бывало, что она задерживалась, поэтому я особо не переживал. Но в полночь моё терпение лопнуло, и я позвонил в дежурное отделение полиции. Всё остальное вы знаете и без меня.

ЛЕСТРЕЙД. Да, я ознакомился с рапортом дежурного сержанта.

Явление четвёртое

Гарри Бредт и Грег Лестрейд. Входит Роберт Гилкрист.

ГИЛКРИСТ (*к Гарри Бредту*). Дядя, здравствуйте.

БРЕДТ. Здравствуй, Роберт. Это инспектор Лестрейд, детектив уголовной полиции Скотленд-Ярд.

ГИЛКРИСТ (*к Грегу Лестрейду*). Добрый день.

ЛЕСТРЕЙД (*к Роберту Гилкристу*). Добрый день, молодой человек. (*К Гарри Бредту.*) Это ваш племянник?

БРЕДТ. Да, мой племянник. Его родители погибли в автокатастрофе. Я его опекун до совершеннолетия.

ГИЛКРИСТ. Дядя, инспектору это не интересно.

ЛЕСТРЕЙД (*к Роберту Гилкристу*). Почему же? Мне всё интересно. Если не возражаете, я задам вам несколько вопросов.

ГИЛКРИСТ. А если я не захочу отвечать на ваши вопросы?

ЛЕСТРЕЙД. Тогда я буду вынужден вызвать вас в управление.

ГИЛКРИСТ. Кто-то объяснит, что здесь происходит?

БРЕДТ. Роберт, я в полном отчаянии.

ЛЕСТРЕЙД (*к Роберту Гилкристу*). Ваша кузина, дочь мистера Бредта, Эдит Бредт, исчезла.

ГИЛКРИСТ. Как исчезла?

ЛЕСТРЕЙД. Вышла из дома и не вернулась.

ГИЛКРИСТ. Когда исчезла?

БРЕДТ. Три дня назад.

ЛЕСТРЕЙД. Двадцать третьего декабря. А где вы были в этот день?

ГИЛКРИСТ. В Кембридже.

ЛЕСТРЕЙД. Вы там живёте?

ГИЛКРИСТ. Я учусь в Тринити-колледже. А живу в Лондоне на Монтегью Сквер, в доме моих родителей. Но в тот день меня в Лондоне не было, к сожалению.

ЛЕСТРЕЙД. Почему к сожалению?

ГИЛКРИСТ. Потому что, если бы я был в Лондоне, с Эдит ничего не случилось бы.

ЛЕСТРЕЙД. Значит вам что-то известно?

ГИЛКРИСТ. Мне ничего не известно. Я больше не желаю отвечать на ваши вопросы.

Явление пятое

Гарри Бредт, Грег Лестрейд и Роберт Гилкрисст. Входят Паркер и Хорнер.

ХОРНЕР (к Грегу Лестрейду). Я думаю, это должно вас заинтересовать. (Даёт Грегу Лестрейду конверт.)

ЛЕСТРЕЙД. Что-то нашли? (Берёт у Хорнера конверт.) Письмо? Любопытно. (К Гарри Бредту.) Вы не возражаете?

Гарри Бредт пожимает плечами.

ГИЛКРИСТ. Читать чужие письма — грязное дело.

ЛЕСТРЕЙД. Это моя работа, молодой человек. (Читает письмо. Прочитав.) Кто такой Руэл Толкин?

БРЕДТ. Сослуживец бывшего жениха Эдит.

ЛЕСТРЕЙД. Почему бывшего?

БРЕДТ. Потому что её жених, Чарльз Уортен Дойль, сын того самого знаменитого писателя, Артура Конан Дойля, погиб на войне.

ЛЕСТРЕЙД. Что у этого Толкина было с вашей дочерью?

БРЕДТ. Они пару раз виделись. Но это было связано со смертью Чарльза. Вы думаете, что Толкин имеет какое-то отношение к исчезновению Эдит?

ЛЕСТРЕЙД. Я опираюсь только на факты и вещественные доказательства. Что вы скажете на это? (Даёт Гарри Бредту письмо.)

БРЕДТ (берёт письмо, читает вслух). Дорогая Эдит! Жду вас сегодня на Кенсингтон-роуд, возле антикварной лавки, в четыре часа. Надеюсь, вы приедете. Моя жизнь в ваших руках. Руэл Толкин. 23.12.1916.

ГИЛКРИСТ. Кажется, теперь я начинаю понимать. Этот проходimeц мне с самого начала не понравился. Я видел его один раз здесь, в доме у дяди. И мне он сразу показался подозрительным. Я предупредил об этом Эдит, но она не хотела меня даже слушать. Настолько была увлечена своим новым знакомым.

ЛЕСТРЕЙД. И как вы думаете, что этому Толкину нужно было от Эдит?

ГИЛКРИСТ. Как что? Конечно же, дядины деньги, только деньги. Все вокруг знают, что дядя богат.

БРЕДТ. Что ты такое говоришь, Роберт.

ГИЛКРИСТ. Да, дядя.

ЛЕСТРЕЙД. Хм. Интересная версия. (*Пауза.*) Так, я бы хотел ещё побеседовать с Паркером. (*К Гарри Бредту и Роберту Гилкристу.*) Что ж, разрешите откланяться. Если что-то станет известно, мы вам сообщим. (*К Паркеру.*) Пойдёмте к вам.

Грег Лестрейд, Хорнер и Паркер уходят.

Явление шестое

Гарри Бредт и Роберт Гилкрист.

БРЕДТ. Моё сердце разбито!

ГИЛКРИСТ. Не паникуйте, дядя.

БРЕДТ. Моя маленькая девочка!

ГИЛКРИСТ. Инспектор Лестрейд — опытный сыщик. Он обязательно найдёт Эдита.

БРЕДТ. Каким же подлецом оказался этот Толкин!

ГИЛКРИСТ. Дядя, вам надо принять успокоительное.

БРЕДТ. Оставь, всё равно не поможет.

ГИЛКРИСТ. Держите себя в руках, дядя. Вообще-то я приехал вам сообщить, что через три дня уезжаю в Европу.

БРЕДТ. Что? Ты хочешь оставить меня в такую минуту?

ГИЛКРИСТ. Не отговаривайте, дядя. Всё решено. Билеты уже куплены.

БРЕДТ. Как надолго ты уезжаешь?

ГИЛКРИСТ. Не знаю. Может быть, и навсегда.

БРЕДТ. Ты хочешь окончательно разбить моё сердце. Две потери я не переживу.

ГИЛКРИСТ. Всё будет хорошо, дядя. Эдит обязательно найдут.

БРЕДТ. А ты?

ГИЛКРИСТ. Не знаю, дядя.

БРЕДТ. А как же колледж? Как твоя учёба?

ГИЛКРИСТ. Я бросил колледж.

БРЕДТ. Мы больше никогда не увидимся?

ГИЛКРИСТ. Может быть и так.

БРЕДТ. Хоть весточку какую-нибудь пришли.

ГИЛКРИСТ. Я обещаю написать вам, дядя.

БРЕДТ. Напиши обязательно. Я должен знать, что у тебя всё в порядке.

ГИЛКРИСТ. Хорошо. Обязательно напишу.

БРЕДТ. А, может, ты ещё передумашь?

ГИЛКРИСТ. Нет, дядя. Всё уже решено.

БРЕДТ. Что ж.

ГИЛКРИСТ. Ладно, мне пора. Давайте обнимемся. Может, никогда уже и не увидимся.

Гарри Бредт и Роберт Гилкрест обнимаются.

ГИЛКРИСТ. Прощайте, дядя.

БРЕДТ. Прощай, Роберт.

Роберт Гилкрест уходит. Гарри Бредт остаётся один.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Дом Джозефа Белла, гостиная.

Явление первое

Джозеф Белл сидит и читает книгу. Звонок. Входят Руэл Толкин и Болтер.

БЕЛЛ (*к Руэлу Толкину*). Где вас носило? Я уже начал переживать. Болтер, проверьте двери и ставни.

БОЛТЕР. Уже сделано, сер.

ТОЛКИН. Я два часа простоял под проливным дождём. Мне показалось, что за вашим домом следят.

БЕЛЛ. Кто?

ТОЛКИН. Люди вашего друга, Лестрейда.

БЕЛЛ. Напрасно вы мокли. Лестрейд не настолько проницателен. Его ищейки сейчас прочёсывают подворотни Смитфилда. Сюда они и не подумают заглянуть. (*Наливает в стакан виски и даёт Руэлу Толкину.*) Выпейте. Вам нужно сменить одежду и согреться. Садитесь поближе к камину. Болтер. Принесите что-нибудь из моей одежды для мистера Толкина. И разогрейте ужин. (*К Руэлу Толкину.*) Вы наверняка сегодня не ели.

ТОЛКИН. Да. Я бы не отказался поесть.

БОЛТЕР. Сейчас всё сделаю. (*Уходит.*)

ТОЛКИН. Я выследил Гилкреста.

БЕЛЛ. Он вас видел?

ТОЛКИН. Нет. Я знаю, где он держит Эдит.

БЕЛЛ. Где?

ТОЛКИН. В Чертси. В заброшенном доме, под мостом.

БЕЛЛ. Вы уверены, что она там?

ТОЛКИН. Я видел Эдит собственными глазами.

БЕЛЛ. Сколько человек её охраняет?

ТОЛКИН. Двое.

Б Е Л Л. И наверняка вооружены.

ТОЛКИН. Оружия я у них не заметил. Но скорее всего, вооружены.

Б Е Л Л. Логично.

ТОЛКИН. Я еле сдержал себя, чтобы не ворваться туда и не освободить Эдит.

Б Е Л Л. Хорошо, что не сделали этого. Неизвестно, чем всё могло бы закончиться.

Входит Болтер с одеждой и ужином на подносе.

Б Е Л Л (*к Руэлу Толкину*). Переоденьтесь.

Болтер уходит.

ТОЛКИН (*переодевается*). Благодарю. Вы не хотите позвонить Лестрейду и сообщить, что мы нашли Эдит?

Б Е Л Л. Нет.

ТОЛКИН. Почему? Ведь Эдит нуждается в помощи.

Б Е Л Л. Действовать нужно обдуманно и осторожно. Преступник должен быть пойман и наказан. А Гилкрист не так прост, как кажется. Мы устроим ему западню. Заманим его в ловушку. Садитесь, ешьте, а то остынет.

ТОЛКИН (*садится за стол и ест*). Я поражаюсь вашему спокойствию. И вообще, как вам удалось разгадать эту загадку?

Б Е Л Л. Тайны и загадки — моё хобби. Я люблю распутывать всякие запутанные случаи. Поэтому Лестрейд часто обращается ко мне за советами.

ТОЛКИН. Вы давно знаете мистера Дойля?

Б Е Л Л. С Дойлем меня связывают долгие годы дружбы. Он был моим студентом в Эдинбургском университете. Вы спросили, как мне удалось разгадать эту загадку? Элементарно. Прежде всего, мне помог мой друг Лестрейд. Благодаря ему у меня в руках оказалась та роковая записка, которую нашли в комнате Эдит. Я сделал собственную экспертизу почерка, и оказалось, что это не ваш почерк, а очень искусная подделка. Мне не составило труда отыскать исполнителя. Ведь на весь Лондон мастеров такого класса раз два и обчёлся. Он не захотел иметь дело с полицией. И поэтому я с лёгкостью получил информацию о заказчике. Но у Гилкриста было железное алиби. И поэтому нам ничего не оставалось, как просто выследить его. И теперь взять с поличным на месте преступления. Только так мы сможем доказать его вину и вашу невиновность.

Звонок.

ТОЛКИН. Кто бы это мог быть! Полиция?!

БЕЛЛ. Успокойтесь.

Входит Болтер.

БОЛТЕР. Мистер Лестрейд. Впустить?

БЕЛЛ. Пусть войдёт.

Болтер уходит.

ТОЛКИН. А я?

БЕЛЛ. Вы? Прячьтесь в заднюю комнату.

Руэл Толкин забирает свою одежду и уходит.

Явление второе

Джозеф Белл. Входят Грег Лестрейд и Болтер.

БЕЛЛ (*к Грегу Лестрейду*). Что так поздно?

ЛЕСТРЕЙД. Решил провести старого приятеля.

БЕЛЛ (*к Болтеру*). Заберите это. (*Болтер берёт поднос с ужином и уходит. К Лестрейду.*) Ну, как? Поймали Толкина?

ЛЕСТРЕЙД. Не поймали. Но скоро поймает. Я обложил его, как загнанного зверя. Мои люди везде: на вокзалах, на дорогах, в портах. Ему некуда бежать. Все выходы и входы перекрыты.

БЕЛЛ. Я думаю, что Толкин невиновен.

ЛЕСТРЕЙД. Ты ошибаешься.

БЕЛЛ. Ты же знаешь, я никогда не ошибаюсь. Если я говорю, что он невиновен, то у меня на это есть веские основания.

ЛЕСТРЕЙД. Если он невиновен, то почему не придёт ко мне и не докажет свою невиновность? Где он?

БЕЛЛ. Не знаю. Вероятно, где-то скрывается.

ЛЕСТРЕЙД. А раз скрывается, то значит чего-то боится.

БЕЛЛ. Ты же знаешь, что все улики против него.

ЛЕСТРЕЙД. На уликах зиждется справедливое правосудие.

БЕЛЛ. Почему ты не хочешь допустить, что Толкин невиновен и преступление совершил другой?

ЛЕСТРЕЙД. Кто?

БЕЛЛ. Гилкрест.

ЛЕСТРЕЙД. Вздор. У него нет мотивов.

БЕЛЛ. Хорошо. А какие мотивы у Толкина?

ЛЕСТРЕЙД. Деньги.

БЕЛЛ. А, по-моему, у Гилкреста более основательные мотивы. Отверженная любовь и ущемлённое самолюбие.

ЛЕСТРЕЙД. Ещё больший вздор.

БЕЛЛ. Тогда почему он собирается уехать в Европу? Может, он просто замечает следы?

ЛЕСТРЕЙД. Снова вздор.

БЕЛЛ. Ладно, оставим этот бессмысленный спор. Давай лучше выпьем по чашечке кофе.

ЛЕСТРЕЙД. Вот это отличная идея.

БЕЛЛ. Болтер. (*Входит Болтер.*) Сделайте нам кофе. (*Болтер уходит. К Грегу Лестрейду.*) Так когда, ты говоришь, Гилкрест собирается уехать в Европу?

ЛЕСТРЕЙД. Сегодня ночью. Паромом из Дувра.

БЕЛЛ. Сегодня ночью? Почему ты мне об этом раньше не сказал?

ЛЕСТРЕЙД. Это имеет какое-то значение?

БЕЛЛ. Никакого. Что-то мне нехорошо. Пойду прилягу.

ЛЕСТРЕЙД. А как же кофе?

БЕЛЛ. В следующий раз. Болтер. (*Входит Болтер с подносом, с кофейным набором. К Болтеру.*) Мистер Лестрейд уходит. Проводите его.

Болтер и Грег Лестрейд уходят.

Явление третье

Джозеф Белл. Входит Руэл Толкин.

БЕЛЛ. Вы всё слышали? Больше медлить нельзя.

ТОЛКИН. Я еду в Чертси.

БЕЛЛ. Возьмите мой экипаж. Болтер поедет с вами. Болтер! (*Входит Болтер. К Болтеру.*) Собирайтесь, вы поедете с мистером Толкиным. (*Достаёт из стола ящик.*) Возьмите револьверы.

БОЛТЕР. Я никогда не держал в руках оружие.

ТОЛКИН (*к Болтеру*). Пойдёмте. Я вас научу.

Руэл Толкин и Болтер уходят.

БЕЛЛ. Давно я не играл на скрипке. (*Достает скрипку, настраивает, играет. Звонок.*) Что за сумасшедший вечер. (*Уходит.*)

Явление четвёртое

Входят Джозеф Белл, Артур Конан Дойль, Алексей Толстой и Николай Корнейчуков.

ДОЙЛЬ (*к Джозефу Беллу*). Знакомься. Мои новые друзья, русские литераторы. Алексей Толстой и Николай Корнейчуков.

БЕЛЛ (к Алексею Толстому). Вы, случайно, не родственник того самого знаменитого Льва Толстого?

ТОЛСТОЙ. Нет. Мы с ним однофамильцы. Зато моя мать внучка Ивана Тургенева.

ДОЙЛЬ (к Джозефу Беллу). А Николай — детский писатель.

КОРНЕЙЧУКОВ. У меня, к сожалению, знаменитых родственников нет. Я и родителей своих толком-то не помню.

БЕЛЛ. У вас чудесное произношение. Где вы учили английский?

КОРНЕЙЧУКОВ. Возможности учиться в школе у меня не было, поэтому и английский, и французский я учил самостоятельно.

БЕЛЛ. Удивительно.

ДОЙЛЬ (к Алексею Толстому и Николаю Корнейчукову). Джентльмены! А теперь я хочу вам представить этого человека. (Указывая на Джозефа Белла.) Мой учитель, старинный друг, профессор Эдинбургского университета, главный хирург королевской лечебницы в Эдинбурге, Джозеф Белл. Перед вами живой Шерлок Холмс. Человек, который послужил прототипом моему литературному герою.

БЕЛЛ. Я не отрицаю сходства. Методика Шерлока Холмса чем-то похожа на мою. Но я бы не сказал, что только я был его прототипом. У Шерлока Холмса много качеств и самого Дойля.

ДОЙЛЬ (к Джозефу Беллу). Представляешь, Алексей и Николай оказались большими поклонниками моего творчества. Они говорят, что в России мои рассказы очень популярны.

КОРНЕЙЧУКОВ (к Артуру Конан Дойлю). Вы даже не представляете, насколько они популярны. А ещё они очень познавательны и поучительны. У меня есть идея ваши рассказы ассимилировать для детской аудитории. Мне кажется, для детей они будут не менее интересны.

ДОЙЛЬ. А что, это неплохая идея. Признаться, я никогда не думал об этом.

БЕЛЛ. Мне кажется, из этого ничего толкового не получится. Его рассказы слишком уж заумны и сложны для детского восприятия.

ТОЛСТОЙ. А я думаю, что в этом всё-таки есть определённый смысл. Я вот, например, по настоянию Коли некоторые из своих рассказов переписал для детей. И теперь нахожу, что детские варианты намного интересней взрослых.

КОРНЕЙЧУКОВ. Я уверен, что искусство рано или поздно изменит этот мир к лучшему.

БЕЛЛ. Ой, что-то я в этом очень сильно сомневаюсь. (Звонок.) Прошу прощения. (Уходит.)

ТОЛСТОЙ (к Артуру Конан Дойлю). Когда я читал ваши книги, я и подумать не мог, что когда-нибудь встречу и вот так вот запросто смогу разговаривать со знаменитейшим писателем современности.

Явление пятое

Артур Конан Дойль, Алексей Толстой и Николай Корнейчуков. Входят Джозеф Белл, Руэл Толкин, Роберт Гилкрест со связанными руками, Эдит Бредт и Болтер.

ТОЛКИН. Здравствуйте, мистер Дойль! Вы как нельзя кстати.

ДОЙЛЬ. Руэл? Вас ищет полиция. И у вас кровь на щеке.

ТОЛКИН. Должно быть, оцарапался.

ДОЙЛЬ. Эдит, дитя моё. Где ты была? Что с тобой сделали? (Обнимает Эдит Бредт. Эдит Бредт плачет.)

ТОЛКИН. Мистер Дойль, вам знаком этот человек? (Указывает на Роберта Гилкреста.)

ДОЙЛЬ. Конечно, знаком. Это Роберт Гилкрест.

ТОЛКИН. Так вот, чтобы вы знали, и все, кто здесь находится, что Роберт Гилкрест — отъявленный негодяй, беспринципный клеветник и подлый похититель.

ДОЙЛЬ. Что вы такое говорите?

ГИЛКРИСТ (к Руэлу Толкину). Щенок, ты мне за это ответишь.

ТОЛКИН. Руководствуясь хищническими инстинктами, он похитил Эдит Бредт и пытался принудить её к рабской покорности и сожительству.

ДОЙЛЬ. Не может быть.

БЕЛЛ (к Артуру Конан Дойлю). Может, Артур.

ГИЛКРИСТ. Развяжите мне руки.

ТОЛКИН. И только благодаря доктору Беллу нам удалось отыскать Эдит и схватить преступника. Как вы думаете, чего заслуживает такой человек?

БЕЛЛ. Не нам судить его.

ДОЙЛЬ. Это какое-то чудовищное недоразумение.

ГИЛКРИСТ. Прекратите самосуд. И вызовите полицию.

ТОЛКИН (к Роберту Гилкресту). Полицию? Не спеши. Отдать тебя в руки полиции будет слишком гуманно.

ГИЛКРИСТ. Не слушайте его. Он сумасшедший.

БЕЛЛ (к Руэлу Толкину). Руэл, возьмите себя в руки.

ТОЛКИН. Таких, как Гилкрест, на войне расстреливают.

БЕЛЛ. Мы не на войне.

ДОЙЛЬ. Сперва нужно во всём разобраться.

ГИЛКРИСТ. Что же вы стоите, сложа руки? Он собирается меня убить.

ТОЛКИН (к Роберту Гилкресту). Гилкрест, ты подлец и негодяй, ты посягал на честь Эдит Бредт. Я вызываю тебя на дуэль. Драться будем сейчас же, сию минуту. Другого выхода у тебя нет. Если победишь, ты свободен.

ГИЛКРИСТ. На чём же ты собираешься драться? На утюгах? Или на стиральных досках?

ТОЛКИН. Нет. На рапирах. У доктора Белла в кабинете на стене висят неплохие рапиры. (*К Болтеру.*) Болтер, принесите две рапиры.

Болтер уходит.

ГИЛКРИСТ (*к Руэлу Толкину*). Ты хорошо подумал? Я чемпион колледжа по фехтованию.

ДОЙЛЬ. Руэл, это противозаконно.

БЕЛЛ. Я запрещаю устраивать в моём доме дуэли.

ГИЛКРИСТ (*к Руэлу Толкину*). Я проткну тебя насквозь, как котлету.

ТОЛКИН (*к Роберту Гилкриту*). Драться будем без правил. До смерти.

ГИЛКРИСТ. Попрощайся с жизнью.

Входит Болтер с рапирами.

БОЛТЕР. Рапиры. (*Отдаёт Руэлу Толкину рапиры.*)

ТОЛКИН (*берёт рапиры, к Болтеру*). Развяжите ему руки.

Болтер развязывает Роберту Гилкриту руки.

ГИЛКРИСТ (*потирая руки, к Руэлу Толкину*). Дорого же ты за это заплатишь.

ТОЛКИН (*бросает рапиру Роберту Гилкриту*). Начинаем по сигналу Болтера.

БОЛТЕР (*хлопает в ладоши*). Начали!

Руэл Толкин и Роберт Гилкрист начинают фехтовать.

ГИЛКРИСТ (*к Руэлу Толкину*). Ты даже знаешь, как держать рапиру? Похвально. (*Наносит серию ударов.*) А что ты скажешь на это? (*Руэл Толкин отражает удары.*) Неплохо. (*Наносит опасный удар.*) А как тебе такой удар? (*Наносит следующие удары.*) А такой? А такой? А такой? (*Руэл Толкин отражает все удары Роберта Гилкрита.*) Кто тебя учил фехтовать?

ТОЛКИН. Мой опекун, отец Морган.

ГИЛКРИСТ. Видно, плохо он тебя учил. (*Выбивает у Руэла Толкина рапиру.*) А теперь моли о пощаде. Может, я тебя не убью. А, может, и убью.

Болтер бросает выбитую рапиру Руэлу Толкину.

ТОЛКИН (*ловит рапиру*). Не торопись. (*Искусным движением ломает рапиру Роберту Гилкриту и замахивается для нанесения смертельного удара.*)

ГИЛКРИСТ (*падает*). Боже мой. Я безоружен. Ты убьёшь безоружного человека? Это не честно. Я не хочу умирать. Я ещё молод. Я хочу жить. Не убивай.

ЭДИТ (*к Руэлу Толкину*). Руэл! Смилюйтесь над ним. Ради меня. Прошу. Не убивайте его. Пусть он живёт.

ТОЛКИН (*к Роберту Гилкриту*). Кайся! Перед Эдит, перед всеми нами. Перед Господом Богом. Кайся! И проси прощения!

ГИЛКРИСТ. Как?

ТОЛКИН. Как умеешь.

ГИЛКРИСТ. Простите. Чёрт побери. Прости, Эдит. Я не ду- мал, что всё так далеко зайдёт. Я не хочу умирать.

ЭДИТ (*к Роберту Гилкриту*). Ты мне противен! (*К Руэлу Толкину*.) Я не хочу его больше видеть. Уберите его. Прошу вас.

ТОЛКИН (*к Роберту Гилкриту*). Вставай.

ГИЛКРИСТ (*встаёт*). Что вы собираетесь со мной сделать? Не убивайте.

ТОЛКИН. Что, не хочешь умирать?

ГИЛКРИСТ. Не хочу.

ТОЛКИН. Страшно?

ГИЛКРИСТ. Да, страшно.

ТОЛКИН. Ты свободен. Убирайся.

ГИЛКРИСТ. Куда?

ТОЛКИН. Куда хочешь. Подальше отсюда. Завтра доктор Белл позвонит в полицию, и тебя объявят в розыск. Ты меня понял?

ГИЛКРИСТ. Понял.

ТОЛКИН. Тогда убирайся. И скажи спасибо Эдит. Если бы не она, я бы тебя убил. (*К Болтеру*.) Болтер, выведите его.

Болтер и Роберт Гилкрисст выходят.

БЕЛЛ. Зачем вы его отпустили? Он же преступник. Его следо- вало передать в руки полиции. Преступник должен быть наказан.

ТОЛКИН. Он сам себя наказал. Он лишил себя всего: денег, положения, чести, семьи, Родины. По-вашему есть более жестокое наказание?

ДОЙЛЬ. У меня в голове не укладывается. Гилкрисст преступник.

КОРНЕЙЧУКОВ (*к Руэлу Толкину*). Позвольте позжать вам руку.

ТОЛКИН. Я сделал то, что сделал бы любой из вас на моём месте.

ТОЛСТОЙ (*к Руэлу Толкину*). Вы молодчина.

ЭДИТ. Мне плохо, отвезите меня домой.

ДОЙЛЬ (*к Эдит Бредт*). Эдит, моя коляска к твоим услугам.

ТОЛКИН (*к Эдит Бредт*). Я помогу вам.

БЕЛЛ. И слава Богу, что всё благополучно закончилось.



Ігор КУРИЛІВ

/ Київ /

...Поет із власною манерою ословлювати свої думки і почуття, стани і рефлексії — образно, але без ретуші, лакування і фальші та будь якої імітації. Присутня прихована сентиментальність. Відсутнє приховане самозамилування. Присутня самобезжальність — риса рідкісна. Справді рідкісна, якщо ненарочита. Бо допускає можливість прозріння. Навіть гіркого. Поетична мова лапідарна, алегорична, багатозначна. Драматизм висловленого незаперечний. Автор одразу знайшов свій стильовий лад...

Василь Герасим'юк

лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка

* * *

Німий крик спогадів
до сивої землі примерз
не вилюбити вже того
чого колись недолюбив
живу як день
котрий прийшов і відійшов
і дякую душі за те
що всіх образ не пам'ятає

* * *

Мить незбагненна
у летючості своїй
в ній повнота безмежна
й невичерпність світу
скоряє Часу атоми
хоч і без виміру вони
а люд як сточений
в потугах перед нею

* * *

Не хоч гулити минуле
роки здиміють в забуття
якби мене не розпинали
не став би вільним я

* * *

Чи довго ще отак стриміти
нам в розчепіреному світі
чи десь на сьомім небі
ще почує нас Всесильний
бідочимось в непрòгляді
якої вже аж надмір
бо все не дійдуть розуму
загумінкові патріоти

* * *

Розлоге поле як акорд
мінорної сонати
дерева струхують
вчорашній снігопад
сидить на гілочці пташина
крильця вичищає
мабуть що вписана й вона
в лічильну книгу Господа

* * *

Не треба слів лестивих
на порозі чолобитнім
коли підступно
поглинає вже знемога
і ти обтяжений докорами
стоїш мов злидар в ошуканстві
настирно Господу
ув очі зазираєш
бо знаєш що спокути коло
ще не завершилось для тебе

* * *

Ідуть на спадень дні
і вік мій одлітає
збуденнів я
обтяжуючи всіх
дивлюсь що навіть смерть
уже не так вражає
бо ця земля для нас
лиш вигнання
куди себе вписати
зі своїм мовчанням

* * *

І де той час
коли я ще
стояв у світа на порозі
коли мені на все
отворювались очі
я ніби й знав свій шлях
лише не знав чи ним піду
тому і закрути життєві
перевідували часто
і хто тепер мене осудить
за ту симфонію кипіння
все залишилось за розлогим
галицьким горбом

* * *

Відринув дощ
замерехтіли зорі
листок з краплями важкими
впав безпорадно на дорогу
жаль чотарю небесному
дрібку зеленої душі
розтопчуть її люди
в сточищі ранковім
але й по них зостанеться
лише дорога що від хати

* * *

Вчепилась нота
в голові засіла
немов жива вода
у вуха наливалась
у тайнодійстві мелосу
набрала висоту
і стала моїм «вірую»
аж до основи серця

* * *

Коли життям володарює розум
світ отвором стає перед очима
можливо камінь
об який спіткнувся я
то галактичний посланець

Великим Всесвітом уякорений тут
обличчя карбами пошрамлене
під землю не ховає
мов стражник ревно береже
рахманів віковічні первні
в них посилення рятівне
людському роду на дозріння
вдихніть у себе Слово
осягніте Небо
щоб бути зрячими
в задушші осуду сліпих

* * *

Краще забутим бути
ніж розтанути
в брехливім поголоску
чи у обрамленні неслави

* * *

Нема питань у мене
до майбутнього
підє на розствір все
що так життя труїло
папір пожовкне
не пожовкнуть лиш слова
що слугували мені в чистості
а не у густості привабній

* * *

Холодні тумани
на лавищах чорних
ронили важку сльозу

* * *

Кровавий московите
нащо стверджуєш мені
що навіть сонце
в твоїм небі пахне
а чи розкаєшся колись
в своїх діяннях понад міру
чи так і мовчкуватимеш
по світу лихо несучи
та сколихнуть й тебе колись
ієрихонські труби

* * *

Що уявляють собі люди
коли говорять
ми зустрінемося Там

* * *

Коли з природою говориш
то й мова ще ріднішою стає
скільки тих русел пересохло
щоби велике у малім узріти
отавами росистими пройтися босоніж
пожадливо нарвати смаковитих морвів
дослухатись як шепелявить дощ
і у калюжі інколи побачити зорю

* * *

В мені уже попоралась
кровавомутна гіркість
але розсудкові покірний
шукаю крихту мудроти
бо в пристрастях земних
затаєна догідлива двоїстість
продажність кучерявого Іуди
і торжествуючий абсурд

* * *

Тому пошле Всевишній світло
хто вміє посміхатися піймї
бо кожна жертва
то до сходження щабель

* * *

Немов поліно білий день
в каміні заходу згорів
і вечір влігся біля ніг
як пес улесливо-покірний
якась утаємниченість
запанувала над свідомістю
мабуть щось заховалось
поза межами слів

* * *

Гірчить так давко у душі
наше взаємне уникання
але ж було збезумнення
без дна і без країв
та хтось порізав долю
на маленькі дольки
і подалися у світи
наші несправджені надії

* * *

Човен не хвилі мов колиска
побіля берега гойдається
тремтлива тиша бабиного літа
обряджена в посріблену вуаль
роззолотило сонце день
і я в замріянні увесь
милуюся як дрібушить пообіч
шукаючи харчунку їжачок

* * *

Гвалтує тишу ночі
сович-витріщак
кричить так моторошно
аж млоїть під серцем
чи не мені його наслання
скоряє в думці острах
і лиш тихцем собі шепочу
miserere¹

* * *

Як спутаний на самопасі кінь
басаманований дощами
трусивсь від холоду не я
трусилась моя пам'ять
а осінь зграї листя гнала
дорогою у смерклий вечір
де той кінець дороги
навіть птах не знав

¹ Помилуй.

* * *

Наповнив пòгар п'ю вино
кров ягід виноградних
якась таємна неочищеність
хапається з-підтиха
а ніч вся чорна
мов вдова в жалобі
з ікони дивиться на мене
старовинний Бог
поволі каламутніє свідомість
в густому унісоні тиші
вже не змагаюся зі світом
який у тому глузд

* * *

В безодні хаотичних вирів
усе святе пішло на псярство
немає радування тихого в душі
замало навіть ревного моління
розпочалася ера згуболюдства
вселенське нищення Основ
такого я собі не забагав
і не такою була воля Божа

* * *

Який це втомний шлях
коли самонаповнення нема
дожився я до світа
що на крові
ще один день прискіпався
як цуценячий підкидьок
і ні піщинки новизни
аж до задухи в грудях

* * *

Курились димниці туманів
загарбали пів-світа
фантазмагорія небесна
допікала до живого
як той гриб з моху
визирав я на світ Божий
де рать заблудлих байстрюків
на землю сипала прокльони

а у соборах хрест Спасителя
немов набуток власний продавали
та Бог не месник
вплотить прихід онòвчий
на то і випада роса
щоби зів'ялі квіти оживити

* * *

Волокна нервів переплетені
і скручені у вузол
холодні леза протиріч
схрестились ненависно
здрігаюся в тривозі
самосудними ночами
невже в бедламі світовому
нікому буде і скорбіти

* * *

Колись гріхи століть
дійдуть своєї згуби
діра у Вічності
обернеться на ніч
і ми причалимо
до пристані безмов'я
де стануть праведні по праву
по ліву руку стануть грішні

* * *

Цей прамагічний світ
немов вистава уві сні
з драбини неба місяць зліз
купає голову в ріці
і кінь на пагорбі високому
цілується з вечірньою зорею
сам Бог спустивсь на землю
щоб її благословити
та як укласти все в слова
нема в безмежності межі



Саша НОВИКОВ

/ Киев /

КАПЛИ

Сегодня внутри меня было так тихо, что я наконец-то услышал эти капли. Кап... Кап... Мне о них говорили, но так чтобы столкнуться лично, не было никогда. Я очень внимательно прислушался, и там, в вихрях мироздания, в тишине пещер разума — опять шумно, как бы я ни старался, ничего не получалось. Черт побери, в чем секрет, где тайна этих капель мудрости или знания? Ничего не помогало, я решил добраться до источника, лона или первопричины звука этих капель. Но нужно найти вход. Решено. Я подумал просто подняться на лифте, света не оказалось, провода перегорели, и я пошел пешком... Серпантин разума оказался более крутым, чем мои способности передвигаться, и я остановился. Пришлось присесть и даже не шевелить губами, как бы ни хотелось заговорить, надо было молчать. И от молчания лопались окна. Тогда я выбрался и пошел по трубам. Трубы горели. Добравшись до чердака, нужно было завинтить гайки, чтобы его не сорвало, естественно, вместе со мной, а сквозило жутко. Манипуляции выполнены. Между шифером щель. Я заглядываю — и что же вижу? Вот-вот, как я и думал, у меня крыша протекает, нечего, пусть течет, зато не душно.

ТАРЕЛКА СУПА

Вот сидим мы за столом, смотрю: тарелка супа-борща, *часнычина*, на черном хлебе сало и луковица рядом. Левая рука с нестриженными ногтями, пусть им будет стыдно, капли на столе блесят, как глаза заговорщика. Правая рука держит ложку — трясётся. Золотые кружки (жир) дёргаются туда-сюда, кажется, что они нервничают. Зубы крепко сжал, языком пытаюсь поправить, чтобы было ровно, но челюсть косит. Мысли заклинивает где-то в районе межбровья. Во рту этот недовольный привкус. Удар. Рука, не дрогнув, как у самурая, ложкой нанесла сокрушительный удар по

стола, от ударной волны все это время балаболившая супруга слетела со стула и, пролетев метра два, вылетела в окно, и ее унес закат, так как мы разлюбили друг друга. Удачи тебе, закат.

ЛАМПА АЛАДДИНА

Комната. Две кровати. На одной лежит человек. На кровати у ног стоит настольная лампа. Ноги указывают на окно. Окно открывает проход для ночи. Густой, влажной и свежей. Справа от окна стоит маленький турецкий столик на низких ножках с резьбой. На столе стоит тяжёлая, граненая, стеклянная пепельница, в ней конфеты, рядом зелёная квадратная бутылка, без этикетки, на краю справа красуется боком волшебная лампа, медная, с гравированными этюдами из восточных сказок, где колдун из-под рукава достает огромного каменного исполина с изумрудными глазами и рубиновым сердцем, где черноволосая белолицая красавица томится прикованная в башне с ледяным шпилем. Там, где жаркое солнце высушивает землю и даже змеи берегут животы. Носик у лампы, изогнутый лебединой шеей, заперт пробочкой на цепочке, тянувшейся до крышечки без ручки, — закрывающей лампу. Смотря в окно, человек боялся ночи, того, что она в себе хранит. Тайна, интересовавшая человека, не давала спать уже очень много дней. Он все смотрел на лампу, постучит ли кто с той стороны. Дымка тумана устало переползла в комнату и мягко расстелилась по полу, вырисовывая сказочные сюжеты и разворачивая истории давно минувших дней... Тук-тук-тук.

НА НАБЕРЕЖНОЙ

Сегодня встретил человека, чертовски непривлекательного старика с орлиным носом, с волосами, словно куры разнесли солому — чтоб им! — в коротких джинсовых шортах, тенниске, белых носках и кедах. На носу черной воробьиной, словно на ветке, расположились очки. Дед курил папироски, жевал жвачку и возбуждённо жестикулировал, причем с самим собой. Мимо старика проходила дама, ухоженная, в обтягивающем платье и шляпе. Я отошел взять фрукт, слышу: старое падло засвистело и заулюлюкало, я выглядываю в окно — оно, причмокивая губами и делая жест пальцами — так, как подзывают собаку, кадрит дамочку. Дама развернулась, с добротой душевной прочесала горло и как харкнула прямо в очки деду. Это было не ожидаемо, я отбросил в сторону плод граната, так что он оставил на бледной плитке кровавый след, и начал наблюдать, как старик повалил на землю дамочку, так что туфельки вылетели через ограждение на набережной, но сам споткнулся на голом месте и упал носом в пол. Я подобрал свой гранат и по рукам потек красный сок.

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ КРУКС

Как-то один человек шел по мостовой и нашел железную монету. Попробовав на зуб, пощупав, прищурясь, поглядел так да этак и выкинул ее в реку. В это время под мостом сидела лягушка. Испугавшись плюхнувшейся монеты, нырнула вглубь, оставив круги на воде. Человек, который выбросил монету, был посыльный Иван Николаевич Крукс, мужчина с уже лысеющей головой и задранным кверху носом. На нем были коричневые туфли, потёртые временем, старый пиджак с кожаными накладками на локти и шерстяные брюки. Походка у него была как всегда бодра и весела. Иван Николаевич решил по дороге зайти в рюмочную, из которой пахло пельменями и пьяницами-дружками, которые били баклуши, попивая портвейн, и обсуждали последние новости, гремевшие на всю деревню. Николай Иванович по старинке, замечу, каждый четверг, а сегодня был именно он, любил выпивать сто водки с перцем и задумываться о своём. Но сегодня мысли были тревожны, ведь в село приезжает сам граф, который и был изображен на монете. Все нелюди, прихорошившись с утра пораньше, были уже пьяны и навеселе. Но Николай не любил графа, так как знал, что тот живет в болоте, никакого уважения к таким.

МУХА

Он заметил, как справа налево, неистово жужжа, мимо его глаз пролетела муха. Выписав немыслимый маневр, пикировала в старинный бабушкин комод, передававшийся уже пять поколений по наследству. Упала, издала последнее жужжание и упокоилась.

— Блядь, а её то за что?!

И тут же он стремительно вонзил вилку в последний пельмень, весь в масле и давно остывший. Пережевав, победно чавкая, решил: да, чёрный перец уже не тот, а кто остался прежним, кто? При этой мысли что-то такое, давно забытое, из далекого детства, появилось у него в голове. Немного призадумавшись и почесав щетину, доковыривая кусочки теста на тарелке, понял, что подсушило. Встав из-за стола, огляделся и решил напиться водицы. Дрейфующим шагом ноги повели за калитку через дорогу. Рука устало крутилась вместе с ведром, местами приходилось поправлять цепь огромными в морщинках руками, когда заветное ведро прибыло на поверхность, губы зашевелились, и процесс пошёл. Вода волнами накатывала в рот, размягчая пересохшие щеки и открывая стеклом стоявшие глаза. Пришло понимание, что волосы на щеках, торчавшие, как школьники у женской бани, начали приносить дискомфорт. Вернувшись домой и достав из потертой временем *шуфляды* опасную бритву, призамыслился, о чем между собой обсуждают бабы, когда сидят в парилке и потеют. Но мысли враз покинули его го-

лову, когда за дверью послышался звук, напоминающий крушение корабля, ударившегося об скалы. Бритва застыла в ледяной хватке руки и угрожающе откидывала солнечные зайчики то на дверь, то на стену. Он расставил ноги пошире, позиция обороны была принята.

СУЛТАН ПАВЛОВИЧ

Сергей Павлович разбудил меня своим неожиданным появлением, вошел в комнату, шаркая тапочками из верблюжьей кожи, я в миг проснулся, медленно вытащил нос из-под одеяла, учуял смесь этих странных масел, которыми ни свет ни заря Сергей Павлович успел намазать волосы, расплывив глаза, увидел восточного торговца из сказок, которые мне читала бабуля в детстве. Ей-богу, на нем красовалась глупая ермолка с бамбончиком, халат, как у турецкого султана, мало сказать, у него были тонкие усики, как у китайского императора. Видите ли, этот утренний обход фазенды моего дядюшки заставляет Сергей Павловича снова прийти в форму после того каверзного случая.

— Доброе утро, Сергей Павлович, — сказал я, а сам подумал: «До чего же мерзкий этот таракашка».

Султан промолчал, отпил глоточек утреннего чаю и протянул мне ложку рыбьего жира... день начался... А ведь меня замучили этим жиром, я же просил, я же умолял, даже угрожал, но нет, а тут еще сам Султан Павлович...

ЛЫСЫЙ ОДНОГЛАЗЫЙ

Узнать его было несложно. У него всегда висела повязка на правом глазу. Черный кусок хлопковой ткани, свернутый аккуратным треугольником. У него никогда не было бороды. Но были лихие тонкие усики, придававшие ему жуткого виду и таинственности. Череп всегда блестел и был гладким до скрипа. Чаще всего на нем красовалась кожаная куртка-бомбер и, что важно заметить, что летом, что зимой. В спортивных штанах с тремя полосками и белых теннисных кроссовках он чувствовал себя уверенно и молодо. Хотелось бы заметить, что в зубах у него всегда была папироска, чаще всего уже докуренная. Такая привычка.

Этим утром он сидел на лавочке, стоявшей напротив детской площадки. Там, где одна сонная мамочка куняла с пакетами в руках и одним глазом присматривала за голубой коляской на больших колесах со спицами. Утро было ранним, часов семь, не больше. В эту ночь ему совсем не спалось. Все думал о влиянии электромагнитных волн на разум человека и почему Якубович не стареет. Посещали, конечно, мысли о несправедливости и разбитых дорогах, о ценах на хлеб и на водку, о нелепости бюрократии и о желании поехать на лиман нало-

вить маленьких пучеглазых креветок. Наварить их прямо на пляже и не чистая от мундиров, набить ими полный рот, запивая светлым пивом, холодным и освежающим, подкатать штаны, сесть, окунуть в воды моря ноги и перестать о чем-либо думать. Застыть, так сказать, в моменте. Оставить суету позади. При этих мыслях он сделал кроссовочком маленькую ямку и прикопал в ней окурочек. Мамаша напротив таки заснула, облокотившись на ручку коляски. Из пакета у неё торчала парочка багетов, один был надкусанным, бутылка какого-то напитка, очевидно, лимонад, и огромный пучок петрушки, напомнивший ему тихую рощу, где он пацаном собирал березовый сок, который так чудно преображался в удивительный ржаной квас и крошку. Поднеся правую руку к глазам и посмотрев на часы, он встал с лавочки, взял газету, на которой сидел, аккуратным движением свернул ее в рулончик, пошел на остановку, куда не спеша подползал трамвайчик, достал папироску, взял в зубы, прикрылся курточкой, подкурил от спичек, затаился-выдохнул — «дааа, заебись».

БЕЛАЯ СКАТЕРТЬ И ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Стол был накрыт белой скатертью, а на столе ваза пузатенькая, с тонкой длинной шейей, покрытая разноцветной глазурью, луговые цветы в вазе пели и шептались, колокольчики тихонько посмеивались над медуницами, полевые маки корчили рожицы ромашкам, эхинацея пурпурная обнимала герань.

Рядом с вазой красовалась большая банка с абрикосовым вареньем, светящимся как солнышко. В прозрачной бутылочке вино из одуванчиков пританцовывало, манило своим ароматом и хитро подмигивало.

Добрый человек, сидевший на стуле рядышком со столом, резким, можно сказать, дерзким движением закинул ноги, обутые в чёрные сапоги по колено из мягкой кожи, на стол.

ТАНЦУЮЩИЙ МАЛЬЧИК

Мальчик любил танцевать, для этого он специально сшил себе ботиночки из мягкой кожи, зеленого цвета, не простые, а такие, что когда ты их наденешь, ноги сами начинают выделяться в замысловатых танцевальных фигурах, вертилях. Ноги как бесноватые тряслись и шалили, как свидетель на свадьбе. Однажды они так разошлись, что когда мальчишка упал без сил, они понесли его по своим делам, а дела эти были посреди леса, на поляне, где кабаны своими пятаками искали и вынюхивали трюфеля. Луна круглолицая подмигивала танцору и поддерживала своим светом, чтобы ноги не запутались. Шнурки встали дыбом, как змеи под руководством умелого йога... Крикнула во весь голос ворона, и посыпались, кружась,

листья, выписывая безумные фракталы, причудливо вырисовывая формы, напоминая те истоки, из которых мы вышли, чтобы узнать что-то новое, мальчик потерял ориентир в пространстве, и тогда звери, давно спавшие в своих норах, решили затащить его в свои дома, ему было всё равно, зайцы, забив лапами о землю, начали звать кротов, чтобы пухлая земля служила ему подушкой.

ВЕТЕР В ЛЕСУ

Ветер своим дыханием пробирался медленно, но уверенно сквозь густой и тёмный как ночь лес. Совы, лисы, змеи, зайцы, мыши, все обитатели исчезли из виду, грибы укрылись листьями, травы прижались к земле, будто бы прислушиваясь к происходящему. Ветер со свистом, как пробка из бутылки, вылетел между двух громадных дубов, своими огромными ветвями напоминая древнее застывшее чудище. Крикнул ворон, и лес снова зашевелился. Из-под веток показался ёжик, искусно замаскированный листьями, и полез искать детишек, раскиданных суровым ветром, лисичка вьюном запрыгнула к себе в нору, а зайцы решили переждать и залегли спать.

БАРАБАРАМ

Он сидел на ветке дерева, под которым кабаны, хрюкая от удовольствия, жевали жёлуди. Пятаки-пуговики извивались, а глаза бегали в разные стороны, как муравьи. Когда он пулял в кабанов ветками и желудями, кое-кто из них пытался добраться до него, упираясь лапами в ствол огромного дуба. От этого его маленькие ножки, одетые в коричневые кожаные башмачки с маленькими зелёными бантиками, начинали непроизвольно дергаться в воздухе. Когда ему становилось смешно, помимо ног у него ещё тряслись щеки и, чтобы не упасть с ветки, он ловко хватал себя за уши. Ещё у него был зелёный котелок, такой старый, что на нем сначала поселилась соечка с двумя птенцами, но потом она все же улетела. Тогда, чтобы птенцы не мокли, появился мухомор-гуляка. На нем красовалась большая красная шляпка с белыми точечками. Надо сказать, что человечка звали Барабарам, точнее, он был леприконом, да-да, и у него есть горшочек с золотом. Так вот, у него зелёный пиджак, белая рубашка с кружевными рукавами и короткие бархатные зелёные штанишки, из-под которых видны красно-зеленые носки в полоску.

МУЖИК И ЧАЙНИК

Один крепкий мужик со здоровенной, заросшей рыжей рожей купил себе чайник. Идёт он с чайником, а сам такой довольный, чайку заварить сможет, да с яблоками — объединение. Только вот не-

задача: нету чашечки. Ну ничего, ничего, попьет из носика. Пришел домой в маленькую квартирку на первом этаже, там, где из единственного окна были видны ноги прохожих. Зажёл керосинку, поставил чайник. Ой. Снял чайник, налил воды, вернул. Поставил напротив стул. Сел. Локти упёр в ляжки. Руками подпёр голову и сычит. Прислушивается, булькает или не булькает. Частенько при этом встаёт, снимает крышку, кладет на место и, расстроенный, садится дальше наблюдать. Ура. Крышка начала подпрыгивать. Взял рукой за ручку чайник. Ай. Ой. Йой. Горячо. Ууух. Взял шапку и снял чайник. Так. Куда поставить? Пень под столом. Точно. Выкатил одной рукой. Поставил. Шапку на стол. Ой, плохая примета. Покрутился и все-таки запихнул в задний карман брюк. Смотрит, а из носика пар. Красота. В окно кто-то постучал ногой. Отдёрнул штору. По туфлям из хорошей мягкой кожи коричневого цвета сразу стало понятно, кто это. Человек наклонился. И как на экране телевизора засияла такая же здоровенная рожа, только лысая и лопухая. Рожа заулыбалась. И показала бутылку водочки. Ууууу, призамыслилась нам уже знакомая рожа, озадаченная чайной церемонией. На том и сошлись.

ТОЛПА МУЖИЧКОВ

Как-то я увидел на улице целую толпу мужичков. Одни были высокие и статные, другие все время куда-то опаздывали, одни мужички были лысоваты, другие несли в своих руках свои же животы, ещё одни красовались орлиными носами, это те, у которых грудь — амбразура.

Мужички были разные. Громогласные зазывали, молчаливые бежали, зеваки улюлюкали. Масса из мужичков напоминала огромную «римскую черепаху», шедшую в атаку. Командиром оказался Степан Валерьевич Кол, статный мужчина преклонных лет с большим орлиным носом и взъерошенными волосами черного, смолянистого цвета. В руке он нёс, держа за уши, зайца, белого с черным пятном на лапке.

На улице шел мелкий дождь, а сильный ветер превращал его в иголки, листья летали, как ошалелые, а с ними — дети, собаки, разнообразные пакетики и кошки. Птиц видно не было. Один старикашка из толпы, крикнув «урааа», побежал, но его с ног сбilo дорожным знаком «стоп». Все остановились. Старик ползал раком, держась за разбитый нос. Кровь смешалась с дождем и окропила шествие. Мимо пролетела кошка. Грусть накатила, но старику никто не помогал, мол, сам виноват. Толпа пошла дальше, а он остался ползать. Ударил гром. Начался ливень. Смыв и старика, и все следы толпы, все кануло в историю, которую будут пересказывать внукам, как эпос. Ещё долго эхоом звучало в воздухе жалобное «маяяяя».

Іван КУЛІНСЬКИЙ

/ Київ /



* * *

запам'ятай місто таким
як бачиш його поки вона завертає за ріг
у твоїй уяві — й навіть у ній — не озирається
поки час не розколовся немов горіх
розлітаючись навколо шматками безчасся
(ти у мене врослася!)
поки буття тримає в собі небуття
не скасовуючи не відпускаючи
мовби сплячне дерево що від кореня пагони викидає
щосили витягуйся вгору до безмежного почуття

поки в почекальні серця достатньо місць
для птахів що летять і закоханих що йдуть через міст
іншому берегу весни наставити
поки вони дивляться одне на одного і не бачать
як їхні поєднані руки відчайдушно повторюють
його міцні й водночас вразливі опори

поки фарбовані в колір міських дощів
ґрати парканів брук хідників
Сковорода суворий і водночас сумний
очі містян що чекають війни
безхатченків рам'я
зклопотані голуби
карбуються в пам'яті
додавай до них ясні
барви квітів що розквітають в тобі
невчасно а отже вчасно

* * *

він дивиться у амбразуру — йде дощ — на дорозі майже нікого
село далеке тож на блокпосту спокійно але всередині нього
по зіщуленим вуличкам її міста гатять гради і буки
і частіше думається що смерть це просто довга розлука

що вічність неподільна поки ходять поїзди і електрички
що дедалі важче зрозуміти спав ти чи ні
що в одночасі зливаються ночі й дні
а нову добу позначає ще одна перекличка:
— ти як? — виснажена — прошу приїжджай до мене
тут тихо лише зрідка виє сирена
тут весна — невчасна мовби на поминках наречена

а потім із нею раптово зникає зв'язок
і лишається лише дивитися як прокльовуються проліски
летять птахи сохнуть калюжі брунькує бузок
вслухатися в тишу котра звучить надто голосно
відчуваючи як стрімко згортається безмежний світ
до зелених вогників месенджера: жива живий живі

ЗВ'ЯЗОК

вже тиждень для нього щодня — перший день війни
і прокидаючись після перерв на короткі сні
він пише їй «як ти?» сподіваючись що ще є покриття
що вона вчасно почула сирену й добігла до укриття

і в серці його важко лунає пуста неначе хтось
відчинив двері й кинув туди гранату й вона ось-ось
вибухне але хвилина за хвилиною не вибухає
так минають години й нарешті вона відповідає:

неподалік три ракети люблю тебе пам'ятай про це
хочеться дотягнутися до тебе через вороже кільце
обійняти зігріти направити додати сил
хочеться щоб ти мене про щось буденне й просте попросив

буде важко — знай що ти не один — просто поглянь угору
на небо в яке дивлюся і я а отже я — поруч
вона стримується й пише: «я у метро небезпеки немає
лови фото люблю і якнайміцніше тебе обіймаю»

і її любов освітлює темряву крізь товстий бетон
крізь погрози бомбами у скількись там кілотон
долітає співом птахів котрі вже тиждень мовчать
знаходить його не знаючи навіть приблизних координат

він хоче спитати: чи не плачеш занадто часто — очі на фото сумні
чи достатньо скочу наклеєно на твоєму вікні
чи побачимось ще допоки черговий приліт
як тонку новорічну кульку не розіб'є на друзки світ
чи згадуєш нашу першу зустріч коли все навколо дрижить
він бере себе в руки й пише:
«ти прегарна люблю тримаємось» а про інше мовчить

ПЕРЕДЧУТТЯ ПЕРЕМОГИ

хлопці на блокпосту ретельно дивляться паспорти
перевіряють речі запитують нас щодо мети
розумієте — кажемо — нехай це нині звучить смішно
але нам потрібно якусь часину з того берега подивитись на наше місто
бо поки ми можемо пронести туди свою любов і хліб
для дніпровських качок — поки ми дивитимемося углиб
ріки і очей одне одного — доти буде наша свобода тривати
і те чому ймення немає ми продовжимо називати:
бути разом навіть коли окремо — бути одне одному
і країні й світові — всім — одночасно непомітно але незникомо
наслухати в ударах наших сердець звучання вічності
немовби грім обляжної грози у якому немає нічого від вибухів
а є сотворення і пробудження й ніжність з якої усе живиться
так говоримо ми посеред війни в самому її центрі
і слова лунають гучно й лагідно мови дзвін у церкві
коли ми вкотре уперше переходимо Пішохідний міст
сьогодні загороджений протитанковими їжаками
і якщо у книзі яку ми по перемозі напишемо потрібен зміст
то він буде двома мовами — однаковими словами:
люблю — люблю — і на жодній сторінці — навіть поміж рядками
не буде страху ненависті смерті горя —
лише у пам'яті авторів
але й там вони залишаться самотнім чорним
серед безлічі кольорів

ДОРОГА ДОДОМУ

в тамбурі хмариться — курять чоловіки
одну за одною нервово останні гіркі цигарки
у вагоні діти граються в хованки у лабіринтах валіз
жінки раптово неговірки заплющують очі соромлячись сліз
суне потяг — за вікнами небо суне наввипередки —
і як завше заввиграшки обганяє
люди мацають кишені — документи перевіряють

все на місці — паспорти порожні домівки квіти на підвіконнях
тягнуть листочки до залатаного скочем сонця
лиш моя душа не на місці — з тобою лишилась
закриваю очі — бачу як виціловую крила
з твоїх лопаток — неначе дощ із зернини колос
вони підіймають нас і дім і садок і ліси довкола
до зір що як і раніше рухаються по колу
але нині це коло наше — поміж двома фронтами
над містом котре цієї весни не вмикає фонтани
над вибухами що панахають тишу дворів
збиваючи щільніше до купи сонні гурти голубів
на бантинах у затонких і надто лунких піддашсях
коли прийде світанок їхні крила навпереміш із нашими
врятують світ здійнявши любов вище ешелонів ракет
і винищувачів — туди де хвости комет
креслять вказівники якими не скористається ворог
до майбутнього — навперекір історії — неповторного

Илья ИОСЛОВИЧ

/ Нешер /



АКТЕР

Звали его Митрофан, сокращенно — Митя. Его амплуа было герой-любовник. Он очень удачно играл нервных, интеллигентных, вдохновенных, ранимых юношей среди грубой и нечуткой среды.

Его отец был знаменитый актер, прекрасно игравший роли героев в лакированном балагане официальной советской жизни. Мать была барменшей в коктейль-холле 30-х годов, сильно помятая жизнью аристократка по рождению, но уже не по воспитанию. Когда его родители поженились, старая актриса Лидина сказала в доме работников искусств громким сценическим шепотом: «Он видимо думает, что теперь она ему будет бесплатно наливать!» Глядя вокруг, Митя с детства понял, что надо уметь кусаться и челюсти не разжимать. Приходя из актерской школы-студии, брался за гири и качал себе бицепсы. И некоторые юные актриски хотели бы поведать его поклонницам, что он просто грязная свинья — но не могли, потому что с народной любовью, глухой и беспощадной, спорить бесполезно.

Однажды Снейк сидел дома со своим другом Пашей и они говорили о том о сем. Митя от нечего делать заглянул на огонек. Снейк ему сказал: «Митя, тут в Доме кино сегодня показывают "Любовь под вязами" с Софи Лорен, а Паша его не видел. Давай я вас на своем москвиче подвезу, и ты его проведешь?» Митя хладнокровно ответил школьному другу: «Три рубля».

Отец его, лауреат всех бывших и современных премий, окончательно спился. В театре его терпели лишь за невозможностью уволить. Мать с утра звонила любимому сыну по телефону и говорила какую-нибудь специальную гадость, которая отравляла настроение на весь день. Он отрывисто отвечал: «Мама, идите на хуй!» Как-то Митя повел случайную подругу в ресторан. Эта блондинка, неосторожно и не подумав, сказала что-то не то. Митя в ярости завелся и залепил ей с размаху пощечину — учить надо! Звук пощечины получился как выстрел. У блондинки кровь из носа по-

текла на блузку. Посетители от соседних столиков подскочили и впятером выволокли Митю из ресторана и оставили лежать на тротуаре. Злобный Митя поднялся, прислонился спиной к зеркальной витрине ресторана и изо всех сил треснул по ней каблуком. Витрина рухнула вниз всей тяжестью и перерезала ему ахиллесово сухожилие. Три месяца в гипсе.

В кино Митя часто играл рефлексирующих милых интеллигентов, но в жизни изображал только одну роль: не рассуждающего победителя. По мнению многих — довольно глупого победителя.

Власти от актеров ничего особенного не требовали. Изображает себе этот гений Антония или Макбета вперемешку с председателем колхоза или партработником — и отлично! Вот тебе с течением времени и гертруда (герой соцтруда) на грудь. Ну, подписывать время от времени надо какое-то обращение, клеймить, кого сказали — и не слишком часто. А пусть не высовываются, в самом-то деле.

Паша встретил Митю лет через тридцать, в аэропорту. Худой, как Кашей бессмертный, Митя, расправив гвардейские плечи, шел в направлении посадки на Израиль. Киногруппа семенила вокруг. «Что же он делает, — подумал Паша, — он же недавно по ТВ сказал, что все беды России от евреев!» Но Митя прошел мимо ворот на Израиль, и пошел дальше — его съемочная группа летела в Белград. «Здесь продается славянский шкаф?» — вспомнил Паша бессмертную реплику из фильма «Подвиг разведчика», — «С тумбочкой?»

ТАРЛЕ

Перечитываю книжку Е. В. Тарле «Нашествие Наполеона на Россию в 1812 году», 1943 г.

Тарле описывает, как царь Александр менялся в разные периоды жизни, но и сам Тарле менялся довольно сильно.

В 1905 году симпатизировал эсерам (якобинцам). С. Ю. Витте описывает, как им было предотвращено побоище около Технологического Института в декабре 1905 года, когда была вызвана воинская команда и приготовилась стрелять. Витте телефонирует командиру и попросил обойтись без кровопролития (ссылаясь на то, что он не только председатель совета министров, но и лицо облеченное полным доверием императора. Приказывать военным он не имел полномочий). В результате кровопролитие состоялось только в том, что прикладом разбили голову приват-доценту Тарле. Но Витте замечает, что Тарле вел себя некорректно и в это тяжелое для империи время читал возмутительно тенденциозные лекции о французской революции.

Тарле значительно изменился после того, как в 1930 году ГПУ назначило его министром иностранных дел в якобы проектируемом

правительстве Промпартии. Это был верный билет на тот свет. Сталин в тот раз велел видных специалистов академиков Рамзина и Тарле простить — но все знали, что раз на раз не приходится. С 1930 по 1937 Тарле был исключен из Академии наук, куда был избран в 1927. Это к тому, что из академии якобы не исключали.

В начале войны С. М. Голицын в своих воспоминаниях «Записки беспогонника» пишет:

«В газетах я, наконец, прочёл, что Западный фронт про-
рван, нами оставлены Вязьма, Сычёвка и Ржев, и враг при-
близился к дальним подступам Москвы.

И ещё я прочёл подвал — статью академика Тарле. Ус-
лужливый историк, вспоминая 129-ю годовщину нашествия
французов, доказывал правильность стратегии Кутузова, ре-
шившего Москву оставить, но армию спасти. Статья эта мне
очень не понравилась».

На самом деле Тарле был прекрасным историком, владел язы-
ками, доподлинно знал весь материал и умел его анализировать.
Другое дело, что его книги многослойны: прежде всего, имелся в
виду державный читатель, который подобно императору Александ-
ру имел обыкновение меняться. В 1941–42 годах Сталин понемногу
стал монархистом-славянофилом (пусть осеняют вас великие тени
предков!). Во втором слое виден туповатый вульгарный марксизм
(наверно по Покровскому). И только в третьем слое угадываются
собственные идеи Тарле — легкими акварельными мазками, в раз-
ных исторических забавностях и назидательных анекдотах, так что
всегда он мог сказать: «А я что? Это так, к слову...» В результате
с логикой конечно получалось напряженно. Почему так мудро было
Кутузову нарочно не ловить Наполеона на Березине? Чтобы еще
сотня тысяч русских солдат потом погибла в Европе?

Почему одни персонажи вопреки результатам их действий
очень умны, а другие наоборот глупы? Тут Тарле действует как не-
умолимый отдел кадров.

Всю жизнь Тарле прожил в любви и согласии с русской женой,
ради которой в молодости крестился и из Григория стал Евгением.
А литературным секретарем у него много лет жила бывшая жена Бул-
гакова (княжна?) Любовь Белозерская. А она в юности, когда в эмиг-
рации была замужем за неудачным журналистом Василевским (Не-
Буквой), выступала на сцене Фоли-Бержер, и из одежды на ней были
только короткие серебряные штанишки. Но это видимо ни при чём.

Книжка читается на одном дыхании.



ПАВЛО МАСЛАК

/ Київ /

НОТАТКИ СНІВ

(з німецької)

Фрідріх Ніцше

ОСІНЬ

Осінь це: вона розіб'є твоє серце!
Так тікай же від неї геть!

Прокрадається сонце крайнебом,
Тихим кроком веде круговерть,
Спочиває, як смерть.
Все навколо засохле і стихле.
На натягнутих нитках надій
Вітер пісню співає,
І знає —
Не змінити цього, що не вдій.

Осінь це: вона розіб'є твоє серце!
Так тікай же від неї геть!

Падає з дерева плід навсібіч,
Чим навчився ти,
Врешті-решт?
Ніч
Шепоче про щоки
Фіолетові,
Серед сталих облич.
...Хто шепоче ще й досі?
Вам не чути, авжеж.

Осінь це: вона розіб'є твоє серце!
Так тікай же від неї геть!

«Ні, я поза краси, —
Мовить айстра, —
Та люблю я людей,
Може лик мій і буде — одне,
Що залишиться згадкою.
Ой! Ви зламали мене...
Нахиліться і вірте в прекрасне.
Я вмираю. Та що таке — "смерть"?..»

Осінь це: вона розіб'є твоє серце!
Так тікай же від неї геть!

(1877)

(з грузинської)

Галактіон Табідзе

БУРЕВІЙ (Карі кріс)

Буревій, буревій, буревій.
Блякле листя у вирі веде,
Бо дерева програли двобій.
Де ж ти, мила моя, де ж ти, де?..

Тужна мжичка, і сніг мерехтить.
Пам'ятаю тебе кожну мить,
Та боюсь, що у вирі життя
Не здолає ніхто забуття.

Зникне слід мій, так само, як твій.
Буревій, буревій, буревій...

(1924)

(з іспанської)

**Невідомий іспанський
автор XVI ст.**

**СОНЕТ
ДО РОЗІП'ЯТОГО ХРИСТА**

Мене Ти любиш, Боже, не з-за тих
Моїх літаній щирих без упину,
І не тому, що у лиху годину
Боюсь я пекла за таємний гріх.

Наблизь же до Себе! Аби я зміг
Хребтиною відчутти хрестовину,
Цвяхи в долонях, біль не за провину,
Щоб я збагнув Твою любов до всіх.

Така любов не потребує ждати
Ні нагород, ні визнання, ні страти,
Бо все земне — минуще. І мине.

Така любов не має огорожі,
Тож до Себе наблизь мене, мій Боже,
Щоб я любив Тебе, як Ти — мене.

(з російської)

Інокентій Анненський

* * *

Серед зірок, в космічній колії
Одну зорю я згадую, як долю.
І не тому, що я люблю її,
Але тому, що я без неї в болю.

Серед буденних і безглуздих дій
Кричу я їй, коли буття вже зблідло.
І не тому, що бачу світло в ній,
Але тому, що з нею зайве світло.

(1909)

Сергій Єсенін

ЧОРНИЙ ЧОЛОВІК

Друже, друже!
Я дуже і дуже нездужав.
Не второпаю сам —
чи то біль від знедоль?
Чи то вітер осінній
лани безпорадні паплюжить,
чи, як гай в листопаді,
завалює тям алкоголь.

Голова моя вухами-крилами має,
їй на шиї ногами
вже манячити — пріч!
Чорний чоловік,
чорний чоловік,
чорний чоловік
на ліжко моє сідає,
чорний чоловік
спати не дає всю ніч.

Чорний чоловік
суне пальцем по книзі ницій,
бурмотить наді мною,
як над мерлим чернець,
читає життя
невдахи й п'яниці,
і душу охоплює
жах і грець.
Чорний чоловік
Чорний, чорний...

«Слухай, слухай!.. —
бурмоче у млі —
В книзі є безліч
невтілених планів.
Наш персонаж
проживав на землі
покидьків і шарлатанів.

Сніг у грудні в краях тих
до біса ясний,
і вітри там відспівують
в такт завірюхам.
Був чоловік той
доволі міцний,
ще й вважався у світі
зухвалим зухом.

Був елегантний,
до того ж поет,
хоч з незначним,
та яскравим блиском,
і літню кралою
у кожний мет
називав кепським
і милим дівчиськом.

«Щастя, — казав він, —
це спритність рук
й розуму. А невдахи
просто живуть у будні.
І що до того,
що стільки мук
жести несуть
облудні.

У бурях щоденних,
що віють, як дим,
де втрати,
коли на межі ти,
вдаватись усмішливим
і простим —
найвище мистецтво,
щоб жити».

«Чорний чоловік!
Ти дурна прикмета!
Чи ти не із пекла
Вийшов у вогні?
Що мені ці примхи
скандального поета?
Розкажи комусь бо,
тільки не мені!»

Чорний чоловік
дивиться впритул
і блакитні очі
сповнює блювота.
Ніби сповідає,
що я — просто нуль,
обікрав когось я,
й взагалі — голота...

.....

Друже, друже!
Я дуже і дуже нездужав.
Не второпаю сам —
чи то біль від знедоль?
Чи то вітер осінній
лани безпорадні паплюжить,
чи, як гай в листопаді,
завалює тям алкоголь.

Ніч дзвінка.
Перехрестя не взріти.
Сам-один у віконця
посеред безпорад.
Аж до обрію все
білим пилом покрите.
І дерева, як вершники,
оточили наш сад.

Желіпає у ночі
пташина зловісна,
дерев'яні кіннотники,
задубілих копит перестук.
Знов цей чорний сідає
в обриджене крісло —
у циліндрі, як пава,
й оправляє сюртук.

«Слухай, слухай! —
бубоче впритул на позір,
наїжджає на очі
пустими зіницями. —
Я ще зроду не бачив,
щоб якийсь бузувір
так безглуздо і тупо
страждав нічницями!

Помилився! —
у повені Місяць сповна!
Чи чекати чогось ще
до останнього вироку?
Може, з пухлими сиднями
прийде "вона",
і ти будеш читати
суху свою лірику?

Як люблю ж я поетів!
Громада ще та.
Бачу давню історію —
звичну, коротку:
так прищавій курсистці
довговолоса біда
про туманності мовить,
у мріях про потку.

Вже й не пам'ятаю
(бо сам не застав),
в Рязані, Калюзі,
чи вдалечінь трошки,
в родині селянській
хлопчина зростав —
золотоволосий,
а очі — волошки.

І от став дорослим,
до того ж — поет,
хоч з незначним,
та яскравим блиском,
і літню кралю
у кожний мет
називав кепським
і милим дівчиськом».

«Чорний чоловік!
Ти — не гість, а вовк!
Сором про тебе
вже давно рознісся!»

Я розлючений геть,
і летить мій ціпок
просто в пику його,
в перенісся...

.....

Ранок синьо здуває
зоряний пил.
Місяць згаснув,
та темінь не прощена.
Я в циліндрі стою.
Ані кого довкіл.
Я один...
І верцадло розтрощене...

(1923)



Борис РУДЕНКО

/ Київ /

3 РОМАНУ «ОЧЕРЕТИНИ НА СКЛІ»

Фрагмент

світ — всього-на-всього вічність на словах, які ранком пригадали птахи...

...та не звертайте уваги, будь ласка, якщо я виглядаю збудженим, а скоріше за все воно так і є, напевно, то в мене для цього накопичилось ну безліч причин, й одна з них ось яка: вчора, так вже вийшло, просто в мене був день народження, тобто мені виповнилось сто сімнадцять років, а десь через двадцять сім днів — стане вже роком більше; отже без малого добу я провів з пані, що має сумнівне, вона сама так сказала, щастя стригти різних покидьків в перукарні неподалеку, — вона її грайливо називала цирульнею, що одне й те ж, як на мене, тільки от мені-то що до цього... отже в подальшому й ненадовго те дуже хтивє стерво будемо іменувати майстер, бо не я її стриг, а вона, тулилась та тиснула на мене своїми здоровенними цицьками, й не я їй розповів, що, мовляв, тепер не погано би з кимось знюхатись для відповідних дій, ну мене вмовляти не потрібно... заплатив зразу в кінці зусиль за все, навіть за смердючу рідину, якою вона мене облила з ніг до голови, а потрібно, щоправда я на цьому не розуміюсь, б на одну голову, вимагала й за шампунь, але я не захотів, наполягала на передоплаті за послуги й танці оголеною в мене, ну й, а як по-іншому, за інтим, який складався з двох поз, що вже ніби не мало, ну і, зрозуміло, вік мав певні ускладнення з запахами...

інколи з нами й насправді відбуваються дикі речі, наприклад в цьому моєму випадку, погодитесь, не все як у людей: словом вранці, та не так воно рано вже й було, який в біса ранок без чогось там одинадцята, я якби без уточнень й дратівливості, як це завжди в такі недвозначні хвилини, віддав їй гроші за належну й на диво чудову співпрацю, брала вона не без задоволення, тут я лише про готівку, про все інше — не зараз, зачиняв за нею, так вже повелося, двері й бажав їй все ж менше кому розказувати про свою пригоду...

не знаю, чи почула вона, але на всякий випадок обіцяла про моє прохання пам'ятати... в цій квартирі я живу сам, перебуваючи у ввічливій категорії невісного вдівця, який навіки втратив десь біля року тому тільки знайдену кохану навіки пані що пожила в розумінні всього... вона знала до якої міри я боюсь погляду миші, нехай і дізналась про це випадково, коли та зухвала тваринка одного разу витріщила на мене очі переляканої істоти і ми чкурнули одне від одного чимдуж в різні сторони... отже після цього й почалось цькування свого колишнього кумиру з місцевого театру, що перебував не тільки за штатом і цілу вічність як ніким не затребуваним до професії, а вже безліч років тому вправно перебрався в будинок для похилих людей, тобто бувших працівників сцени, які залишилися самотніми... рік за роком все йшло добре — ну от ніяких ускладнень, бо ж я ніби як вважався, а може й колись там був таким, дуже відомим, мав безліч премій, нагород, гастрював, вдавав і за кордоном також з себе нікчем та бідолах, тепер їх називають лузерами, тобто топтався на місці, щось молов, робив паузи й так тупо до гори підіймав погляд, що якраз його й не можливо було не вважати магічним... маячня якась, мене від всього там нудило до блювоти, і я блював, але всі були впевнені, що мені не пішло...

і ось вже в мною заданий проміж всього час буденних випробувань, якийсь виродок в маразмі спалив до тла наш затишний дім разом з десь до тридцяти з чимось бувшими зірками, а ким же ще, і спасло мене одне лише те, що я потайки відійшов до тутешньої крамниці, познайомився з місцевими шанувальниками, їх зразу набралось... ну не всього-на-всього три, алкогольної продукції, з ними насмалився десь до анабіозу, заснув у паркові поручі, а коли проснувся, то здивовано почув про те, що сталося... коли я доплівся туди й мене побачили й відчули сталий вихлоп, якимось перейшли на формальне опитування, можливо все-таки щось чув і бачив... — я не мав поняття, хотів навіть заплакати, артист же, але в мені висохло все, ну, може, окрім пики, вона, сподіваюсь, виглядала належним чином... що би там не було, а залишилось нас з усієї трупи, так би мовити, семеро, бідкалась, що не можуть собі уявити, як з нами далі бути, куди приткнути, там, чи що, хоч би на перших порах... голова просто репалась, то ж чим я їм міг допомогти — кажу ж, що ледь живий був... тоді-то мене й зголосилася забрати до себе не трохи в маразмі лікарка не при ділах: що вона лічила, кого, навіщо, як та якого чорта притягла мене до себе, я так до пуття і не взнав? та й коли б? ні, ну як вперше в неї з'явився пам'ятав, це ж має значення, чи як, ну і про те, що вертихвістка наполягла щоб зразу вже й в ліжко, так як не голодні, а так сидіти — то якого чорта... дивно, але щоб, так й дуже, бо ж мало місце палке злиття в образі несамовито закоханих, і ця подія її до такої міри вразила, що вона не тільки не могла вже заснути, а й мені не давала: мені приписувалось вислуховувати все про її життя до мене, — ми ж збираємось своє подружнє перебування

в за світах віртуального марення проводити разом? — особливо мене вразила жаклива смерть одного із її на той далекий час чоловіків... от не можу зрозуміти чому, бо хіба мало на світі людей мають надвагу та не користуються, як це вимагали правила руху, пасками безпеки... словом він загинув у страшенній ДТП, з ним тупо прилягло навіки ще три особи, його приятелі, серед них одна на всіх панянка, але вона була впевнена, що то одного його коханка, але як би там насправді все це не було, їх останній раз живими бачили в ресторані за містом, вони там круто хильнули, та й взагалі розважались наче відчували, що це востаннє, ну от так от, але пані зрозуміла, щось же ще в голові лишилось, що не слід мене напружувати подібними спогадами, та й кому вони, скажіть, були б до вподоби?

а згадала вона якраз його тому, що він був батьком її двох натеper, та воно й пояснювати нічого, дітей в десь середньому віці: доньки, вона була на два роки старшою за свого, ну от я вже і проясничився, брата, та й що тут такого, дуже таки успішних, в цьому я переконався буквально вже наступного дня, бо вони тоді прибули вітати свою матінку зі тільки ось щойно придбаним артистом на дуже недешевих авто, всі разом, бо ж кортіло побачити на власні очі, а що це та не сповна розуму тітка собі знову надумала, тому й явились всі зразу...

чого тільки не привезли! я, отримав чудової в'язки светр й до нього ще в додачу кашне та кепку, що їй перепало не бачив, можливо й нічого, так як при таких дітях в людини у віці є все, за столом мені вистачило розуму не напиться наче та свиня й не дуже щоби обіцяти щось на кшталт щасливого подружнього життя, потім вони так же весело покинули родичів, притому десь досить нахабно натякнувши з усіх боків, що, мовляв, молодята завжди хочеться трохи побути вдвох... ладно, чого вже там так прислухатись, хто там та що сказав, тим більше в моєму положенні, то ж хай воно буде як вже склалося... особистих речей в мене не залишилося, та й що то за речі, а посвідчення особи й три картки з невеликою кількістю грошей в кожній також якимсь дивним чином були при мені, отже все добре, як і те, що ми всі ще тоді за весільним, так би мовити, обідом, вирішили, що геть немає хоч би найменшого сенсу якимось ще способом, окрім вільного й тихого проживання в громадянському шлюбі, узаконювати свій громадський стан... ну от так і добре — уявляю собі... дві потвори з непевними проявами адекватного світосприйняття пускають слину біля вітаря, або в якому-небудь залі для виключно пишних церемоній, то ж не все так погано, зауважте... на вихідні нас вивозили в заміські садиби, то до доньки з її чудовим чоловіком й на рідкість вихованими дітлахами, то до сина, в якого також була розкішна дружина і також двоє малих діток, з тією лише різницею, що обидва хлопчакі, жваві й розумні...

ми ходили до ріки, поки там щось готувалось на обід, та й далі, аж до самого соснового лісу, потім плентались в зворотному напрямку, назад йти завжди виявлялось складніше, та й зрозуміло, але ми ні

разу не запізнавались, і не тому, що вже дуже проголодались, а просто цього обоє не виносили на дух... в міських квартирах в них ні разу не були — ні, запрошували, навіть наполягали, але ми ж також щось мали... кажу «ми» не тому, що хочу примазатись до чужого — воно їх, але ж ми вмісті, хіба не так? воно й нічого дивного, але в кожному помешканні цих чудових сімей була сила-силенна різних книг, у всіх бачив які-небудь музичні інструменти, в нас також чудовий рояль позаминулого сторіччя, на якому вона інколи щось грала, коли не чіплялась з пестощами, не читала якесь лайно та не готувала своєму капризному до чортків негіднику відварну рибу... я не робив нічого: це мій стан пріоритету над іншими потребами, бо я ще той роботяга, та й немолодий вже, чого там... скажу відверто, тільки такому як я негіднику та блазню могло так поталанить, про тих, хто живцем згорів не говорю — їх жалко, а кажу про те ось, що так чомусь не очікувано сталося, більше нічого, от і все... вони якось ніяк не могли для себе так от взяти й вирішити, що далі робити зі мною? можливо трохи привикли, а може й щось їх зупиняло, хіба можна в чомусь бути впевненим аналізуючи ще тільки можливі поступки людей, навіть десь вже й близьких, бо он стільки товкся перед очима, ні ж?

на другий день після того як викреслили з усіх можливих станів до біса образливого уявлення про образи співіснування як мети й способу життя, та після того, коли панотець передумав приходити, отож бачите, ще для когось з них має значення яке віросповідання має небіжчик, в нашому випадку в літах пані, а так як нікому не вистачило раніше з дітей та близьких розуму спитати все ж до якого, не по одній зовнішності, якщо відверто, дивляться, тим більше, що вона приблизилась ще за життя до універсального, так би мовити, стану невблаганний до цього ссавців на порозі точно навімання визначеного помирання, то запрошений мною протоієрей зразу відмовився, благав не наполягати, навіть не хотів грошей, до речі нічого собі яких, і декілька разів наголосив, ніби дуже боїться кари й пекла, я, от же натура, ляпнув, що з огляду на маеток та на тім тижні пригнану з Північної Америки машини, то не сказав би щоб так вже й дуже, і це йому не сподобалось... на мене накинлись майже всі, а здебільшого ті, кого ніхто не кликав на похорони, звинуватили невідомо в якому умислі, а далі, в кінці кінців, назвали старим маразматиком й ще тим козлом... та ніякої зовсім вини за мною не було, він же все рівно не збирався відспівувати, так чого вони... відволокли й так до крематорію, сказали за два тижні має вже нас чекати урна з непотрібними рештками окремо взятої небіжчиці, та й місце де її замурують, можна подумати, щ хтось до неї наважиться хоч би бодай раз навідатись...

так от, після всього цього, ви ж розумієте самі, розраховувати на поблажливе до себе відношення збоку тих, для кого вона вважалась кимось, міг хіба що відбитий на всю голову баран... я помалу сам зібрав речі, перевірів паспорт, а то б звідки мені знати скільки

топчусь по поверхні, перелічив картки — їх, як я вже згадував, три, витяг зі схованки неслабий по числах кеш, з наміром його якнайдалі від них переховати, бо чого доброго обшукають, знайдуть і відберуть, де б я без них скільки наскладав, ніде ж було без їхньої різноманітної участі? ну це вже, перепрошую, досить делікатна справа... мене ніхто не гнав, але й не вмовляли залишитись також, отже, точніше, дали терміну до кінця тижня, тобто залишалося ще три доби, а тоді самому слід буде повернутись знову в мені вже відомий заклад, за цей без малого рік часу відбудований та відреставрований до невпізнання, до того круто виглядає, що кожному б так, а в середині так і зовсім воно бомба, ось як, так що нехай щастить... але я не став сидіти в гидкому для мене віднедавна приміщенні й наче баран ждати, а терміново попрямував туди вже того ж дня... і ви не повірте — вони навіть помітно зраділи, відвели мене по коридору на першому поверсі де в них розташовувались справді самі комфортабельні номери й запропонували собі самому підібрати, — ущипніть мене скоріше! — що я тут же й зробив, у мене, чи й в не єдиного навіть був невеличкий балкончик... ну там посидіти ввечері з горнятком кави, або вивести на свіже повітря яку-небудь колишню приму...

але я не зовсім розсудливо розвісив губи, не встиг я присісти на ліжко скраю, як мені зателефонував син мого покійного напарника та мій похресник й спитав, чи вже вибрав я для себе щось підходяще з номерів, тобто помешкання для довічного проживання? ви би бачили як я зрадів тому, що він таки раптом обізвався, бо ж знаєте як воно доживати самому... ну ото й добре, що не знаєте, і не потрібно вам про це мати уявлення навіть... отже все зрозуміло, він знав про моє існування десь поряд, щось можливо й чув, але все ніяк не міг зібратись вяснити де я та чим займаюсь? тим не менше це аж ніяк не завадило йому під'їхати до головного лікаря, він же й директор установи, переговорити з ним без сторонніх осіб і все владнати, більше того, мене призначили наглядати за реквізитом — той дозволили з наших кращих театрів хіба не для того, щоб звільнити місце для оновленого й набагато більш, тихо попросили, щоб нічого там такого не робив в плані вогнебезпечного, й нікого там не ховав... ну, я знаю про що вони говорять... та звичайно ж ні, та що ви, я так пишаюсь... розвішав у шафі одержу, склав на полки білизну, передивився що вважали за необхідне залишати в холодильнику, провірив плазму й музикальний центр, таких вже навіть я не пригадаю й скільки не бачив, але мене трохи заспокоїли ліцензійні диски, збагнули про що я насправді, з усіма відомими оперними партіями, балетами, великими й не настільки щоб, диригентами записи симфоній... та чого там тільки не було? гроші поки що думав буду носити при собі, бо ж уявити собі щоб ніхто в мою відсутність там не порився в пошуках для себе прибутку ніяк не міг, отже носитиму поки що з собою, а коли все устаткується і всі до єдиної душі будуть заселені, найду для них якомога надійнішу схованку...

сьогодні обід вже був, тому слід деякий час ждати вечері, вона ось-ось мала би бути, та й ввечері ніяких заходів, тобто проводити його, вечір, потрібно буде лише на свій калічний розсуд, та ви знаєте як це... мене завжди дратує те, коли мені натякають про минуле, не-вже б їм було краще коли би я вчадів, або й згорів к лихий годині під немилосердні крики та благання німечних — не впевнений? ну ось я й сам, нарешті... нема питань, звичайно ж, а як по-іншому, трохи змінилась поведінка, хіба такий незбагнений по приниженню досвід може минути для людини непоміченим, тобто ніяким, як і те, що наслідки його ще скоро не залишили б у спокої хоч би кого... коли би знати заздалегідь... тільки от і тут мені не все здається правильним, бо воно тоді як це: тобі про багато що відомо наперед, то як це? разом з тим, та ви собі навіть й уявити не спроможні, до якої пекельної міри мені всі вони вимучили й бісили... чого вартували одні лише з любого приводу істерики моєї співмешкани та знущання дітлахів, ну їх ніхто не зупиняв, от вони й втішались?! то ж мене з'явилась ніяк не другорядна мета спробувати їх та все з моїми бувшими родичами пов'язане якнайскоріше забути, ніде й ні при кому нічого на їх рахунок не пригадувати, якщо подібне взагалі можливе? наразі ані наміру, ані чогось на нього, геть навіть віддалено схожого з ним, робити не маю й мати не збираюсь — такі справи... так, це непросто, тим більше тоді, коли я таки опинився, — ви ж пам'ятаєте що трапилось? — в досить таки скрутному становищі реально на вулиці, вони мене не залишили на ній, вулиці, і не вигнали з дому, коли мене туди в якості всього зразу так не очікувано привела їх мати, при тому з фішкою, що не могла не визвати внутрішнього трепету, мовляв, назавжди... це одне й те ж що довічно, але допускались в складі взагалі можливого якась незначна кількість варіантів... от холера, та що там в чорта коїться! якого б я так валував наче... ну, й уявити так зразу не можу хто... щось не поділили зірки, мабуть щепились коло фортепіано, кожній, бо ж голоси жіночі, хотілось сісти за нього під першим номером... звичайно ж мова йде про одні лише мої припущення — не більше, але такий початок мене не трохи десь напружив...

потім, мені вони самі про це й розповіли, до нашої досить специфічної наразі юрби маразматиків підсилили ще якихось двох геніїв з царини образотворчого мистецтва, декілька осіб колись причетних до створення та відтворення музики, та одного досить дивного психопата з сумнівним минулим... тобто за ним ніяких заслуг не водилось, я про служіння примхливим, так би мовити, музам, але про них можна було доперти відразу, кому ще прийде в голову фарбувати пику, надівати колготки та потрошені міллю сукні... привілейований стан його, з огляду на розміщення, впадав в око: він не виглядав, само собою, на рівні мого, треба було комусь за нього дати грошей керівництву пансіонату, чи як там його на сьогодні в офіційних реєстрах називають, то може б тоді й ще краще все виглядало в його випадку, але й не вважаю, що таке сусідство мені може чимось дошкуляти — живе собі людина, нехай от і живе як їй подобається...



Александр МОЦАР

/ Киев /

И ТОГДА ЧЕЛОВЕК ЗАМКНУЛСЯ В РАЗРЫВЕ

* * *

Полине Лавровой

Звёзды. За звёздами тоже звёзды —
Свет умудрённого постоянства.
Так просто
Понять бесконечность пространства.

Вот тот, кто прав в яростном споре
С тем, кто в споре о бесконечности непобедим.
Так они строят, ломают и строят
Новый Иерусалим.

Рухнуло и в конечном
Итоге засыпало тех, кто ослепли.
Из камня нельзя построить вечное.
Вечное можно увидеть в руинах и пепле.

Тот, кто увидел, пусть расскажет,
Откуда берутся пятна на Солнце.
И о том, что если рядом с башней построить другую башню —
Война начнётся.

* * *

Лоб в лоб со своим отражением
В стекле оконном.
Движение
В заданном направлении кажется монотонным

Звуком.
Так тянется тишина
Вперёд, не ведая, что по кругу
По условию задачи, которая решена

Не мной.
Библейский сюжет — борьба Иакова-Израиля с Богом.
Тот, кто всегда за стеной
С тем, кто всегда у порога.

Это сражение —
Вечность, направленная к себе.
Лоб в лоб со своим отражением
В оконном стекле.

* * *

И тогда человек замкнулся в разрыве —
Четырёхмерном пространстве в одномерном мире.
Построил дом, встретил подругу.
И начал жизнь с нуля, по кругу.

В каждом замеченном им движении
Он видел только своё отражение.
В зеркале вдребезги упавшем с полки
На миллиарды живых осколков.

В хаосе неразрешимого спора
Люди снарядами землю роют.
Чтобы в слепой, святой аффектации
Там с мертвецами своими обняться.

* * *

Тень и сомненья отбросив, идёшь напролом.
Станешь не буквой абстрактной, но конкретным числом.
Станешь по стойке смирно в серый бетонный строй.
Здесь обретёшь ты цель, а значит душевный покой.

Развоплощение — стёртые плоские лица.
Страшная драматургия нулей позади единицы.
Мир как идея и в статистической мелкой погрешности этой идеи
Твари дрожащие, которые право имеют.

* * *

Трава растёт, растёт молитва.
Кругом отсутствие и битва.
В её пульсирующих ритмах
Танцует бабочка и смерть —
Земная круговерть.

Они едины как подруги.
Они в необозримом круге,
Где всё течёт в едином духе.
Но вдруг неуловимый сдвиг
И мир дробит себя и их.

Забытые слова простые
Осели пеплом и остыли.
Мы современники пустые
Пустой вселенной.
Где все ничто и неизменно.

Мы текст разбили на цитаты,
Где отражался Пантократор.
Пустые кольца циферблата
Показывают время
В бездушной теореме.

В ней люди просто исчезают.
Их заменяют именами.
И то, что было тогда с нами...
Котёл над очагом.
И Бог из ничего.

* * *

Лианов ночью зашёл в лес
И там, на дерево влез.

Он вспомнил всё, что было не сказано им
И стал одним.
Теперь он мог смотреть на мир словами.
Теперь слова его глазами стали.

Теперь он отличал смерть от начала,
И каждое мгновенье в нём зазвучало
Тишиной.
Лианов понял принцип основной.

Он прошептал насмешливо и грозно
Глядя на звёзды:
Они врут,
Что не умрут.

Заря здесь озарила небосклон.
Господи — сказал он.

* * *

Полине Лавровой

В небе горит, но не светит
Солнца подобье.
Мы смотрим вверх, на нас смотрят дети
Исподлобья.

Нам неудобно.
Мы замерзаем в собственном страхе.
Дети рассказывают очень подробно
О черепахе.

Там в первотьме
Где плоскости нет и углов,
Топчет она пустоту и на себе
Держит слонов.

Из трубных хоботов семенем хлынули стаи раскрашенных рыб.
Сонный объём пробудился в страстную дрожь.
Чётким пунктиром рыбы плывут среди глыб
Строя чертёж.

Обозначают контуры берегов
В первом пространстве.
Это-то из чего
Сложится пазл цивилизации.

Слово — движение.
Сразу, везде
Сущего отражения
Солнцем рассыпалось по воде.



Олександр ГАЛЬПЕР

/ Київ /

КИЇВСЬКІ НАРИСИ

Мой Телемак,
Троянская война
окончена. Кто победил — не помню.
Должно быть, греки: столько мертвецов
вне дома бросить могут только греки...
И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной,
как будто Посейдон, пока мы там
теряли время, растянул пространство.

Иосиф Бродский. Одиссей Телемаку

Приліт

Зайшов у літак Рига — Київ нарешті та сів на своє сидіння. Заплющив очі та згадую київське дитинство. Тут капітан оголошує:

— Ми випадково продали більше квитків, ніж місць у наявності. Якщо є п'ятеро бажаючих пересісти на цей же рейс завтра та отримати 500 євро компенсації та оплачений номер у готелі, ваучер на вечерю та сніданок — ми вам будемо дуже вдячні.

Я став думати та зважувати. 500?!! Отакої! Але ж я вже так налаштувався на Київ? Може, можна домовитися на 600? А якщо завтра знову запропонують 600? І потім післязавтра? Я читав, що таке буває. То я ніколи до Києва не потраплю! Мене охопила паніка. Luckily, доки я міркував, інші, більш спритні пасажери повскакували та випередили мені. Ну і слава Богу!

* * *

Митник на виході з бориспільського аеропорту:

— Ви схожі на людину, яка може везти 50 тисяч доларів готівкою. Визнайте. Є?

— Бешкетнику! Ви мене облещуєте!

— Проходьте швидше, чоловіче. Я не маю часу на ваші американські жарти.

Таксі

Сідаю на переднє сидіння біля метро «Нивки». Ото ніколи тут ніхто не здогадається, що я американець. Застібаю ремінь. Водій здивовано запитує:

— Ти що, з Америки приїхав?
Як швидко викрили!

* * *

Везе таксист додому й показує:

— Ото справа дріжджовий завод. У молодості друг, який там працював, через паркан перекидав мені дріжджі, і я з них самогон варив. Подвійне очищення. Кращий у Києві. До мене черги стояли.

Рідний двір

У пісочниці лежав мій однокласник Семен. Я підійшов і трухачу його за плече. Він підняв голову:

— Ти хто?

— Це я, Сашко Гальпер. Ми ж із тобою в одному класі та садочку були!

Обличчя Семена розпливлося в посмішці:

— А, Сашко! Ти мені на похмелитися як старому другові не даси? Ні? Ну і хуй з тобою!

Голова Семена знову впала на пісок. Почулося гучне хропіння.

* * *

Колишній сусід, Аркадій Мойсейович, дуже зрадив, коли побачив і дізнався:

— Давай я подзвоню татові до Ізраїлю. Він тебе так любив.

— Як? Він ще живий?

— Ну, йому вже за 100, але живий, звісно.

— Ну, не знаю, чи зручно.

— Не хвилюйся.

Аркадій набрав ізраїльський номер та поставив на гучний зв'язок. Пролунав старечий голос.

— Аркаша? Хто помер?

— Батько! Тут Сашко! Син наших сусідів.

— Яких сусідів?

— Гальперів.

— Не пам'ятаю таких.

— Ну, на восьмому поверсі.

— А, згадую цього антисеміта. Запитай, чого він убив нашу канарку Голду.

— Батько! Ти все плутаєш! Голда вилетіла з клітки, і її загриз наш кіт Мурзік.

— Скажи цьому негіднику, що коли він приїде до мене в Ізраїль, то я йому голову відкручу за Голду. Я так її любив.

Почулися ридання. Сусід поклав слухавку і ніяково посміхнувся. Я спробував пом'якшити незручний момент.

— Аркадію Мойсейовичу! Завітайте до мене завтра на виступ.

— Який виступ? Що за дурниці ти верзеш? Завтра у Маріїнському парку концерт єврейської музики. Буде найкращий музичний колектив Біробіджана, а ти незрозуміло куди мене тягнеш.

* * *

Сів на лаві біля свого парадного і дивлюся просто на двері, як загіпнотизований. Ще тридцять років тому я виходив з неї з портфелем і у формі радянського школяра. Де вже та країна? Навіть у школі викладають іншою мовою. Ну, час вже на читання, а то запізняюся. Раптом відчиняються двері і виходить чоловік із чорною, як вугілля, вівчаркою. І щось у ньому знайоме вгадується. Але він мене впізнав раніше:

— Сашко!

Я впізнав свого старого дворового друга Петю. Ми обійнялися. Я почухав собаці загривок і здивувався:

— Алмаз ще живий?

— Ні, звичайно! Вівчарки живуть по 10–15 років. У мене після твого від'їзду і після Алмаза ще два собаки були. Усі чорні вівчарки! Я люблю цю породу!

— Ну, хотілося б з тобою побалакати, але біжу на виступ. Який у тебе фейсбук? Давай дружити.

— Та не маю часу на ваш фейсбук і всі ваші інтелігентські інтернетні штучки. Я людина робоча, проста! Слюсар третього розряду! У мене дружина та троє дітей, собака.

— Приходь до мене на виступ завтра.

— Не можу. У мене з хлопцями риболовля.

— Ну, добре. Телефони брати немає сенсу. Я вже післязавтра їду.

Ми ще раз обійнялися, і я попрямував до метро. Ну що ж, Петре! Життя штука довга. Побачимось знову років за тридцять. Двома вівчарками пізніше.

* * *

Я виріс на київській вулиці Щербакова, радянського державного діяча. Але після того, як Україна здобула незалежність, цю вулицю вирішили перейменувати і, щоб не звучала надто по-іншому, перейменували на Щербаківську, на честь відомого українського вченого.

А що? Звучить схоже. Подумали: менше головного болю місцевим жителям буде. Але вийшло, як завжди. На деяких будинках таблички поміняли, а на інших забули.

А на декотрих будинках аж дві таблички. Ідеш вулицею Щербакова, яка поступово переходить у Щербаківську, а потім назад – у Щербакова. Потім зовсім не розумієш, де йдеш.

* * *

Завітав до районної бібліотеки біля мого будинку, куди бігав хлопчиськом. Мені біля входу бібліотекарка кричить:

— Швидше! Зараз почнеться.

— Що почнеться?

— Як що? Курси англійської.

— Я закінчив нью-йоркський коледж за спеціальністю «Англійська мова та література».

— Та досить мені морочити голову. Ви нічого не знаєте. Найкращі курси у Києві — у нашій бібліотеці. Йдіть вже швидше на другий поверх.

Циля

Телефонує мама:

— Ти в Києві і ще не завітав до своєї улюбленої тітки Цилі Абрамівни?

— Як? Вона ще жива? Вона ніби виїхала до Ізраїлю і померла в Хайфі.

— Тіпун тобі на язик! Вона просто всім казала, що там так жарко, що вона ось-ось помре. Закінчилося тим, що вона повернулася до Києва.

— Ну, звідки я знав? Я, звичайно, зайду.

— Вона на тебе чекає. Курочку приготувала. Ти пам'ятаєш, як ти їх любив у дитинстві? І гарну єврейську дівчинку 49 років. По-знайомитесь. З дуже пристойної родини. Має квартиру в центрі. Працює в СБУ. Українська націоналістка. Ти б за нею був, як за кам'яною стіною. Я могла б померти спокійно.

* * *

Телефонує Циля Абрамівна:

— Сашко! Що ж ти не сказав, що їдеш до Києва? Тобі ж, напевно, жити нема де.

— Не хвилюйтеся. Я зупинився у гарному готелі.

— Навіщо гроші на вітер викидати? У мене є квартира покійного тата. Міг би у ній безкоштовно пожити. Щоправда, вона виставлена на продаж, і я туди привожу покупців. Ну так ти б на цю годину виходив на вулицю погуляти. Нічого б із тобою не сталося.

* * *

Циля Абрамівна каже:

— Півроку тому мені телефонувала Іда з Торонто. А їй телефонувала Сара Абрамівна з Єрусалиму. Так ось, Сара просила Іду, а Іда попросила мене привітати тебе з днем народження. Вибач, що тільки зараз згадала.

— А чого Сара з Ізраїлю безпосередньо не може мені зателефонувати?

— Вона вважає, що ти покидьок та вбивця!

— Я ж їй кілька разів пояснював, що моя фотка у нью-йоркському метро — це була реклама поштової компанії, а не «Їх розшукує поліція».

— Я не знаю, що ти там наробив. Ти мене в свої справи не вплутуй. Я не слідчий і не знаю всіх фактів. Моя справа маленька — передати «З днем народження!».

Берківці

З Цилею Абрамівною шукаємо могилу моєї бабусі — Тойби Шлемівни. Хоча й дали в адміністрації цвинтаря карту та точну адресу, нічого не можемо знайти. Циля обурюється: «Тойба у своєму стилі! Я їй за життя ніколи не могла вдома застати. Вічно вона десь бігала. Ніколи її вдома не було!».

* * *

Що мене вразило на київському цвинтарі Берківці, так це велика кількість цитат з Омара Хайяма. Чи не на кожному десятому пам'ятнику. Ну, просто народний київсько-перський поет. І на єврейських, і на російських, і на українських могилах — Омар Хайям, Омар Хайям, Омар Хайям. Ну як не позаздрити? Мало я пишу про тлінність існування. Чи у них там уже є мармурові заготовки з висіченими віршами Хайяма і треба лише прізвище померлого киянина вписати? Дешевше буде.

Однокласники

Перестрівся з першою любов'ю — однокласницею Анею. Запросив її до ресторану. Вона одружена і в неї вже дорослі діти.

— Ти пам'ятаєш, як у сьомому класі у тебе вдома не було батьків. Ти мене запросив до себе, щоб нарешті щось зробити. Я так чекала цього моменту. Ми випили лише по дві чарки горілки, і ти відрубився. Я посиділа, подивилася, як ти спиш, мені стало нудно, і я пішла додому.

* * *

Тепер Аня не дає мені спокою. Телефонує:

— Сашко! Тут термінова справа! Чи ти пам'ятаєш Майю з паралельного 7-го Б?

— Ні. Не пам'ятаю.

— Ну, не важливо. Вона — моя близька подруга. Так ось, вона жила в шлюбі десять років, і потім вони розлучилися. Свого житла вона не має. Лише його велика квартира у центрі Києва. Вона лишилася там жити. Ну, чоловік у себе вдома три дні на місяць. Він будівельник, зводить готель у Житомирі, і там йому дали номер у готелі. Тепер через коронавірус будівництво припинили, і він повернувся до себе. Бухає через втрату роботи по-чорному і хоче сексу.

— Так може, їм возз'єднатися?

— Яке там? У Майї вже рік як коханий хлопець. Справжній інтелігент! Поет! Обоює її. Пилинки з неї здуває. А колишній чоловік ображає, б'є та гвалтує.

— Який жаж! От сволота! То хай переїде до свого хлопця, раз таке діло.

— Поет ніде не працює і мешкає у маленькій квартирі з мамою та сестрою. Майя в мене вже другий тиждень живе, але в мене теж мало місця. Діти. І чоловік на неї поглядає. Скільки може напівгола красива жінка спати на дивані, доки він...? Ще ця сучка нещодавно нас усіх омикроном заразила. Всі перехворіли. Вештається, чорт знає де, зі своїм поетом.

— Нехай поет знайде роботу та зніме квартиру!

— Він не може. Він справжнісінький небожитель. Йому треба час, щоб читати, думати, споглядати та писати. Проклятий коронавірус! Скільки він приніс горя! Коротше. Ми всі, друзі та подруги Майї, вирішили скинутися й відправити її на місяць до Іспанії з поетом. Потім, може, колишній чоловік знову поїде до Житомира. Але до мене вона вже не заїде! Скільки можеш дати грошей? 100 євро? 200? Майя тебе, між іншим, добре пам'ятає та хвалить.

— Навіщо до Іспанії? Це дорого! Давай у Білу Церкву під Києвом. Це таке чарівне маленьке містечко. Я там пів дитинства провів.

— Поет каже, що Біла Церква — це повна дупа, і він туди не поїде.

* * *

Телефонує Аня знов за пару днів:

— Сашко! Радій! Сьогодні на твоїй вулиці свято! Я знайшла тобі жінку. Моя найближча подруга Світлана не могла собі чоловіка знайти в Києві і познайомилася в інтернеті з мексиканцем, який живе в штаті Джорджія. В них уже двоє дітей. Він їй не дозволяє працювати. Вона живе в одному великому будинку з його братами та

батьками. Вона почувається, як у мексиканській в'язниці. Машини в неї немає, а без машини у тій дупі як без ніг. Телефонує мені весь час і плаче. Поїдь у штат Джорджію та викради її!

— А діти?

— З дітьми, звісно.

— Ну, в мене маленька квартира. Ледве-ледве місця на одного, а тут цілих ще двоє мексиканських дітей.

— А ти ще вечорами таксі водитимеш і знімеш квартиру побільше. Така гарна дівчина! Закінчила педагогічний інститут. Кращої дружини ти собі не знайдеш!

* * *

Телефонує Костик п'яний:

— З поверненням, Шуріку. А я тут, бля, забарикадований сиджу. Після смерті матері мені та сестрі дісталася квартира. Вона, сука, не хоче її чесно ділити. Поміняла замки, я не міг зайти. Я взяв знайомого слюсаря, теж поміняв замки. Тепер тут такий замок, що можна лише з дверима знести. Вона стоїть за дверима, хоче зайти, тицяє ключами і не може. Знаєш, куди ці ключі засунь? Викликала поліцію, а я не підходжу і не відгукуюсь. Не стануть вони без судового ордеру двері ламати. Так їй (багато нецензурних слів) і треба. Я б її взагалі, цю падлу, вбив. Вони збираються чекати, коли я вийду з цієї квартири. Та я з голоду здохну, а звідси не вийду. Мені Сьома з 201 квартири... Ти пам'ятаєш Сьому? Ти не пам'ятаєш Сьому? Так, коротше, Сьома зараз з даху на мотузці буде консерви й горілку спускати. І все через цю...

* * *

Зустрічаюся з розбагатілим другом дитинства Пашею:

— Ну що, йдемо в той бар, де мого минулого приїзду чотири роки тому сиділи? Непогано тоді випили.

— Ні. Туди ми не підемо. Там півроку тому людину зарізали. Прямо в барі. Ми підемо в інше місце.

— А там нікого не вбивали?

— Як це не вбивали? Ну, ти скажеш! Звісно, вбивали. Але аж рік тому.

Випили. Паша:

— Я тепер доктор фізико-математичних наук.

— Доктор? Ти в дитинстві не цікавився наукою.

— Ну, дивись. Кандидатська коштувала 10 тисяч зелененьких, а докторська – 20. Якби я лише кандидатську собі купив, то дружина мене не зрозуміла б. Закричала б: «Чим ми гірші за інших людей?».

— Якщо ти такий багатий, не міг би грошей дати?

— Гроші в мене не проси. Не можу навіть із принципу. Але можу тобі зробити докторський ступінь. У якій галузі ти хочеш? Нині з молекулярної біології подешевшали.

* * *

Ще Вова:

— Почитав твій фб. Ти такий самий, який був тридцять років тому. Вірші, оповідання, акторство. Ніяк не виростеш. Час дорослішати! А мене ось тиждень тому обрали старостою села. Будемо новий корівник будувати. У нас у селі є корова-рекордсменка. Улюбленка наша — Дорофея! Із самої Жмеринки приїжджають на неї подивитися. Їй потрібні нові хороми! А то незручно перед людьми.

Читання

Порадили сходити на групове поетичне читання у Києві, де наприкінці відкритий мікрофон. Ну, треба з чогось починати на Батьківщині. Першою виступала дівчина, яка читала довгу поему про те, якими всі її чоловіки були сволоцюгами. Перший був алкашем і бив, а другий не бив, але змушував драїти підлогу. Просто був схиблений на чистоті. Щоб ні однієї порошокни не було. Нелюд! Краще б був, як перший, який взагалі ніколи не прибирав квартиру та її не напружував.

Скільки я таких поетес у Нью-Йорку бачив та чув! Після їх виступів чоловіки-феміністи зазвичай плачуть. Іноді навіть щиро ридають про нелегку жіночу долю. Показують усім дівчатам, як вони, значить, розуміють. Але київські поети були не такі. Перший поет підняв руку, щоб поставити запитання:

— Ви, напевно, під столом погано протирали?

Пролунав вибух сміху. З іншого кінця зали долинуло:

— А під комодом не забували?

Та-ак! В Америці, звичайно, на таких мужиків викликали б поліцію. Може, навіть заарештували. Я написав у фб месенджер про те, що відбувається, моєму знайомому американському поетові-феміністу. Відповідь прийшла за секунду:

— Швидко накричи на цих мужиків та встань на її захист. Ти сьогодні з нею підеш!

* * *

Після закінчення читання основних поетів був відкритий мікрофон. Я вийшов і прочитав свою київську поему «Хосе й Тереза». Бородатий неохайний старий, що сидів у першому ряду, підскочив до мене і почав тиснути руку:

— Це геніально! Це найкраще, що я чув у Києві за багато років. Інші тут не варті й вашого нігтя!

Я посміхнувся. Ось воно, визнання у рідному місті. Починається веселе життя! Тут старий зашепотів на вухо:

— Може, позичиш на горілку? Дуже треба! Просто питання життя та смерті!

Я негайно відсторонився і почав відходити від нього. Він обурено заволав:

— Та за кого ти себе маєш? Як ти наважився у таке поважне місце зі своїми графоманськими віршами прийти. Зі своїми брудними сексуальними фантазіями про чорношкірих жінок! Так у нас таких, як... — кінця фрази я не почув, бо вискочив надвір.

* * *

Розговорився з 17-річним київським андеґраундним поетом про іншого поета. Кажу:

— Яка шкода, що він так рано пішов у 23. Такий талановитий! Такі подавав надії!

— Чому рано? 23! Старий уже.

* * *

Познайомився з трьома фанатками моєї творчості. Одній подарував свою книжку, іншій — магнітик на холодильник із видом Нью-Йорка, а третій дав 200 гривень на таксі.

Різне

На Святошинському ринку:

— У вас є парасольки із написом «Київ»? Мене просили привезти.

— Ні! Навіщо вам з таким простим написом? У мене є парасольки «Париж», «Лондон». Лише отримала. І спеціально для вас, чоловіче, за півціни — «Нью-Йорк».

* * *

Розговорився в автобусі з гарною дівчиною. Раптом побачив цікавий рекламний плакат, як кинути пити чи зіскочити з наркотиків. Сфотографував телефоном. Дівчина більше розмовляти зі мною не хотіла.

* * *

У синагозі зустрів цікаву парочку — 25-річного лондонського єврея Теодора та мініатюрну 30-річну філіппінку Перліту. Хлопець зрадів, що я розумію англійську.

Він працював програмістом за контрактом у Саудівській Аравії та познайомився з домробітницею та нянею — Перлітою, нормальною філіппінською філіппінкою. Все в ній було добре, всі її духовні потреби були задоволені, доки вона не зустріла романтичного та молодого англійця, який через тиждень зробив їй пропозицію.

Теодор пояснив їй, що треба було зробити якусь незрозумілу процедуру, гіюр, і стати справжньою, визнаною та офіційною єврейкою. Зрозуміло, що у Саудівській Аравії це було складно.

І не в кожну країну ще кохану пустять. Теодор через інтернет-пошук дізнався, що найдешевше й найпростіше з філіппінки зробити єврейку в Києві. Маленька Перліта сиділа тихо і дивилася злякано на синагогу і розмовляючих незнайомою мовою людей у кипах.

Від'їзд

«Увага! Пасажири рейсу Бангкок–Київ! Крокодил, якого ви намагалися нелегально провезти в Україну, вибрався з валізи, бродить багажним відділенням і клацає щелепою. Ми не можемо розвантажити багаж. Терміново прийдіть і заберіть вашого домашнього вихованця!»

* * *

На дитячому майданчику в київському аеропорту в Борисполі грають разом українські діти та діти брацлавських хасидів, що прямують до Умані на могилу рабина Нахмана. Чую розмову двох хлопчиків приблизно п'яти років:

— Шалом!

— Сам ти Шалом! Я – Федя!

* * *

Друга ночі. Посадка за дві години. Засинаю. Києве! Я ще повернуся!

Коли виписувався сьогодні з готелю «Нивки», мені кажуть:

— У нас учора жінка вилетіла до Праги, так її не пустили в літак через коронавірусні безглузді вимоги. Тож вона до нас повернулася. Ви теж повернетесь! Ваша кімната на вас чекає!

* * *

Вирватися не вдалося. Зламався літак. Добре, що хоча б не під час польоту. Рейс перенесли на вечір. Повернувся до готелю. Ну, якщо я прожив у цьому районі 18 років, то можна ще одну ніч.

* * *

Що з моїм рейсом? У кого довідатися? Лечу я чи ні? За інформаційним столом нікого нема.

То навіщо його поставили? Щоб було, як на Заході? Надійшло повідомлення, що мій рейс Київ–Нью-Йорк анульований, бо не з'явився на посадку.

* * *

Нарешті впіймав дівчину за інформаційним столом. Але вона філософськи заявила:

— Чоловіче! Ви гадаєте, якщо я тут сиджу, то все знаю про всі рейси? Ви глибоко помиляєтеся!

* * *

Щоб вакцинованому американському громадянину повернутися з Києва до Америки, потрібен свіжий тест на коронавірус. 50 доларів. В аеропорту медсестра так глибоко засунула, що я аж тихо скрикнув на великому та могутньому. Вона все зрозуміла.

Леонид БЕРДИЧЕВСКИЙ

/ Берлин /



ПОЭТЫ XX ВЕКА

Переводы с немецкого

Гюнтер Айх
Günter Eich
(1907–1972)

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

Солнце!
Ты падаешь на меня
то медью, то золотом.
Ты в моём сне
продолжаешь действо.

Мне хотелось бы навсегда
удержать тебя в своём доме, —
это было бы очень хорошо, —
я был бы безумно счастлив.

Ты проникаешь внутрь
то медью, то золотом.
Крепкие, белые зёрна
своими гроздьями
поглощают мой страх.

КОРОЛЕВА ГОРТЕНЗИЯ

Всё — в голубом, но ты без него,
королева Гортензия.

В лёгкой шляпке
с большими полями,
с множеством бантов.

В изгнании,
под большим кустарником,
в далёком городе Майи,
в перчатках.
Среди цветочной пылицы,
опекаемой крыльями ос,
напоминающих твой цветок,
королева Гортензия.

Кому это доступно у озера?
Кто возьмёт себе это взаймы
под твою красоту?
Как окунуться в тишину?
Подумай
об ожерелье и украшениях,
с лопатой,
иль с обнажённым мечом?
Громогласно.

ЯПОНСКАЯ ГРАВЮРА НА ДЕРЕВЕ

Розовая лошадь,
сытая и зубастая, —
для кого?
Где её всадник,
зачем скрывается?

Появись перед ней,
в гравюру войди,
натяни поводья.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Прежде шёл жёлтый снег
из-за сейсмических колебаний,
пропуская, пропуская
себя между жёлтых пальцев,
и слепя воздух
на моей одноглазой Родине,
оставляя свои надписи
словами и именами,

с дарами в ушные впадины
из Сидона,
швыряя взволновано золото
по временам вниз, к стенам,

туда, где живут тайны,
и доносится современный
запах постелей, и слуги
в кожаных одеждах,
и похотливые девицы.
Где нет взятых с собой факелов
и весёлой осени.
Лишь просоленное мясо
для переходов,
и слова, и имена...

Где держат меня в башне
у воды, когда мучит жажда...

Пауль Целан
Paul Celan
(1920–1970)

ХИМИЧЕСКОЕ

Молчание —
расплавленное золото
растраченное руками
при плавке.
Большое, серое,
как потерянные вблизи
фигуры сестёр.

И все имена
сожжённые вместе,
превращённые в пепел
из населения разных стран,
как лёгкие, воздушные кольца души.

Большие, серые, неуклюжие
заключённые.

Ты, в то же время.
Ты с зубными
коронками,
ты с винным приливом

(не стоит ли нам тоже
позабыть те часы?
Хорошо,
хорошо, как твоё слово,
давно уж умершее).

Молчание —
расплавленное золото,
растраченное, израсходованное
руками
прокуренных пальцев.

Где корона?
Воздушная корона!
Большая. Серая.
Бесследного
королевского свечения.

МЕРЦАНЬЕ ДРЕВА

Слово, —
я обычно тебе его бросаю.
Слово, —
не более того.

Я иногда
вспоминаю об этом.
Тогда была свобода.
Мы плывём.

Знаешь ли ты, о чём я пою?
При мерцании дерева, —
я об этом пою.
Мы плывём.

Знаешь ли ты о том,
что мы плывём?
Ты плывёшь со мной
долго и легко.
Ты запросто
открываешь мне,
да, запросто открываешь мне
плывущую душу.

Я плыву за двоих.
Нет, не плыву, —
это мерцающее дерево
плывёт.

Оно плыло когда-то.
Вот течёт пруд.
Бесконечный пруд, —
чёрный, бесконечный,
с крутого откоса.
С крутого откоса
созерцает мир.

Знаешь ли ты,
о чём я пою?

О дрейфе.
О, эти дрейфы!

Словно
созерцание мира,
но я не об этом пою.
Ты долго ещё говоришь
о движении души,
да, о движении души.

ПОДЛЕ ВИНА...

Подле вина и растерянности,
подле обоих остатков.

Я скачу по снегу, Ты слышишь,
я скачу, Господи, вдаль, —
ближе к победе
с достоинством
нашей последней скачки,
сквозь человеческое заграждение.

Они губят себя, когда
сквозь нас услышат себя, они
пишут, они
прислушиваются к бормотанью,
библейских наречий.

Георг Траклъ
Georg Trakl
(1887–1914)

РОЖДЕНИЕ

Рожденье: темень, молчанье и снег.
Тропы в лесу — следы охотников.
О, нервные взгляды мха.

Тишина матери. Тени деревьев.
Свободно разбросаны руки во сне.
Когда ж прекратит сонно светить луна?

Рожденье — ночное опьянение.
Голубая вода у подножья утёса.
Стоны утомленного. Падший Ангел.

Пробуждение в глухоте комнаты.
Двоится луна.
Блеск глаз молчаливой зрелости.

Боль. Крик роженицы. Тёмные крылья.
Движенье новорождённого в ночи.
Мягкий свет розовых облаков.

У ТРЯСИНЫ

В тумане странник. Шёпоты трубы
в тиши трясины под серым небом.
По маршруту птиц летит поезд
наперерез полотну воды.

У разрушенной гнилью хижины,
взмахнув чёрными крыльями,
взволнованная ветром берёза.

Улитка ползёт в обратный путь.
Молчаливо пасётся стадо.
И вот уж явление ночи.
Кроты прекращают шёпот воды.

Ингеборг Бахман
Ingeborg Bachmann
(1926–1973)

БЕЗВРЕМЬЕ

Начинается трудный день
с исчезновения безвременья
маячившего на горизонте.
Зашнуровываешь ботинки
и прямо из дому направляешься
на рыбную ловлю,
где разгуливает холодный ветер.
Сквозь низкую зелень едва
пробивается свет.

Ты обращаешь взгляд к туману:
исчезновение безвременья
с маячившего горизонта.

Торопишься по песку на берег.
Изгородь высоких тонких стеблей.
Ты швыряешь в них слово, —
это старательно подхватывает его,
прощаясь с ним
словно после жаркого поцелуя.

Разглядываешь шнурки на ботинках.
Решаешься идти на охоту с собакой,
зашвырнув рыбу подальше, в море,
пробираешься сквозь гущу кустов.
Так начинается трудный день.



Михаил АРАНОВ

/ Ганновер /

* * *

Скоро будет уж некому
Разделить мою грусть.
Я ещё покумекаю,
А потом соберусь.
Соберусь я в незваные
Гости биться челом.
Вот зачем шмотки рваные
Сохранил на потом.
И пиджак чёрно-глаженный,
Что носил ещё дед —
Приглашал напомаженный
Юных дам на обед.
А вот нынче безверие,
Как верёвкой узлы.
Снова песню за дверью
Затянули козлы.
Смерть моя — ты нескоро,
Но помучаешь всласть.
Я умру под забором,
Где сирень взорвалась.
Эта песня моих
Недосмотренных снов.
Знать, бутыл на троих
Мне мерещится вновь.

Виталий ШНАЙДЕР

/ Ганновер /



ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК

Памяти М. С. Л.

Молча черный гроб несли
К свежевырытой могиле,
Тихо в яму опустили,
Каждый бросил горсть земли.

А потом был черный зал,
Долго говорили речи,
Сын сидел, сутуля плечи,
Он ни слова не сказал.

Над виском его седым
В свете тусклого плафона
Профиль рисовал дракона
Сизый сигаретный дым.

ТАК ЗДЕСЬ ВСЕГДА

И так всегда здесь — эти их красные рожи в подъезде, —
Погромщиков слободских и мясников охотного ряда, —
Средь шума большого города, а особо — в предместье,
В полуденный липкий зной и под шорох сухой снегопада.

Поспешно продравшись через ряд их гадливых ухмылок,
Я чувствую себя совсем никому не нужным и лишним,
И странный запах всегда здесь — треск и прелых опилок,
И чье-то сморщенное лицо в окне на этаже нижнем.

* * *

Как и встарь, веришь лживым речам сиповки.
Вечер входит в синем плаще, как незванный гость.
И чешутся руки пальнуть в нее из винтовки,
Но «не убий» в башке застряло, как в горле кость.

И потягивая свой эль в английском пабе,
Водишь перстом по лбу, как стилем по листу,
И диву даешься, как в этой блудливой бабе
Мадонну сумел узреть, склонившуюся к Христу.

* * *

М. Х.

Всё разрушено, всё разбито,
И уюта остывший след, —
Предотъездная волокита, —
Суэта, что постылей нет.

Были годы — все шло так гладко
По накатанной колее,
Но растерло их в прах брусчаткой
В дальней северной стороне.

И теперь на стенах лишь тени, —
Нас с тобою давно там нет, —
Их игра и переплетенье,
Чёрно-белый кордебалет.

Сергей ВИКМАН

/ Ганновер /



* * *

Пришла гроза и дождь уже идёт
и опадают вишни и черешни
цветёт каштан у Каменных ворот
и у сирени снова запах прежний
как прежде пахнут сизые цветы
рождая ощущение непокоя
какое создаешь вокруг и ты
начав движенье самое простое
начав движенье и сощутив глаз
как смотрят еще детские котята
или лиса когда глядит на нас
так словно бы ни в чем не виновата
наверно так не виновата ты
застегивая блузки узкий ворот
когда сирени сизые цветы
перед грозой закутывают город

* * *

Завтра будет наверно снова зима за окном
завтра первые снегом покроются сонные ели
будешь думать и снова мечтать об одном
неужели изменится за зиму мир неужели
снег успеет окрестный привычный пейзаж изменить
в белый саван укутав с застывшей водою каналы
чёрный бархат сумеет вечернее небо пленить
фонарей затемняя вдоль улиц бредущих шандалы



Олена МОРДОВІНА

/ Маастрихт /

З РОМАНУ «О ПІВ НА СМЕРТЬ»

Фрагмент

1

Дехто вважає, що з пацієнтами лікарні для душевнохворих мають активно спілкуватися психіатри. Як у кіно, задушевні бесіди, атмосферна кімната з коштовними меблями, бездоганні міміка та мова, котрі зачаровують із перших хвилин прийому, спроби зрозуміти, що сталося і чому. Поки не бачила жодного. Втім, коли мене приймали, напевно, був черговий лікар. Якись люди точно були. Мені здавався безглуздим цей арешт: темрява ночі, повсюди війна, саме так, суцільна війна і ніч, та дві величезні звірини туші, які навіщо тримають мене тут. Мене паралізував тваринний страх від усвідомлення тієї сили, що втілилася в цих тушах.

Слабко блимав вогник сірого приладу, схожого на трансформатор старого радянського телевізора, а сонний чоловік ставив запитання. Санітари вивертали мої руки, щоб знайти можливі сліди уколів на моїх венах. Потім самі щось укололи і прив'язали до ліжка в морзі. В усякому разі, перша палата в ту ніч здалася мені саме ним. На ліжках покоїлися трупи. Навряд чи санітарам вдалося би мене там залишити, якби не прив'язали: руки скрутили рушниками, а живіт здавили довгою тканиною. Чітко та швидко, не було можливості навіть ворухнутися.

Від першої палати завжди віє холодом. Не люблю ходити повз неї до їдальні. Мені й досі здається, що там сплять мерці.

Зараз перевели до п'ятої, тут пацієнти вже спокійніші. Процедури зроблені, мені сказали, що можна спати. Але я вважаю, найголовніше тут — не заснути, коли від тебе цього хочуть, бо дуже важливо пережити ніч, як у «Вії». Зранку тільки одне на думці: чи всі живі? Особливо я. Намагаюся не пити циклодол, бо якщо вже не позбавитися уколів — то хоча б пігулки можна швидко штовхнути язиком за ясна, а після виплюнути.

На підвіконні — засушені трави: хміль, деревій, хризантеми. Пацієнтки налагоджують побут, намагаються здаватися нормальними. Так повільно і тягнеться час, під скрип воріт за вікном, шурхотіння капців, шелест газет. Між дерев гойдаються мокрі білі простирадла, а сонце настільки яскраве, що відблиски на листі кривих яблунь здаються весняними квітами.

Стіни завтовшки з метр, склепінчасті стелі коридорів та похмурі картини — подарунки колишніх пацієнтів. Коли Врубель розписував Кирилівську церкву — йому позували пацієнти цієї лікарні. Цікаво, він приходив прямо сюди або їх випускали? Це старий корпус, можливо, тут він їх і малював, у кімнаті для побачень.

Мене сьогодні відведуть туди о п'ятій, Лері зателефонували. Наскільки можна зрозуміти, на першому допиті я дала їм її номер телефону, попри те, що в тому стані я насилу могла згадати власне ім'я.

Сонячна смуга повзе вибіленим простінком. Зараз четверта година дня, коли межа світла і тіні стане рівно у центрі — буде п'ята, а після світло переповзе у кут кімнати, і приміщення почне занурюватися у сутінки.

Кімнату для побачень я теж пам'ятаю з тієї ночі. Вона здавалася просто кліттю, жахливою кліттю, що світиться посеред війни і нескінченного мороку.

Зараз тут цілком комфортно, гуде маленький холодильник. Зейберман сидить біля вікна з якимсь хлопцем. Окрім них у кімнаті дві похмурі жінки, які про щось перешіптуються у кутку:

— Привіт! — я збентежено посміхаюся.

Валерка лізе цілуватися. Млосна, заспана, пахне бабусиним «Ноктюрном».

— Я, звичайно, багато чого від тебе чекала, — вона цокає язиком і киває на свого приятеля. — Це Женя, він з аспірантури.

— Ти теж дарма часу не гаяла.

— Нічого особистого! Він допомагає мені зі звітом по практиці.

Леру Зейберман я не могла злякати своєю витівкою. Це була досить смілива дівчина, принаймні, у своїх зовнішніх проявах. Я звернула на неї увагу відразу ж на першій лекції. Сиділа з нею поруч і роздивлялася їй, не соромлячись.

Її чітко окреслений рот та ніс із витонченою горбинкою, з якого вона постійно змахувала локони чорного, як смола, волосся. Його індигові відливи точнісінько, здавалося, повторювали примхливий вигин губ, гідний обраниць самого Соломона. Червона сукня немов обволікала її виточену фігуру, і вся вона ніби сочилася тією істинною жіночністю, якої бракувало мені. Жіночністю, яку актор театру кабукі відточує десятиліттями, їй же вона була притаманна з народження.

При цьому жіночість її була виключно інтимною, не виривалася назовні, але вабила до себе, таємнича і тремтлива, як вогонь суботньої свічки. Єдине, що видавало її дівочу дурість — тату-колібри в

області декольте, над правою груддю, та два масивні срібні кільця — в мочці вуха і під самою дужкою — з'єднані ланцюжком, який вічно плутався зі смолянистим витим локоном.

Наприкінці вересня ми непомітно здружилися. Був День пам'яті Бабиного яру, студенти всіх факультетів збиралися біля мотозаводу і пішки тягнулися до парку. Накрапував дощ, ми з Леркою пленталися в хвості процесії, ворушили ногами мокре листя, потім бродили навколо ярів по усипаним червоним піском доріжкам. Стебла пониклих дельфініумів мерзнули в білих гіпсових вазонах, про щось розповідав рабин у гучномовець, за ним — Вадим Рабинович. По мокрих багрових ягодах барбарису, схожих на згустки крові, повзли дощові краплі. Пізніше прямо на вулиці ми пили каву з теплих полістиролових стаканчиків. Телевишку через ранішній туман не було видно.

Вона щось запитує. Я дивлюся на слід від помади на її зубах.

— У що ти одягнена? Тобі одяг привезти?

— Тут усім таке видають. Котрих не родичі привозять.

— Ти подзвониш мамі?

Сьогодні вона одягнена у джинси та бійцівську майку, а її розкішне волосся стягнуте гумкою. Сидить, розкинувши по кріслу свої кінцівки, як розібрана лялька, причому нога її, перекинута через підлокітник, ритмічно погойджується. Здається, її поза дещо бентежить похмурих жінок у кутку.

— І як я їй подзвоню? У рейку? Я не маю її телефону. Вона змінила там вже третього чоловіка. Якщо тільки сама забажає зателефонувати раз на півроку, як завжди, запросити на канікули. Електронною поштою вона, напевно, не користується. В усякому разі, мені про це нічого невідомо.

Щиро кажучи, батько наполіг на моєму вступі до єврейського університету (треба відзначити його шляхетність, інший би на його місці став затятим антисемітом), щоб після другого курсу я могла перевестися до Хайфи та бути поряд із матір'ю. Вона залишила нас чотири роки тому, коли вийшла заміж за дантиста Шульмана і поїхала до Ізраїлю. Я навідріз відмовилася їхати з нею, та воно й на краще. Мене просто нудить від «Царя Давида» трирічної витримки та липких цукерок, які вона присилає мені на Песах.

Ці університетські футболки, пластикові тріскачки на Пурим та нудні фотографії, схожі на тиражовані листівки. В останній бандеролі вона прислала цукерки «Малюк Рут». Малюк Рут — відомий американський бейсболіст, а вона, напевно, подумала, що це «Крихітка Рuffy» і в цьому є щось біблійне. Мерзенні липкі цукерки. This baby'll get you going!

— Спочатку я думала, що це знов наркотики, коли подзвонили і сказали звідки. Лікар запевнив, що ніяких наркотиків, але тоді я зовсім нічого не розумію. Женька повинен щось знати, він у Скока кандидатську пише.

— У Скока? Непогано! — я важко розмірковую. Розмовляти поки теж не дуже виходить.

— Так, але моєю спеціалізацією є нервово-м'язова фізіологія, — аспірант виправдовується перед Леркою, наче вони вже одружені багато років.

— Круто! І це все, що ти можеш сказати? — вона вичікувально дивиться на мене.

Я відвожу погляд. Спостерігаю, як стара жінка за вікном розбиває підбором волосський горіх.

— То вони що, не брали ніяких аналізів? Нічого? Отак запитали і все?

— Уяви собі. Але згини ліктів таки перевірили, ну про всяк випадок.

— Авжеж! — повторила вона задумливо. — І як ми з цього вибиратимемося?

— Випустять. Я ж не хвора, врешті-решт.

Яскравий промінь сонця доповз до кута, де сиділи похмурі жінки. Я й не помітила, як до них приєдналася дівчина з сусідньої палати, на яку завжди боляче дивитися. В ній є щось від хлебниковської Мави або гоголівської панночки. Пухка, кароока, в чорному спортивному костюмі. Зараз, поклавши руки на зошит, вона повільно вимовляє: «Я назавжди зрікаюся своїх віршів». Жінки хрестяться і шепочуть.

Лерка теж на неї дивиться.

— Тут тиждень посидіти — будь-яка людина хворою стане. А така дурна, як ти...

Я слабо запротестувала.

— А як тебе ще назвати? Та й оці теж. Кінець двадцятого століття, а вони на наркотики перевіряють, дивлячись сліди від уколів у згині ліктя. От потвори!

— Лер, тихіше. Наступного разу нас сюди не пустять, — аспірант присунув стілець до мене:

— Тобі потрібно згадати усе детально, в усіх подробицях. Із самого початку, з тієї миті, яку ти виразно пам'ятаєш.

— Ну звісно, зрозуміти це складно, — Лера закотила очі під лоба. — Ми зараз вже підемо. Що тобі наступного разу принести?

— Щось почитати. Коена принесьте, «Улюблену гру» я вже читала, можете знайти щось інше?

— Жень, запам'ятовуй. Леонард Коен, все, окрім «Улюбленої гри».

На самому початку літа, виснажена самотністю, голодом (залишився тільки мате, рис і пачка лаврового листа), нічними грозами і пильнуванням над мокрим, залитим світлом прожекторів плацом, я поволоклася до Зейберман. Я вже декілька днів не їла хліба, і сили майже покинули мене, поки я дійшла до її будинку через дюжину кварталів по нестерпній спеці. Пробираючись до її кімнати, я зіткнулася з абсолютно голою старою, яка брела через коридор із кімнати в кухню.

— Я ж казала, бабусю, не ходи голою по всій квартирі, це соромно — у нас гості, врешті-решт, — Лера вокала так, що, здавалося, зараз задзвенить скло.

— Припини кричати, дитино, бабусі жарко, бабуся не може ходити вічно одягнена в таку спеку. Проходьте, Сашенька, проходьте. Мені соромно перед людьми, Леро, — ти так кричиш на бабусю. Що вони можуть про нас подумати? Сашенька, ви сьогодні щось їли?

Її мама була славною жінкою — вона завжди пам'ятала про всі подробиці мого життя і ставила дуже потрібні питання.

— А що ви сьогодні їли? — вона втупилася на мене своїми уважними круглими очима.

Збрехати було неможливо.

— Давайте я принесу вам супчику.

Буквально за два дні до того я читала про це у Коена: «А що ви сьогодні їли?» Всі єврейські мами однакові — й завжди ставлять ті ж самі питання. Я вмостила на Лерчиній тахті, застеленій картою ковдрою, розчинилася в їхніх голосах, у цій неймовірній кількості меблів, які, здається, тут ніколи не викидали (у невеликій кімнаті скупчилися вже три ліжка, а зайві стільці були складені на шафі), у стінах і дверях, оббитих килимами, задрапованих фіранками.

Прямо на килимах висіли фотографії Лерчиної мами в студентські роки — кремезна вольова дівчина з великим носом і в таких саме окулярах, що й зараз. Вони сиділи з подружкою, схиливши одна до однієї голови — сильні післявоєнні комсомолки з м'ясистими тілами та міцною психікою.

Заздрю тому, від чого завжди тікала — завжди хотіла бути субтильною психопаткою.

Доки ми обідали, Лерчина мама все розпитувала, як я справляюся без тата, і казала, що мені тепер треба бути розсудливою дитинкою. Потім вона перевдягнулася у сукню і прийшла знову:

— Як ви вважаєте, Сашенько, чи варто мені її вкоротити, а то вона здається мені дуже довгою?

Я відповідала їй радісно і якимось надзвичайно живо.

— Ви дійсно так вважаєте?

— Мамо, іди звідси геть! Дай нам поїсти, нарешті!

Мама образилася і пішла, та більше не з'являлася. А після цього, коли Лера відносила посуд, я чула, як вони голосно сперечалися в коридорі.

— Навіщо, питається, потрібно було топити цих котенят? Заважали вони тобі? І чому у відрі, де я мию підлогу?

До мене ластилася Нюська, котра знов була готова завагітніти. Я скинула її з колін.

За Лерою заїхав приятель, і вони відвезли мене додому.

Тепер Лера дивилася на мене і чекала, коли я ще щось скажу.

— Добре. Смачненького чогось принести?

— Сік. Мені тут нічого не хочеться, окрім соку. Я вас не дуже напружую?

— Бещ-щ-щенко, ти одуріла, такі питання ставити? Ключі від хати в тебе?

— Здала комендантові перед від'їздом.

— А він нас пустить? Давай, ти записку напишеш? Потрібно ж тобі якийсь одяг?

— Навряд чи вас навіть на КПП пустять. Хіба тільки через паркан. Там, не доходячи до КПП, за гаражами є місце, де можна через паркан перелізти.

Того зимового вечора, коли ми розлучилися з Богданом, я поверталася, ледве пересуваючи ноги. У мене вимагав пропуск солдат із погано вилікуваною заячою губою, не вірив, що я йому забула, і що взагалі тут живу. Мені нема чого було йому відповісти. Чому я намагаюся проникнути вночі на територію? Що я могла йому пояснити?

Що ми до ночі стояли біля каси кінотеатру та дивилися один одному в очі — непотрібні й порожні?

Гра скінчена. Чергова гра, в якій він майстерно відіграв свою роль, була для мене всім. Черговий офсайд. Вулиця курилася димом, що спалахував разом з неоновими буквами червоним та синім кольором, ляскали двері автомобілів, що під'їжджали до дверей, про щось довго розповідала блондинка, притиснувши телефон до бічного фасаду величезної пишної зачіски, потім дівчина зникла, зникли й люди, що чекали сеансу. А ми все дивилися один одному в очі, і вже нічого в них не змінювалося, ані єдиного проблеску. Біля відкритого ресторану навпроти шипів фонтан, автомобілі снували, приголомшуючи ревом перехожих. Блимали вогні реклами. Пиво «Стела Артуа» — найшляхетніше пиво всіх часів. Згущувалися сутінки над містом і кілька разів бив годинник, а ми все стояли й дивилися один одному у вічі. Мене проводжали голоси, що лунали з відкритих вікон консерваторії, нескінченний звук віолончелі, проникливий вечір, і випадковий солодкий мигдалевий запах тієї пані, що промайнула назустріч.

- Я тобі краще зі свого щось підшукаю. Тут хоча б мені твій одяг віддадуть? Тебе взагалі в одязі сюди привезли?
- Так, звичайно... напевно.
- А звідки, де тебе знайшли взагалі?
- Взагалі я в Пітері була. Не знаю, як я знову тут опинилася.
- Точно в Пітері? Може, ти зі своїми друзями десь на Со-лом'янці задвинулася, і тобі здалося, що ти в Пітері?
- Я пам'ятаю, як їхала. Все пам'ятаю. Ну, майже.

Сама дійшла до палати, мені довіряють. Мавку відводили санітари. Треба чимось зайняти час до вечірніх процедур. Намагатися щось згадати або слухати, про що балакають санітарки? Терпіти не можу фальшивих гібіскусів на стінах. Зейберман наступного разу щось принесе поїсти, проте я просила тільки сік. Вона любить готувати, краще за все у неї виходять груші в білому вині, але мені було б соромно уплітати їх перед голодною дівчиною Штуцер. До неї ніхто не приходить. Тут ніхто нікого не пригощає.

Чую, як привезли новеньку. Санітарки волочать її по коридору до першої палати, перекикуючи одна одну.

— Не хочу! — кричить вона.

— А чого ти хочеш? Чого?

Мені видали якийсь сірий запряний рушник. Гаразд, і такий згодиться. Хотіла ще Лерці сказати, щоб привезла нормальний. Хоча, може вона й сама здогадається, але зараз мені потрібен душ.

Гримлячі металеві двері та білий кахель, який був весь у подряпинах. Я переступаю на піддон душової і вмикаю воду, моє відображення мигтить в стулці далекої шафи та дзеркалі, ромбом підвішеному прямо до віконної палітурки.

Не люблю казенні душові, відчай у них множиться в десятки разів.

Я знаю, як довго можна сидіти в казармовій душовій, притулившись потилицею до липкої стіни і кам'яніти від безвиході, не маючи можливості навіть плакати: дивитися, як стікають звивисті струмочки до ґратчастої діри в мерзотній іржавій підлозі, слухати, як здригаються від виття труби.

Тієї зими, одного похмурого дня, коли я здала комендантові ключ від душової, виявилося, що пройшло вже три години. Комендант і його дружина жаліють мене. У них є маленька собачка, котру вони вигулюють, застібнувши навхрест у перешиту офіцерську портупею. Дітей у них нема, можливо, саме тому вони жаліють мене. Батько живе вдома рідко, зараз він на льотному полігоні, по-моєму, з коханкою, так буде до осені, а потім знов кудись поїде. За його зовнішнім виглядом ніколи не можна ні про що здогадуватися, він — абсолютно безтрепетна людина. Одного разу його літак впав у тундрі. Вони померли ще під час падіння — так він мені розповідав, і

зрозуміли, що живі, лише після того, як літак упав у болото. У льотчиків були унти та зброя: вони змогли два тижні годуватися в тундрі. Унти, звичайно, мало допомогли — ноги в нього так і залишилися обмороженими, але смерть він пережити зміг...

По коридору з одного боку в інший прогулюються дві мишоподібні подружки, вони читають молитвослов і шикають на тих, хто розмовляє голосно. Я теж стала прогулюватися назад-вперед коридором, рахуючи кроки. Втім, це заспокоює зовсім ненадовго. Видужуючі сидять біля низького столика та розмовляють про музику, за їх розмовою стежить неосяжних форм стара жінка в білому халаті. Вже близько десятої години вечора, у відділенні залишилися тільки хворі й санітарки.

У палаті настає повна тиша. Дівчина на прізвище Штуцер не може ковтати пігулки, вона ретельно, з хрускотом, їх пережовує, і тільки після цього запиває водою.

Гасимо світло рано, щоб не летіли комарі, санітарки відчиняють кватирки.

Кричить новоприбула, чіткі й гучні уривисті слова долітають навіть із далекої палати.

— Ти теж тут через пісні? — запитує Штуцер, яку ось-ось повинні виписати. — Я весь час побоююся, що в мене знов почнеться, і мене вже не випишуть ніколи.

2

Літо невблаганно наближалось до несвіжої зрілості, ботанічна практика першого курсу мала початися в понеділок. А в суботу я прокинулася на підлозі, загорнута в смушковий кожух. Прокинулася в сльозах, ступні були крижаними напوماцки, поряд зі мною на підлозі стояв холодний чай. Нагрянула остання стадія розпаду, треба було здригнутися і просто поїхати. У повній відповідності з жіночою логікою я вирішила поїхати у напрямі, протилежнім тому, в якому полетів він, але так само далеко.

Він полетів до Анкари, коли стояли ще водохресні морози. Попросив мене не засмучуватися, зібрав свої речі, зняв з мотузка рушник, сизі підштаники і відлетів. Я побачила квиток на літак і майже не могла спілкуватися з ним. Коли у людини квиток на літак, його самого вже тут немає, присутнє тільки голографічне зображення. Тому ценці такі сюрреалістичні.

Пронизливе сине небо дзвеніло в ті дні. Дивовижна паморозь, схожа на візерунчастий лебединий пух, дивувала місто. Ми сиділи в барі, в «Ребеці», й читали газету, в яку мій ненаглядний загорнув квитки турецької авіакомпанії. Будівельники підняли краном у небо купу жовтої цеглини. Білі гілки креслили завитки на рудому ліхтарі.

Температура в Анкарі п'ять градусів вище нуля, а я все запитувала, чи заведе він собі мавпочку.

Ми цілий тиждень бродили зимовим містом, дивилися у вітрини магазинів, банківські й ресторани акваріуми.

Я навіть пам'ятаю день на фестивалі, коли сестрички Ільменські розповіли йому про французьку студію в Анкарі, загорілі й наливні, мов персики. Він не розрізняв навіть хто з них хто, але напевно вже тоді завів із кожною інтрижку.

Ми зайшли на поштамт, і нас майже збив із ніг запах сургучу. Він хотів відправити горілку якомусь хлопцю з Айдахо, з яким їх звело в Празі, але в Штати, згідно з інструкцією, виданою нам ввічливим службовцем, заборонено посилати алкоголь, так само як і невстановленого зразка трави й засушених комах.

У суботу зранку паморозь покидала самі вершини пірамідальних тополь. Біля Оперного, там, де знесли будинок, ми знайшли акуратну вивіску: «Тут буде канцелярія німецького посольства», і дуже виразного орла.

— Історія ще не закінчена. Як не дивно, навіть таке може повернутися.

Я чула лише відлуння: «Може повернутися... може повернутися...».

Він зайшов попрощатися з Кирилом. Сказав, що при першій же нагоді відвідає з екскурсією древні хетські землі.

— Це якраз у тих місцях, де зараз курди борються за незалежність, тому радив би тобі цікавитися хетськими землями виключно в стінах стамбульського музею.

А потім він відлетів, мріючи про фісташкову халву в очікуванні рейсу, а я малювала його портрет на бланку митної декларації.

Ці сестри Ільменські дуже схожі: замість носа в кожній ніби клиночок, вбитий між брів. Я з міркувань ввічливості допитувалася, хто з них зняв «Уікенд», а хто «Кавову гущу», вони показали, але я все одно не розрізняла.

Ми сиділи в шестикутній загородці центрального терміналу, снідали, мої вилиці зводило від майбутньої розлуки.

За день до цього він не дуже добре обійшовся зі знахабнілим перекупником анаші, одним із дванадцяти фінських ді-джеїв, відомих у місті. Той просив його купити п'ять стаканів у солом'янських бандитів і виділив для цього певну суму. Звичайно, Бодя взяв гроші й назавтра безтурботно відлетів із ними в Анкару, благо квиток сплатила студія. Це була давно спланована помста: колись цей фінський ді-джей продав йому за чималі гроші дуже погану траву.

У Києві зовсім не залишилося кав'ярень, їх можна було перерахувати на пальцях. Ми бродили весь вечір, і нарешті знайшли одну на Подолі, за будівлею старої поштової станції.

У напівтемряві на чорних стінах танцювали намальовані білою фарбою боги інків. Вони були виконані дуже прискіпливо, а на ліх-

тарях, вбудованих у стіну, ставали багровими й сміялися. Ми роздяглися і сіли, дівчина запалила на столику свічу. Богдан раптом схопився, ніби ошпарений, і сказав, що нам треба негайно звідси піти. Він помітив на серветці назву кав'ярні, і виявилось, що якимось дивом ми поцілили точно в улюблене місце тих самих фінських діджеїв. До Верхнього міста він із побоювання повертатися не хотів, а весь Поділ у пошуках затишної кав'ярні ми вже обійшли. Довелося задовольнятися приземкуватим дорожнім ресторанчиком Макдональда, що біля набережної. Розташувавшись біля монгольф'єра з витонченим плетеним кошиком, ми пили какао, яке подають тут під виглядом гарячого шоколаду, і вели безглузду розмову про вологі тропічні ліси, занапащені гамбургерами. Я бачила крізь його відображення Дніпро та прапори, що майорили під світлом ліхтаря, а він бачив крізь мене грати й дівчину, яка куталася в бабусин светр, тремтячи від холоду на східцях.

Маленька бориспільська квіткарка, яка продавала іриси та орхідеї за гроями скляного шестикутника, була набагато щасливішою за мене. Я тримала його за руку і спостерігала за нею з-поза скла.

У цьому сум'ятному описі я зовсім не хотіла зануритися в нетрі любовних страждань, щоб якимось чином задовольнити свої мазохістські схильності, мені б хотілося просто... що? Захер, Мазох? — хотілося б мені запитати батька-засновника, — навіщо, Герасиме? Але сутінки давно вже згустилися над богами минулого. Всі вони були студентами театального — і Богдан, і Ольховський, і Енді. Втім, Богдан на той час вже кинув інститут. Учився він на режисера-мультиплікатора, але в любові до театру були особливі переваги.

Одного разу біля театру Франка ми зустріли жінку. Богдан упізнав її, вона його також. Між ними відбулася якась незрозуміла розмова, після чого моєму коханому треба було дещо прояснити. Колиш давно, в день чергової прем'єри або, скажімо, гастролей МХАТу, вдягнувшись у свій кращій костюм, Богдан підходив до театру Франка і, помітивши відповідну пані у призивній стійці, поетичну і стомлену самотністю, тривожно так запитував, чи немає в неї зайвого квіточка. Вона, начебто, чекала на подругу, котра, звичайно ж, не приходила. Студент галантно демонстрував пані свій гаманець, під приводом того, щоб заплатити за квиток. Пані неодмінно відмовлялася, в театрі він пригощав її шампанським і бутербродом із червоною ікрою, після чого вона, зазвичай, запрошувала його зайти на філіжанку кави. Він, природно, затримувався у неї на нічку, другу, і так до тих пір, поки вона, нарешті, не давала йому грошей на таксі...

Вечорами всі «театрали» збиралися в «Ребеці», туди ж підтягувалися і дешеві повії, доступні навіть студентам, при цьому страшні всі інтелектуалки й сперечальниці. З типовим зразком такої я познайомилася першого ж дня, як ми заїхали туди, до Хамеля, забрати

стакан плану. Хамель працював тут барменом і одночасно наглядав за повіями, а біля входу в «Ребеку» завжди чергував таксист. Щойно ми спустилися, як на нас накинувся слинявий радісний Джой — хамелевський боксер — красень і симпатяга на зразок самого Хамеля, тільки напрочуд щирий, чого не можна було сказати про його хазяїна. Поки Богдан розмовляв за стійкою з Хамелем, до мене підсіла вона і, кутаючись у шаль, почала мене розхвалювати і запитувати, ким я доводжуся Бодику. Потім вона плакалася мені на свою долю, розповідала, що ось вже п'ятий рік вступатиме до театрального, що зараз вона готується і підбирає уривок з французької літератури.

— Ось послухай... Так, мене, хто так полюбляв сидіти на берегах Тибра в Римі, а в Барселоні сотні разів прогулюватись туди й сюди бульваром Рамблас, — вона читала уривок з Сартра, — ...тепер існую в тому ж часі, що й оці гравці в манілью, і слухаю...

— Жанка, лярво, стрибай у машину, зараз виїжджаємо, — покликали її з вулиці.

— Ви їх пробачте, вони такі грубіяни. До зустрічі!

Я посміхнулася їй, намагаючись, щоб у моїй посмішці не прослизнуло співчуття — мені було дуже шкода її. Тональний крем, котрим вона замастила кола під очима, контрастною плямою розтікся по вилицях, — і вона була схожа на стару ляльку з пап'є-маше, від якої відклеюються клапті паперу.

Серед них усіх мені найбільше подобалася Дама з камеліями: вона була тут кожного вечору, і завжди на її столику лежала пачка легкого «Мальборо». І тільки у дні звичайного жіночого нездужання вона курила з червоної пачки, і всі знали, що до неї підсаджуватися не варто — в ці дні вона замислювалася над життям, але ніколи не траплялося так, щоб вона не прийшла взагалі.

Дама з камеліями завжди замовляла один і той самий коктейль — коньяк із вишневим соком. Темно-бордова рідина повільно піднімалася по соломинці, мов кров по скляному капіляру в медкабінеті.

Не знаю, навіщо він так часто брав мене в «Ребеку». Можливо, йому було нудно без мене, або він сподівався, що я відчеплюся від нього і закохаюся в когось іншого. Тут це траплялося часто, але мені не хотілося дивитися на інших. У його зовнішності було щось жіночне, не педерастичне, хай бог милує, а як у молодому Марселі Марсо, щось невловиме, як молочний відтінок нічного моря в місячну ніч. Коли я дивилася на нього — мене пронизували електричні спалахи, і він це відчував. Ми йшли у далекий коридор цілуватися. Електричні спалахи, електричне безумство... Я перетворювалася на скляну кулю, підключену до електрогенератора. Реально я відчувала тільки його руку на спині, що зминає мою легку сукню, пірнає в джинси, проникаючи під майку, розстібає ліфчик.

Він поселився у мене в казармі взимку, на день мого народження. Перелазив через паркан за гаражами.

Того дня він подарував мені цілу коробку відеокасет — декілька фільмів Куросави, «Голий острів» Кането Сіндо та «Лілі Марлен».

Ми почали з Фасбіндера. Завжди, коли я дивлюся фільм, то відчуваю певний присмак або запах, наприклад, «Лілі Марлен» виликає запах мускатного горіха.

Потім ми пішли прогулятися, накурилися десь на Пейзажці, у під'їзді.

Це було не дуже приємно. Здавалося, всі, з ким ми курили, рахували кинуті мною погляди і не давали злетіти, а якась щербата матуся встромляла сигарету в мої замерзлі пальці. Потім ми йшли Десятинним провулком, і мені чомусь здавалося, що ми йдемо крізь якесь прибережне нігерійське містечко, віддаляючись від звуку барабанів. Я намагалася розмовляти — тротуар розколювався від моїх слів, а він усе продовжував рахувати стріли, що розсипалися навколо. Він рахував пропуски в моїй пантомімі, вбивав фразу, що корчилася в судамах, вбивав навіть втрачену надію видертися звідси. Я навіть згадала, що тільки маріонетка на тростині може здійснювати різкі рухи, хотіла сказати йому про це, але фраза тонула безнадійно. Коли йдеш зимовим нігерійським містечком, віддаляючись від узбережжя, звуку барабанів — йдеш до наступних, і до наступних — це подорож. А якщо залипаєш на своєму барабанному бої — то це вже смерть, полум'я тебе поглинає, як чудовисько, і навіть неважливо, що це — танець дикунів або фестиваль. Треба йти і йти, Татхагата, що крокує вічно, крокує повз, Форест Гамп — ось справжня свобода.

Потім я вже йшла одна, у напрямку Бруклінського моста. Робітники, що мостили тротуар у світлі будівельних ліхтарів, озиралися на мене, і мені здавалося, що вони кажуть: «What a horse!» чи «What a whore!». Підбори моїх чобіт цокали ритмічно, і мені дійсно здавалося, ніби я була якоюсь конячкою, поряд клубочилася пара, покритися паморозцю ніздрі. Раптом шлагбаум, що виринув із клубів пари, трохи не розрубав мені грудну клітку. Я шарахнулася з переляку, але, виявилося, що це не шлагбаум, а дві довгі тіні якихось пройдисвітів, що крокували з підвороття.

Мені здавалося, що я пройшла вже далеко, але, обернувшись, побачила мигаючий неоновий напис — синій/червоний — ОЛЬСЕН/ХУТРА — я все йшла і йшла, і знов, обернувшись, побачила ОЛЬСЕН, я так і не могла дістатися до площі, продертися крізь усі ці засклені полиці з туфлями, ртутними манекенами в костюмах, ідіотськими конструкторами в зморшках гардин, повз гарцюючих безголових велосипедисток з піднятими догори гумовими задками, огрядних механічних Санта-Клаусів з олов'яними гусарами в поштовій сумці, безрідних мумій у перуках, коробок з парфумами, сумочок,

бюстгальтерів, кубинських сигар та фарфорових гусятниць — крізь увесь цей щасливий різдвяний світ. Я задихалася, неначе за мною гналася зграя хортів.

Потім ми зазвичай курили вдома. Він розповідав, що коли накуриться, завжди потрапляє в який-небудь фільм. Одного разу він валявся в ліжку і казав, що він — Георг Рівз із простріляною головою. Іноді у своїх фільмах він боявся торкнутися мене навіть кінчиками пальців, як борець сумо боїться торкнутися підлоги.

А потім він відлетів.

Кожного ранку я прокидалася через те, що солдат скріб лопатою сніг під вікном. Але сон нібито тривав — мені бачилися обличчя, які перетікали одне в інше, які ставали чіткішими, тільки-но увага загострювалася на якомусь з них. Ці обличчя можна було перетасовувати нескінченно — живий ртутний «Натовп» Ренато Гуттузо, кожне обличчя, кожна фігура в цьому натовпі могла почати рухатися, тільки схопивши текучу вологу моєї уваги. Змінюються епохи та касты, я обираю обличчя, як у «Мортал Комбаті», воно рухається, і я поступово зливаюся з цією фігурою.

Люди здавалися примарними створіннями, в'ялими рибами беззодні, що видають незв'язні звуки, ніби впливають із кінофільму Люка Бессона.

Я ледве могла ходити на лекції.

Навесні мені наснилося, що я приїхала до нього в Анкару.

Ми сидимо на терасі його великого будинку втрюх — я, він та його дружина. Вітер колише штори, видно зігріті сонцем пагорби, декілька будинків на схилі одного з них. Стіл накритий білою скатертиною, на ньому безліч красивих чашок, невеличких глечиків, келихів, візерунчастих, з кістяними ручками, ножів та виделок. Ми чекаємо, коли підсмажаться наші курчата — видно, як за склом жарової шафи вони перевертаються на рожні. Його дружина вся у захопленні, щось щебече і вихваляє свою курячу шафку. «Всього п'ять хвилин — і готово. Не вірите? Я виймаю свого!» Вона відкриває шафу і знімає з рожна за допомогою довгої виделки коричневе соковите курча, кладе його на блюдо і потім щось верзе, верзе. «А тепер треба полити його молоком». Вона бере глек із молоком і ллє на тушку. Молоко тече по тушці, по блюду, по скатертині, летить їй на сукню — і вона вся така задоволена, радісна: «Ви пригोщайтеся, пригोщайтеся!» Ми їмо цих курчат, але не можемо насититися. Тим часом зі скатертини цівками стікає молоко.

Свого часу він навчав мене французької мови, часто примушував нескінченно повторювати «Ранковий сніданок» Жака Прева. Втім, він стверджував, що «Ранковий сніданок» — це не французька, це — мудрість розлучення. «Мистецтво бути жінкою, — казав він, обмотуючи шарф навколо шиї, як це, ймовірно, робив сам Жак Прева, — полягає в умінні розлучатися з чоловіком».

3

Різно похолодало, видали по другій ковдрі. В коридорі гримлять відрами та сваряться.

У мешканців нашого відділення улюблена розвага — ходити з відрами за сніданками та обідами, виносити бікси або здавати білизну в пральню. За це до вечері дають додаткову котлету, або зварене вкруту яечко до сніданку.

Новеньку звати Настею. Сьогодні вона не могла увійти до їдальні — боялася кішки. Санітарки втягнули її під лікті та всадили за загальний стіл. Їсти не хоче — годують примусово. Дивитися на це неприємно. Нічого, потім її переведуть на безприв'язне утримання, за спиною перестануть громадитися санітарки — стане легше. Пам'ятається, мене теж годували після тієї ночі в гамівній сорочці.

Худеньке, маленьке.

Нес femina, нес puer, як то кажуть.

Знов по палатах. У вазах із квітами дівчата замінують воду. Упаковка «Сібазону» (його мені вколюють на ніч) напрочуд схожа на пачку «Житана» (блонд). Сидячи за столом, бачу стіну іншого крила будівлі. Папір невблаганно закінчується, залишилося тільки декілька листів, хоча я й намагаюся писати найдрібнішим своїм почерком. Сподіваюся, в аспіранта буде з собою ще.

Сьогодні зранку пацієнти чоловічого відділення палили гілки і сміття, дим курився лікарняним двором і заходив крізь відкриті вікна, запах і досі жахливий.

Штуцер хрускотить ранішньою порцією пігулок.

— Так ти тут через пісні?

— Я тут через зірки.

Коли ми помремо, хочу я сказати, то полетимо до зірок — кожен до своєї зірки — як крізь падаючий сніг. Та ми вже летимо, і кожен до своєї зірки. Мені так хотілося, щоб ми з ним летіли до однієї зірки, але летимо до різних. Але це неважливо, головне, що летимо! Інакше бути не може, ніяк не може бути інакше! Навіщо тоді були Азімов, Стругацькі або Станіслав Лем, навіщо ми взагалі їх читали в дитинстві? Адже не може ж бути так, аби бог виявився безглуздіший за Станіслава Лема?

— Дехто казав, що в мене очі, як два Соляріси, — кажу я замість цього.

— Соляріс — це планета.

— Я в курсі.

З Енді ми познайомилися на Замковій горі, він підійшов з-поза спини і зазирнув до мого блокноту. Нічого особливого, золотий осін-

ній пагорб із кривою буличною вуличкою, білою церквою з зеленими куполами та рожевим готелем, схожим на бутафорський замок, та жовте небо в патлатих хмарах.

Я малювала гелевими ручками — чорною і золоту, та слухала «Кренберіз».

— Золотий колір — символ сьомого неба у Лаврських живописців. Ви знали про це?

— Чесно кажучи, навіть не здогадувалася.

Ми побалакали, а потім він запросив мене спуститися вниз і піти з ним на «Рулетку» — там у нього була зустріч із марокканцями. Спочатку ми забили десь у дворах Малопідвальної.

Справжній марокканський гашиш, як запевняє Енді.

Світ стає чарівним. Новий друг довго вдивляється в моє обличчя:

— В тебе очі, як два Соляриси.

Я зникаю, вже потім знову намагаючись зрозуміти, де знаходжуся. Суцільна зелена стіна, і в ній чотири криво вбудованих гака з білими плямами фарфорових ізоляторів. Енді посміхається, переглядаючись зі смуглявими хлопцями. Одного звать Мунір (приємний тип із борідкою, котрий швидше нагадує доктора наук), іншого — Мухаммед (з породи мерзотників, із плоским, висмоктаним гашишем обличчям) — вони їдуть до Німеччини, кажуть, що льотчики. «О, мій тато льотчик!» — я сміюся, бо знаю, що несу чергову нісенітницю.

Вечір закінчується в готелі «Москва», в номері, схожому на контейнер для радіоактивних відходів, саме так його обізвав Енді. Говоримо про іслам, авіацію і піднебесного мрійника Віллі Мессершміта.

Я, нічого не тямлячи, ставлю в плеєр іншу касету. «Не плачь, Маша, я здесь, не плачь, солнце взойдет, не прячь от бога глаза, а то как он найдет нас? Небесный град Иерусалим...».

Виходячи з готелю, я помалу тверезію, Енді проводить мене до зупинки.

— А може, й через пісні.

— П'ята палата, на огляд!

Неохайний доктор у пом'ятому халаті з плямами лускає фісташки, розвалившись у кріслі.

— Ну що, дівчатка, все гаразд, нічого не болять? — доктор із розумінням підморгнув і розлускав фісташку, потім, очистивши горішок, кинув шкаралупу в кошик для паперів, — менструації вчасно?

Ми синхронно киваємо.

— Тоді, дівчатка, — він солодко посміхається, — вільні!

Знову виходимо в коридор. Штуцер із полегшенням зітхає й обертається до мене, наче ніщо не переривало нашої розмови:

— Виходить, через пісні.

Борис ФАБРИКАНТ

/ Борнмут /



ЧЕРНОВИКИ

* * *

Как много мы на жизненном отрезке
Умеем разместить. Как это мало.
И фокус красоты всегда нерезкий
До самого последнего начала.

А счёт за время как за способ связи
И самое обычное тепло
Найдёшь в пустой цветочной старой вазе.
И слава Богу, что ещё светло

* * *

Вокруг пейзажи акварельные,
Развешанные по кустам,
И птицы трубочки свирельные
Рассыпали и тут и там.

Где время мёртвое, живое
И созревает, как вино,
За долю ангелов собою
Оно заплатит всё равно.

Его приливы и отливы
Не отражают облака,
Давно не штопают разрывы,
Куда просыпали века.

Там дует безразличный ветер,
На парусах, как от руки,
Написано про всё на свете,
Но это лишь черновики

* * *

Домик к домику, листик к листику
Календариком отрывным,
Не стираются даты ластиком,
Не меняются позывным,
Открываются, отрываются,
Разлетаются, кто куда,
Под подушкой собираются,
Вспоминаются иногда,
Как билетки паровозные,
Строго сложены на учёт.
Трубы с клубами, дни морозные,
Позабывтое, кто найдёт?
Ветер дует, всё изменяется,
Не увидишь издалека.
Повторяется, начинается
Новый год или День сурка

* * *

Ветер, дующий с синего моря
От волны до волнистых предгорий,
От глубин до высокого леса,
От песка до пустынных равнин
Улетает, не чувствуя веса,
Гордый, сильный и свежий, один,

И несёт хрусткий воздух солёный,
Рыбий след под водою зелёный,
Плеск и блеск, и прибоя тяжёлый
Рокот тракторный, пенистый чуб,
Исцарапаны мели и молы
Уголками обветренных губ,

Прилетает, вплетает в гитару
Деревенские стебли, отары,
Горизонт, за которым закат,
По свистку тосковавшего рака
Сам дворовой ложится собакой
И не смотрит, не смотрит назад,

Сонным воздухом хлебного вкуса,
Остужает иконы Иисуса,
И становится толстым и местным,
Как старушки в воскресных пальто,
И стекает по улицам тесным
К солонцу на соседнем плато

* * *

Вдыхаю этот воздух стылый,
Раскладываю там внутри,
Чтобы душа не позабыла,
Как светят утром фонари,

Как в частых сумерках прозрачных
Деревья отступают вдаль,
Из темноты проулков дачных
Приходит сладкая печаль.

Такая душная эпоха,
Где спутан запад и восток.
Спаси, когда не хватит вдоха,
Знакомый воздуха глоток

* * *

Кирпичный голый жизни коридор,
Прихваченный раствором на слезах,
Где окна ограничили простор,
Как вытертые шоры на глазах.

И подтекает старая вода,
И плесень разукрасила углы.
Условия привычны навсегда,
Как запахи фанеры и смолы,

Где заново и строит и поёт,
И протирает окна без конца.
И кажется, что всё произойдёт
И пролетит у самого лица

* * *

Мы на два дня. Дом на краю горы.
Стена покрыта охрой. Синей дверью
Отмечены соседние дворы,
Как промокашки школьные и перья.

Всё разглядишь. Где запад, где восток,
Которыми от века небо раним.
Что из окна увидишь утром ранним.
Что потолок по-старому высок,

А стол на кухне длинный и знакомый,
Цветы, салфетки, старые альбомы,
По коридору близятся шаги,
Уют, как пёс, лежащий у ноги.

И на стене, за стулом с узкой спинкой,
Очерченные тёмные следы,
Ты будто в рамках заменил картинки,
Мол, здесь живешь у сада и воды.

Дождём залиты уличные лейки,
И кажется, что сам сажал ростки.
И снова прилипают лепестки
Как память и багажные наклейки

* * *

И цвет течёт по ниточкам холста
В рисунке глаз открытых у ребёнка,
А за холстом остыла пустота,
Как на верёвку павшая пелёнка.

Рисунок слёз и неба, и лица,
Цветная фотография страницы
Из жизни, что не ведает конца,
И длится до и после тоже длится.

Картинкой книзу лист переводной
Плывёт по верху и не ищет брода,
И по границе с гладью водяной
Идут круги, не означая входа

* * *

Рваные края небытия,
пальцами захватана обёртка,
с этой стороны, покамест я,
а с другой — Харон, весло и лодка.

Он, трудяга, ко всему привык,
после смены далеко до дому.
Кепку и невыбранный кадык
каждый в лодке видит по-иному.

И никто его не уличит
на базаре, улице, в трамвае,
как у всех, бренчат его ключи,
как и всех, ведёт его кривая.

И ему не знать, не выбирать,
потому ненадобно виниться.
Он гребёт, ему не умирать,
на него не попадает птица.

Он во сне всегда плывёт назад.
Ничего не просит у богов.
Пассажирам не глядит в глаза
От мостков до дальних берегов

* * *

Я на фотографии в фейсбуке
не всегда с разбега назову
узких улиц комнатные звуки
в городе, в котором не живу.

Купол церкви, позабытый ракурс,
даже, если не издалека,
узнаём друг друга, это радость,
к ней печаль примешана слегка.

И таблички, новые названия
улиц, как фамилии жильца.
Я иду, родное узнавая
не в табличках, а в чертах лица.

Тонких трещин лёгкие морщинки,
спешно наведённый марафет.
Будто слышу: «Де ти їдиш, синку?»
И не знаю, что сказать в ответ.



Владимир МАТВЕЕВ

/ Киев /

ТОСКА

Фантастический роман

Есть мучительный контраст между радостью данного мгновения и мучительностью, трагизмом жизни в целом. Тоска, в сущности, всегда есть тоска по вечности, невозможность примириться с временем.

Николай Бердяев

ГЛАВА 1

Ты видел звездное небо, приятель? Наверняка видел. Но вряд ли ты видел в нем Райский Дворец Абсолюта. Но это ничего, это не страшно. Я с тобой поделюсь, я скоро расскажу тебе о нем, а ты пока из окна моей лачуги полюбуешься на звездное небо, если, конечно, оно тебя не ужасает. Я лично перед лицом вечности немею.

Да, следует заметить, что большую часть этой рукописи — вон какой толстой — написал не я. Я нашел её под матрасом в психиатрической больнице, где лечился от депрессии. Когда я прочел ее, я попытался узнать, где психическая личность, которая до меня лежала на этой кровати, и мне ответили, что на ней спал мужчина с белой горячкой. Фамилия у него была Сидоров. После белой горячки он сошел с ума и поэтому был переведен в поднадзорную палату. И вот — как сейчас помню — я подошел к двери в поднадзорную палату и спросил у сидящей рядом на скамеечке толстой, похожей на бочонок, санитарки: «Сударыня, можно ли мне познакомиться с Сидоровым?».

— Хотите узнать, его ли это рукопись? — спросил она. — В-первых — не его. А во-вторых — он совершенно невменяем.

— Ну, хоть изредка он приходит в себя?

— Очень изредка.

— А вдруг мне повезет?

— Ну, что ж, входите, коли не брезгуете. Только будьте с ним предельно вежливы.

Она ключом открыла дверь, наподобие тюремной, с маленьким окошечком, я вошел и увидел следующую картину: больные, посапывая и похрапывая, мирно спали в своих кроватях, укрывшись одеялами, и лишь один бодрствовал. Он стоял ко мне вполоборота и мочился в пластмассовый кувшин. Я подождал, покуда он не кончил, и, будучи самой вежливостью, сказал:

— Простите, сударь, что беспокою вас в столь ответственный момент, но мне нужен господин Сидоров. Не вы ли, уважаемый и даже высокочтимый, и даже богоравный господин Сидоров?

Мужчина ничего не ответил. Он взял с подоконника пластиковый стаканчик, наполнил его желтоватой жидкостью из кувшина и протянул мне со словами: «Пейте кофе, пока теплый».

— Извините, пожалуйста, но разве это кофе?

— А что же еще? — спросил он и добавил: — Вы, что ли, не знаете, что в начале было слово?

— Да, есть такая теория, — сказал я.

— Это не теория, это — истина. Вся вселенная состоит из слов. Поэтому, если я, Иисус Христос, говорю слово «кофе», значит это кофе. Вы, что ли, забыли, как я превращал воду в вино?

Он налил себе из кувшина и, прихлебывая, торжественно промолвил:

— Вот ведь каких высот может достичь человеческий дух! Пейте!

— Извините, пожалуйста, но у меня повышенное давление, — сказал я, пряча руки за спину. — Мне кофе нельзя. Мне бы узнать, не вы ли господин Сидоров?

— Я с этим ничтожным самозванцем не желаю иметь ничего общего. Он мажет стены говном.

— И все-таки, где он?

— В туалете.

Я прошел в туалет и увидел коренастого лысого мужчину лет сорока, который доставал что-то из унитаза и мазал этим белые кафельные стены.

— Простите, это не вы высокоуважаемый и даже высокочтимый, и даже богоравный господин Сидоров? — вежливо спросил я.

— Я не Сидоров. Я Будда, — не прерывая творческого процесса, сказал Сидоров.

— Но мне Иисус Христос сказал, что вы Сидоров.

— А-а-а... этот самозванец... Я с этим ничтожеством не желаю иметь ничего общего, он пьет мочу.

— Простите, что прерываю ваш творческий поиск, а может даже, уже процесс, но вы мне нужны, — сказал я.

— А не пошел бы ты на... — злобно сказал Сидоров, не прерывая творческого процесса.

— Извините, но я насчет рукописи. Она ваша?

— Может, моя, а может, и не моя, — по-прежнему не отрываясь от процесса, сказал Сидоров.

— Не соизволите ли взглянуть?

Сидоров вытер свои цвета детской неожиданности руки о больничный халат, подошел, взял рукопись, пролистал и сказал:

— Не моя. Я такой ерундой не занимаюсь.

— Тогда извините, пожалуйста, — сказал я, сунул рукопись подмышку, пожелал Сидорову творческих успехов и ушел.

— Теперь моя совесть чиста! — радостно сказал я санитарке, покидая поднадзорную палату. — Теперь я могу опубликовать рукопись под своим именем! Я стану личностью!

А потом, вдобавок ко всему, поступлю в университет на факультет вещих снов и, выучившись, стану профессором вещих снов. Вы представляете? Я стану единственным в мире профессором вещих снов!

— Факультета вещих снов не существует, — сказала санитарка.

— Ну и что? Подождем, пока появится!

— Дурак ты, — беззлобно сказала санитарка.

— А может, я мечтатель.

— Мечтательный дурак, — санитарка охарактеризовала меня окончательно. — Личностью он станет! Ну — нет! Определенно, ко всей твоей никчемности ты станешь еще и вором, то есть еще более жалким и никчемным человечишкой. Ведь к своим сорока годам ты не построил дом (жалкая лачуга на окраине города досталась тебе от деда). Ты не посадил дерево (яблоню, черешню и грецкий орех тоже посадил твой дед). И понятно, что у тебя никогда не было ни друзей, ни женщины. Кому же хочется каждый божий день видеть возле себя такую кислую рожу? Потому-то ты, естественно, не родил и не вырастил детей. Эти дети, что время от времени появляются у тебя во дворе, — не твои. Просто ты сделал им неплохие качели. А кроме того, ты позволяешь им безраздельно пользоваться плодами тво.... Чуть было не сказала «твоего сада», но опомнилась. Не твоего! Не твоего! Дедушкиного!

— Откуда вы все это знаете? — изумился я.

— Я — ведьма.

— А разве ведьмы существуют? — снова удивился я. — Разве вас всех не сожгли во времена Средневековья на кострах?

— Сжигали только худых ведьм. Вернее, ведьмами считались лишь те, которые могли проскользнуть через дымоход. А я, как видишь, через дымоход не проскользну. Ну, что ты грустный такой? Нет причин для грусти. У тебя все плохое позади, а впереди только хорошее.

— Вы думаете?

— Я знаю. Я — ведьма.

— Вы какие-то ведьминские курсы оканчивали? Или институт?

— Ты ведь тоже не оканчивал какие-то курсы или институт, а, тем не менее, ты писатель.

— Вы заглядываете слишком далеко вперед. Я бы сказал оптимистичнее. Может быть, я стану писателем. В детстве я, знаете ли, сочинял сказки, а в юности прочел немало книг и очень часто сталкивался с тем, что мысли, идеи, сюжеты и образы их авторов были созвучны и моим собственным мыслям, идеям, сюжетам и образам. Мне иногда казалось, что я могу написать не хуже, только вот из-за депрессии никак не удавалось засесть за письменный стол.

— Но теперь решайся, пора, — сказала ведьма.

— Но прежде я набью руку на найденной мной рукописи, попытаюсь улучшить ее и дополнить.

— Попытайся, — сказала ведьма. — Тут ничего зазорного нет. Сам Вильям Шекспир не гнушался улучшать и дополнять произведения старых авторов.

— Да, — сказал я. — И еще Овидий, древнеримский поэт, перекраивал на свой, древнеримский лад, мифы Древней Греции. Не я первый.

ГЛАВА 2

У подъезда многоэтажного дома остановился катафалк. Вышли трое, и двое из них начали выгружать красивый лакированный гроб. Третий же, высокий русский молодой человек, симпатичный, но с портящим его мрачным выражением лица, открыл дверь подъезда.

— Кому это, Ваня? У нас вроде никто не умер? — спросила со скамейки у подъезда крупная полная женщина лет пятидесяти в оранжевой фуфайке дворника.

— Мне, — ответил Иван.

— Как тебе, ты же живой? — недоуменно спросила она.

— Надо думать о будущем, Полина Васильевна, — сказал Иван.

— Ты, наверное, пошутил, а, Вань? Рано еще тебе думать о таком будущем.

— Не рано. Умру я скоро, Полина Васильевна.

— Откуда ты знаешь, что скоро умрешь? — спросила Полина Васильевна, но Иван уже скрылся в подъезде, и ответа на вопрос она не получила.

— Он что сказал? Что скоро умрет? — спросила сидящая рядом старомодно и бедно одетая сухонькая маленькая старушка с румяными щечками и в белом платочке.

— Что скоро умрет.

— А откуда он это знает? Я, например, уже старая, а не знаю, когда умру.

— Наверно, серьезно болен. Безнадежно. Да, жаль тогда парня. Только вышли его афоризмы и юмористические рассказы — и на тебе, в гроб. Да, жалко парня...

— Какие афоризмы и рассказы? Он что, писатель?

— И писатель тоже.

— Никогда не поверю! Какой из него писатель!? Писателя сразу видно, у писателей лица серьезные, строгие и умные, как у начальников, только добрые. Вы на Тараса Григорьевича Шевченко хотя бы посмотрите, какой он и строгий, и умный, и грустный, и добрый. Подойди к тебе такой на улице и скажи: «копай», и ты будешь копать, хотя он тебе и не начальник. Нет, никогда не поверю, что такой может быть писателем. Он какой-то злой. Вот если бы вы сказали, что он рок-музыкант, я бы поверила. Такой же длинноволосый и худой. Такой любит только «бум, бум, бум». Такой не любит «садок вишнёвый коло хаты». А у меня, знаете ли, когда я про садок читаю, так тепло на душе становится, так тепло! Млею, прямо! А когда его «Катерину» читаю, то всегда плачу. Спрашивается: зачем читаю, если плачу, если страдаю? А я все равно читаю. Плачу, страдаю, а читаю. И чувствую, что становлюсь лучше. Чище, добрее. А он? Как он может делать людей чище и добрее с таким злым лицом? Нет, не похож он на Шевченко!

— Да что вы заладили, Вера Львовна, Шевченко да Шевченко! Во-первых, Шевченко не писатель, а поэт, а во-вторых, странная вещь получается: никто, кроме, простите, таких отсталых людей, как вы, в Сельхозугодии его не читает, но, тем не менее, почему-то со школьной скамьи на вопрос: кто ваш любимый поэт, принято отвечать: Тарас Григорьевич Шевченко. Школьник из Сельхозугодии никогда не скажет: я терпеть не могу Шевченко, потому что боится, что ему за это что-нибудь будет. Хотя русский школьник вполне может сказать: я терпеть не могу Пушкина. Немецкий школьник вполне может сказать: я терпеть не могу Гете. А израильский школьник вполне может сказать: я терпеть не могу Шолом-Алейхема.

— Зря вы так, Полина Васильевна. И украинский школьник вполне может сказать: я терпеть не могу Шолом-Алейхема.

— Не будем продолжать, Вера Львовна.

— Почему?

— Потому что, вы не обижайтесь, Вера Львовна, но вы с головой не всегда дружите. Хотя это и понятно. Вы всю жизнь проработали в селе дояркой. Вам мозги нужны не были.

— Вы хотите сказать, что я дура? А я вовсе не дояркой работала, а оператором машинного доения. Знаете, какая у нас аппаратура сложная? Кнопочки всякие. Не то что ваши метла и совок. Так что я не дура. Я, например, знаю, что такое Мёзия. А вы знаете, что такое Мёзия?

— Не знаю. Ну и что же такое Мёзия?

— Это такая древняя страна.

— Насколько древняя?

— Ну, где-то четыре тыщи лет тому назад она существовала. Сейчас она не существует.

— Вера Львовна! Сейчас 3017 год! Сейчас даже Киева не существует, он после Третьей Мировой войны превращен в радиоактивные развалины. И Украины не существует, а существует Сельхозугодия, империя со столицей в Хитропупинске с Великим Гетманом Брехунцом во главе, ассоциированная с Евросоюзом буферная держава, распростершаяся после Третьей Мировой войны от Карпат до Уральских гор. И России не существует, а существует Московия с царем во главе. Не существуют ни Франция, ни Германия, как отдельно взятые страны, а существует Единый Европейский Союз. Не существуют США и Великобритания с Австралией и Новой Зеландией, а существует Единый Англосаксонский Союз. А пройдет еще тысяча лет, и люди забудут и про Сельхозугодию, и про Евросоюз, и про Московию, и про Китай, потому что мир будет единым и унифицированным, до того унифицированным, что все национальности исчезнут.

— Зачем вы мне все это рассказываете?

— Затем, что вы, вы меня извините, человек темный.

— Я не темный. Какой же я темный, если я работала оператором машинного доения? Знаете, какая аппаратура у нас была сложная? Кнопочки всякие. Дура бы с ними не управлялась бы. Дура бы не на те кнопки нажимала бы. Так что я не дура. Мне даже чайный сервис, когда я уходила на пенсию, подарили. Дуре бы разве бы подарили бы? И потом, вы так без печали об этом говорите, что мир будет унифицирован. Вам что, вышиванки и писанки не жалко?

— Крашенные яйца мне жалко, потому что, с одной стороны, жалко, что сельхозугодники потеряют свою идентичность, забудут свой язык, перестанут красить свои яйца, но, с другой стороны, разве плохо, если мир будет един? Кончатся все распри и войны, мы не будем тратиться на вооружение и станем настолько богаты, что каждый простак сможет позволить себе купить велосипед.

— Пряма каждый-каждый?— недоверчиво спросила Вера Львовна. — Никогда не поверю!

— Каждый, каждый! Клянусь своим велосипедом!

— У вас нет велосипеда, Полина Васильевна.

— Нет. Для меня, как и для многих, велосипед — роскошь, а почти во всем остальном мире велосипед не роскошь, а средство передвижения. Даже автомобиль у них не роскошь, а средство передвижения.

— Как все-таки бедно мы живем! — горько посетовала Вера Львовна. — Просто я сравниваю, как живут простаки там, и как мы здесь. По телевизору видела.

— Вы, Вера Львовна, клянусь своим велосипедом, опять что-то не то говорите. Кроме нас люди нигде не делятся на простаков, не

имеющих права владеть частной собственностью, и хитропупых. Есть просто люди, и у всех равные права. С одной стороны, это кажется несправедливым, но надо мириться с фактами. А факты говорят, что из-за вымывания мозгов с территории Сельхозугодии, мозгов у нас не осталось. Так что пусть уж нами, черт с ним, что воры они все, но пусть правят хитропупые, получившие образование за границей. Мы бы сами не управились. Все равно разорились бы. Бардак был бы полный, потому что заседать в Раде и умело владеть частной собственностью: заводами, фабриками, сельхозугодиями — это вам не кнопочки нажимать.

— Внимание! внимание! — раздалось из громкоговорителя, висящего на стене дома. — Возможна ракетная атака!

— Ну почему эти москали такие агрессивные! — возмутилась Вера Львовна. — Никак, никак не могут утихомириться!

— В газетах писали, что в сибирской почве не хватает каких-то важных для организма веществ, потому они такие агрессивные.

А еще писали, что долгоносики уничтожили все березы, необходимые для производства балалаек, — сказала Полина Васильевна.

— Какие долгоносики? Армяне, что ли?

— Вы, Вера Львовна, опять свое бескультурье и необразованность свою выказываете. При чем тут армяне? Разве армяне долгоносики? Долгоносики — это жучки такие.

— Поэтому москали такие агрессивные?

— И поэтому тоже. Тоскливо им без балалаек!

Завыла сирена, и Вера Львовна, вскочив со скамейки, закричала:

— Побежали в бомбоубежище! Быстрей! Быстрей!

— Не побегу, — спокойно сказала Полина Васильевна. — Сколько было воздушных тревог, а еще ни одна москальская ядерная ракета на территорию Сельхозугодии не попала. Спасибо гетману Брехунцу, спасителю Сельхозугодии. Это он закупает на Западе противоракетные системы, сбивающие москальские ядерные ракеты.

— А я побегу, я боюсь!

— Бегите. А я не побегу. Я верю Брехунцу.

— Какая вы все-таки смелая!

— Не столько смелая, сколько умная.

Вера Львовна заспешила в подъезд, в бомбоубежище, а Полина Васильевна, взяв метлу, принялась подметать двор.

ГЛАВА 3

Когда меня выписали из больницы и я, выйдя за ворота, на прощание троекратно обнялся с ведьмой, ко мне, держа под уздцы какого-то крылатого серого коня в яблоках, подошла мо-

лодая блондинка в белой одежде, через которую просвечивалось белое тело, взяла меня под руку и, прижавшись ко мне, промурлыкала:

— Ну, здравствуй, милый. Теперь я твоя.

— Извините, но вы, наверное, ошиблись. Вы, наверное, приняли меня за другого человека, ведь я вас совсем не знаю.... — оторопел я.

— Ты знаешь, что такое депрессия? — спросила она.

— Это такое психическое состояние, — ответил я. — И оно мне очень хорошо знакомо.

— Еще ее называют Дама в черном. Так вот я — ее полная противоположность. Я — Дама в белом, и имя мое — Прессия.

— Я крайне, крайне удивлен, — сказал я. — Вы очень, очень симпатичная женщина. Настолько симпатичная, что вам, достойной большего, вряд ли понравится моя лачуга и мои более чем скромные доходы.

— С милым рай и в шалаше, — промурлыкала Прессия.

— А где мы будем держать лошадь? Да и кормить ее надо, — сомневался я.

— Эх ты, невежда, — сказала Прессия снисходительно. — Ты не знаешь элементарных вещей. Пегаса содержать не нужно. Он — вольная птица, но хоть он и вольная птица, он мне полностью подчиняется и прилетает по первому моему зову. Достаточно только сказать: «Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой». Ну — забирайся!

— Но я никогда не ездил на лошади, тем более летающей, — возразил я.

— Это нетрудно. Берись за вот эту штуку и ставь ногу в стремя. Я кое-как забрался на Пегаса и спросил:

— А вы?

— Я полечу на метле, — сказала Прессия.

— На метле? — удивился я. — Разве вы ведьма?

— И ведьма тоже.

— А где вы возьмете метлу? — спросил я.

— Да везде, посмотри вверх. Вон их сколько летает.

Я задрал голову и сказал:

— Действительно, в небе темно от метел. Как же я раньше не замечал?

— Ты многого раньше не замечал, — сказала Прессия, потом сунула два пальца в рот и оглушающее свистнула. Тут же с неба слетела метла, Прессия ухватила за нее, села и крикнула:

— Вперед!

Я тронул Пегаса за поводья, мы взмыли в небо и помчались настолько быстро, что ветер засвистел в ушах. Мы так мчались,

что я оглянулся с мыслью: а поспевает ли за нами Прессия, и Прессия, оказавшаяся в двух шагах позади, крикнула:

— Никогда не оглядывайся. Жена Лотова оглянулась и превратилась в соляной столб. Хотя это и миф, но в нем есть соль.

ГЛАВА 4

Я сидел за своим облупившимся от старости письменным столом, а Прессия сидела на моем продавленном диване и что-то вязала.

— Райский дворец Абсолюта представлял собой обширное помещение со стеклянными стенами, сквозь которые внизу повсюду были видны кроны цветущих вишен, — прочел я, потом встал из-за стола, подошел к многочисленным книжным полкам и сказал:

— Чтобы ты, дорогая Прессия, не ломала себе голову, вспоминая, что такое Абсолют, загляну-ка я в философский словарь. Где он тут? — Я рылся по книжным полкам. — Да где же он?

— Не парься, — сказала Прессия. — Я знаю, что такое Абсолют. «Абсолют (лат.) — понятие идеалистической философии, обозначающее духовное первоначало всего сущего, которое мыслится как нечто единое, всеобщее, безначальное и бесконечное и противопоставляется всякому относительному и обусловленному бытию».

— Удивительно! — найдя словарь и заглянув в него, воскликнул я. — Слово в слово! У тебя такая память!

— У меня совершенная память. Продолжай.

— Недалеко от входа, внутри дворца был хрустальный бассейн с небольшими хрустальными фонтанчиками в форме писающих ангелочков. Вдоль стен стояли белые диваны с белыми столиками напротив.

— Я думаю, что Абсолют был страшным богачом, наверное, даже миллиардером, потому что имелся сверкающий золотом трон, — подсказала Прессия, подошла ко мне сзади, обняла за шею и поцеловала в лысину.

— Наверняка был страшным богачом, — сказал я, — но и ученым тоже, потому что за троном, на некотором возвышении, наблюдались столы с компьютерами и лаборатория с какими-то приборами, с электронным микроскопом, со всякими колбами и колбочками, в которых что-то булькало и дымилось. А сам Абсолют сидел за столиком, с аппетитом ел арбуз и при этом причавкивал так, что впору было подумать: а Абсолют ли это? Не модус ли это? Не отдельное ли проявление целого, а в данном случае — Вселенной? Да. По моему мнению — это модус. Быть может, моя теория покажется тебе, моя дорогая Прессия, искусственной, фантастической, но разве не говорит Гете словами Мефистофеля, что он есть часть той части целого, которая хочет зла, а творит добро? Разве Мефистофель не модус в данном случае? И не целуй меня в ухо. Мне щекотно.

Прессия отстранилась и снова села на диван.

— Но многих, — сказала она, — особенно теологов и теософов, я полагаю, не устроит имя «Модус», да и сам ты разве не чувствуешь в этом имени некоторое умаление и даже уничтожение всемогущего творца, поэтому по-прежнему называй его «господь». Ну давай, что там дальше?

Я снова начал читать.

Это был низенький, лысоватый, полноватый рыжебородый и зеленоглазый мужчина пожилых лет, с веснушками на широком и добром лице. На нем была древнегреческая одежда — гиматий, который представлял собой кусок белой материи, обернутой вокруг тела. На ногах же у него были когда-то белые, но уже несколько облупившиеся и посеревшие от времени сандалии.

— Нет, не нравится мне это, — поморщилась Прессия. — Крайне несовременно и даже убого. Почему господь, миллиардер, а ходит в простыне, как чмо болотное? Почему на нем туфли не от Гуччи, а костюм не от Армани?

— Но, может быть, я не виноват? — сказал я. — Хоть мне, как и всем нам, иногда страстно хочется преуменьшить, преувеличить, приукрасить, или даже попросту наврать с три короба, я — несчастный невольник правды, и поэтому буду говорить правду, чистую правду и ничего, кроме правды, даже если эта правда тебе не нравится.

— Не выкручивайся, — сказала Прессия. — Врешь ты всё. А впрочем, что это я? Не мое это дело, тебя терзать. Я же не Де-прессия, чтоб терзать, а Прессия, чтоб вдохновлять. Я больше не буду тебя перебивать, я буду тебя визуализировать.

— Как это «визуализировать»? — спросил я.

— Очень просто. Что у тебя там по тексту? А ну-ка дай сюда. Так. «Мелодично зазвонил серебряный колокольчик над стеклянной входной дверью...» — прочла она, и тут стены моей лачуги стали колыхаться, размываться, таять, потом окончательно растворились в воздухе, и я, невидимый, очутился во дворце, который только что описывал.

ГЛАВА 5

Мелодично зазвонил серебряный звоночек над стеклянной входной дверью, за которой стояли двое: лакей — тоже, как и господь, в гиматии, и мужчина в черном костюме, белой рубашке и темной расцветки галстук. Господь отложил ломтик арбуза, вытер салфеткой рот, похрипел, словно прочищая горло, и голосом громким и низким, точно трубным, сказал:

— Войдите.

Первым вошел лакей.

— К вам, господа, новый архистратег межгалактических дел. Ботиночки Ботинок Ботинович назначил. Просить? — спросил он.

— Прости. Интересно посмотреть, что за фрукта мне назначил Ботиночкин, в девичестве Заратуштра, на должность архистратега межгалактических дел.

— Проходите, — сказал лакей, почтительно склонил голову перед входящим и удалился, закрыв за собой дверь.

Архистратег сделал робкий шаг и застыл с боязливо втянутой в плечи головой.

— Ну что ты там застрял, подойди ближе! — сказал господь.

Архистратег сделал еще несколько робких шажков.

— Имя? — спросил господь.

— Пи, пи, — прошептал архистратег, почему-то дрожа всем телом.

— Что «пи, пи»? Пит? Питер?

— Пи, пи, пить, — наконец выдал архистратег.

Господь прямо из воздуха выловил хрустальный бокал, подошел к фонтану, поднес бокал к струйке, известно, откуда вытекающей, наполнил бокал и подал архистратегу. Архистратег, держа бокал дрожащей рукой и стуча зубами, осушил его, отдал богу, и бокал пропал в его ладони, словно его и не было.

— Имя? — снова спросил господь.

— Г а, га, га... Гай Тит Теренций, — ответил архистратег и, держась за поясницу, согнулся в поклоне, напоминающем букву «Г».

— Докладывай, Гай Тит Теренций, — сказал господь, берясь за новый ломтик арбуза.

— По, по, по... Понимаете ли... — произнес тот и замолчал.

— Говори же, что ты мнешься и трясешься, ты же архистратег!

— Да, да, да... — все еще заикался архистратег.

— Пожалуй, тебе надо выпить концентрированной валерьянки, — сказал господь и снова выловил из воздуха бокал, на этот раз наполненный коричневой жидкостью.

— На вот, выпей валерьянки, — он протянул бокал архистратегу.

Архистратег выпил содержимое и, наконец, заговорил не заикаясь.

— Да уж больно сатана возмущается, что мы захватили Млечный Путь, боязно мне...

— А ты ему объяснял, что Млечный Путь испокон веков был в составе божьих галактик, и что там наши люди и ангелы живут?

— Объяснял, но он все равно возмущается. Говорит, что это незаконно. Говорит, что вы такой же коварный, как и Путин, который захватил Крым. Незаконно это, так говорит.

— Зато справедливо. Крестьянские восстания против феодалов тоже были незаконны, но справедливы. Не всегда закон поспевает за справедливостью.

— А если он начнет наши галактики аннигиляционными бомбами забрасывать?

— Не будь глупцом. У нас свои аннигиляционные бомбы есть, и не меньше, чем у него.

— Побоится что ли?

— Побоится. На это я и рассчитывал.

— Вы такой решительный!

— Обстоятельства обязывают. Так и люди, и ангелы были построены. В данном случае я флюгер, а не ветер. И все с Млечным Путем. Меня все эти разговоры о Млечном Пути смущают. Вроде бы желанные народу слова говорю: Крым, то есть Млечный Путь — наш! А все равно что-то не так, не так. Что-то все-таки меня смущает.

— Совесть, наверное.

— Совесть у политиков не бывает. Есть государственные интересы. Ну — все. Не буду дальше, а то Путин обидится.

— Бойтесь, что подслушает?

— Боюсь. Он все-таки из КГБ вышел, шутка ли.... Ну, спасибо за доклад. Теперь ты свободен.

Архистратег, кланяясь, начал пятиться к двери.

— Да не кланяйся ты, ради святого духа, — поморщился господь. — Неужели ты не понимаешь, что это нас обоих унижает? Радости, радости в людях хочу, а не уничижения. Весело должно быть в церкви, весело! Поклониться можно, иногда даже нужно, но все время кланяться тому, кто не отвечает тебе ответным поклоном, а тем более становиться на колени, — ни в коем случае. Неужели они думают, что совершенному существу может нравиться лесть?

И не стыдно?

— Стыд глаза не выест, — сказал архистратег.

— Стыд глаза не выест, зато лестью можно многого добиться? Я правильно прочитал твои мысли?

Архистратег молчал.

— Повторю, — сказал господь, возвысив голос. — Я правильно понял твои мысли?

— Как ни тяжело признаваться, но вы правильно меня поняли, — выдавил из себя Гай Тит Теренций. — Дело в том, что раньше я служил при дворе императора Нерона. Это там испортился мой характер. Очень боялся я императора. Ведь он не пощадил никого. Ни философа Сенеку, ни поэта Лукана, ни писателя Петрония, ни свою родню, ни даже собственную мать. Но я — а я был тогда послом в Парфянском царстве — выжил и, полагаю, именно потому, что раболепствовал. Таков мой жизненный опыт.

— Разве я похож на Нерона? Разве я злодей?

— На злодея вы не похожи. Но и Нерон не был похож на злодея. Такой шутник с виду был. Развлекать всех любил. Бывало, в бабу переоденется и давай отплясывать. Животики, бывало, надорвешь. Так что сомневаюсь я в людях, сомневаюсь. Кроме того, я никогда с вами не разговаривал, знаю вас только по библии, а по библии вы, если читать ее с самого начала, злобный, мстительный тиран, безжалостный убийца, исключительно тщеславный и потому лезть просто обожаете.

— Тогда конечно, — согласился господь. — Так написано в библии. Но библия — это не всегда полноценная мудрость, слишком много в библии от мудрости невежд. А если сказать точнее, то, перефразируя мудреца, библия не мудрость веков, а мудрость колыбели. Она не про меня. Она про то, каким невежды меня себе представляют. А представляют меня порой черт знает чем! Сначала, с подачи Моисея, я был таким психопатом, что даже и взглянуть на меня нельзя, сразу испепелю взглядом. Потом, с подачи Христа, или даже раньше, сюсюкать я ни с того ни с сего стал, что всех люблю. А я не всех люблю. В общем, богом я стал для думающего человека абсолютно неадекватным. Да ты присаживайся и бери арбуз, не стесняйся.

Гай Тит Теренций осторожно присел на краешек дивана и взял ломтик.

— Но глупость и невежество, освященные тысячелетиями, таковыми не считаются, — продолжал господь. — Вот и мечутся даже верующие люди, даже некоторые священники, не зная во что верить, в освященное веками невежество, или в здравый смысл. Да, даже верующий человек верить до конца не может, он лишь надеется. Что уж говорить об атеистах. У них даже надежды нет! Но ведь в глубине души и атеисты жаждут бога, потому что жаждут справедливости и бессмертия. Как с ними быть? Им тоже нужен хотя бы лучик света в мрачном царстве неумолимо приближающейся смерти? Как быть? Открыться людям? Не знаю, не знаю... Ведь хоть я и бог, я против религии, потому что религия — это кнут и пряник. Она словно ребенку говорит: получишь пятерку — получишь пряник, а схлопочешь двойку — получишь ремня. Вот почему я за нравственность от души, а не из-под палки или из-за пряника. Я за Попку.

— Простите, я не расслышал. Что-то не совсем понятное мне послышалось...

— Был такой философ в Киевской Руси, Гореслав Попка. Он был против веры как в древнеславянских богов, так и против веры в библейского бога. Святой князь Владимир после крещения Руси, его, как не желавшего креститься, по доброте своей, на кол посадил. Пушай, говорит, там проповедует свою бескорыстную нравственность.

— И что же он проповедовал? — поинтересовался архистратег.

— Он говорил, например, что нравственность, подчиненная практической целесообразности, то есть получить прижизненные блага или попасть в рай, есть разновидность безнравственности. Распространить бы человеколюбивое учение Попки, провозглашающее, что религиозная святость — не святость! Совесть, вот что такое святость! Развитая совесть! Совесть и честь! Ну, как я вижу, ты ослабился? Похоже, что мой имидж в твоих глазах поменялся? А теперь иди, мне некогда. Меня сейчас больше одна планета интересует, потому что у меня появилась идея. Потому что я загорелся этой идеей.

Архистратег встал и в глубоком поклоне, держась за поясницу, стал задом удаляться, на что господь безнадежно махнул рукой, поднялся по ступенькам на помост с оборудованием и сел за электронный микроскоп.

Снова зазвенел серебряный колокольчик над входной дверью. Господь снова прокашлялся, прочищая горло, и крикнул все тем же трубным басом:

— Войдите!

Открылась дверь, и вошел лакей.

— К вам Заратуштра. Просить?

— Да проси уж! — недовольно произнес господь и снова повернулся к микроскопу.

Заратуштра — высокий brunet в бежевом костюме и с козлиной бородкой — подошел к помосту и сказал:

— Я по поводу новых пророков.

— Создал новую планету и уже окружил ее атмосферой! — словно не слыша, хвастался господь, глядя в микроскоп.

— Я по поводу новых пророков, — повторил Заратуштра.

— И уже создал первые вирусы и первых насекомых. Хочешь посмотреть? — господь встал из-за микроскопа. — Вот, посмотри.

Заратуштра поднялся на помост и сел за микроскоп.

— Правда, симпатичный? Ну, прям лапочка!

— По мне — вирус как вирус, — сказал Заратуштра и встал.

— Ничего ты не понимаешь! — господь снова сел за микроскоп. — А кто у нас там такой маленький! А кто это у нас такой хо-рошенький! Утю-тю-тю-тю-тю!

— Вот вы сейчас с безмозглыми вирусами сюсюкаете, а в Украине люди от несправедливости страдают, — заметил Заратуштра.

— Я ему колесики приделал, еще не было ни одного вируса на колесиках, — продолжал господь.

— Колесо, между прочим, придумали люди, а вы воруете! — сказал Заратуштра.

— Не ворую, а заимствую, — возразил господь.

— Вам, подозреваю я, что вирусы, что люди — все одно. Разницы вы не знаете.

— А вот сюда посмотри! — господь так быстро сунул Заратуштре под нос какую-то стеклянную коробочку, что тот отшатнулся. — Посмотри, посмотри!

— Что это? Муха?

— Муха. Правда, красивая? Тоже на колесиках. Кроме того, я сделал ей бархатистую спинку. Прелесть, а не муха!

— С вашими прелестями у нормального, мыслящего человека создается такое впечатление, что вы даете жизнь всему живому, не отдавая никому предпочтения. Ни мухе, ни человеку. С этим трудно согласиться, протестует душа, но это так.

— Ты же знаешь, что это не так. Ты же понимаешь, что у меня сейчас просто творческая горячка. Уйди, не мешай. А что ты кривишься, что тебе не нравится?

— Не нравится ваша муха на колесиках. Колеса у нее кривые какие-то.

— Ничего, в процессе эволюции на новой планете и моего участия в эволюции, все наладится.

— «Ладейников прислушался, над садом...» — начал было Заратуштра, но господь перебил его:

— Какой еще Ладейников? — спросил он.

— Это стихи, характеризующие вас не с лучшей стороны.

— А ну-ка, ну-ка? Мне всегда был интересен бунт...

Ладейников прислушался: над садом
Шел тихий шорох тысячи смертей.
Планета, обернувшаяся адом,
Свою судьбу вершила без затей.

Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.

— Это ты к чему?

— К тому, что в процессе эволюции наладится взаимопожирание.

— Увы, без взаимопожирания нельзя. Лев не будет есть траву, хоть это и противоречит библии. А что касается человека, то он вполне достаточно отделен от пищевой цепи. А ты говоришь, что мне все равно, что мухи — что люди.

— Это верно, что человек отделен от пищевой цепи, пока не умер. Но поймите, быть отделенным от пищевой цепи для счастья мало. Для счастья, в первую очередь, человеку нужна справедливость. Вы, конечно, бог, и я вас уважаю. Но поймите же и вы, что большинству в Украине, а особенно олигархам, высшим чиновникам и сенаторам, называемым там хитропупыми, чтобы вести себя благородно, нужны религиозные кнуты и пряники. Я понимаю, что ре-

лигиозная нравственность — это чаще всего разновидность безнравственности, но что подделаешь? Религиозная нравственность все же лучше полной безнравственности, а из двух зол выбирают меньшее. Пусть будет хоть такая. Спуститесь, наконец, на грешную землю. Это хорошему человеку бог не нужен, а подлецу бог нужен. Нужно, чтобы он увидел, что вы есть. Чтобы вы прогремели: «Мне отмщение, и аз воздам!».

— Ты хочешь очередного пророка? Но что нового может сказать пророк? Тебе ли, мудрейший пророк Заратуштра, не знать, что все уже сказано. Это скучно.

— Уверю вас, это не будет скучно, потому что я кое-что придумал. Мы сделаем бумажные самолетики и пошлем их на землю со словами: на кого святой дух пошлет.

— Ну — не знаю... Святой дух такой неуправляемый... Веет, где хочет...

— В том-то и весь интерес, что он веет, где хочет. Ну что? Может, не будем откладывать? Прямо сейчас сделаем бумажные самолетики. Где у вас бумага?

— Но я не умею делать бумажные самолетики, — сказал господь.

— Я вас научу. Давайте бумагу.

— Журнал «Плейбой» подойдет?

— Вы читаете «Плейбой»?

— Картинки смотрю.

— Подойдет, — сказал Заратуштра.

Господь выловил прямо из воздуха журнал «Плейбой» и отдал Заратуштре.

— Смотрите, — сказал Заратуштра, вырвав из «Плейбоя» два листа.

Господь, поглядывая на него и повторяя его манипуляции с бумагой, спросил:

— Да, все время забываю поинтересоваться, как твоя бессонница?

— Лечусь.

— В сумасшедшем доме?

— Только там ее и лечат.

ГЛАВА 6

Иван Шевченко лежал в гробу в новом, с иголочки, черном костюме, в белой рубашке и яркой розовой бабочке. Ноги были обуты в изящные коричневые туфли, судя по девственному виду подошвы, совершенно новые. В сложенных на груди руках он держал тоненькую церковную свечку. Раздался звонок в дверь. Иван вылез из гроба и пошел открывать. В дверях стоял Лекрыс, небольшого роста худенький белесый мужчина лет тридцати пяти,

в некрасивых очках и с лысиной, на которую были зачесаны жиденькие волосы в безнадежной попытке эту лысину скрыть.

— Ты вовремя. Я как раз примеряюсь, привыкаю понемногу, — сказал Иван и снова устроился в той же позе в гробу. — Ну, как? Хорошо выгляжу? — спросил он.

— Гроб хороший, костюм замечательный. Да, хорошо выглядишь, солидно.

— А ну-ка сфоткай меня, — сказал Иван.

Лекрыс достал смартфон, сделал снимок и показал Ивану.

— Нет, так никуда не годится, — говорил Иван, разглядывая себя. — Грустный я какой-то, настроение людям испорчу. Даже розовая бабочка не помогает. Может быть, прицепить клоунский красный нос? Люди приходят на поминки как на праздник, в глубине души радостные, что это не они в гробу, а я им весь праздник испорчу. Нет, надо все-таки прицепить, чтобы не скучали на поминках.

Иван потянулся к журнальному столику, взял красный клоунский нос, прицепил его на нос и снова устроился в той же позе в гробу.

— Ты все перепутал, — сказал Лекрыс. — Поминки бывают уже после захоронения, без трупа, который всем, ты прав, несколько мешает наслаждаться жизнью, — сказал Лекрыс. — Вот только сомневаюсь я, что для твоих родителей будет праздник: сына похоронить, даже если на сыне будет клоунский нос.

— Ты думаешь, мне их не жаль? — спросил Иван.

— Не жаль, раз ты так...

— У тебя никогда не было такой тоски, ты не поймешь, — сказал Иван, вылезая из гроба.

— Отчего же, бывает тоска. Бывает такая, что хоть в прорубь. Но я, по возможности, сразу иду на площадь Первого Великого Гетмана, сажусь на какую-нибудь скамейку под табличкой «для тоски» и наблюдаю лица людей. И такие хмурые лица попадают, что я, по сравнению с ними, — просто весельчак. Так и лечусь, подлец, чужим горем. И ты будь подлецом, лечись чужим горем. Ведь не ты первый — не ты последний. У меня то же самое. Я даже начинаю подозревать, что брака без классического любовного треугольника не бывает.

— А у меня серьезные подозрения и даже убеждение, что человеку нужен не любовный треугольник и даже не любовный четырехугольник, а пятиугольник, шестиугольник, окружность, наконец. Зачем загонять себя в угол? — говорил Иван, раздеваясь.

— Может быть, пора официально вводить многомужество для женщин и многоженство для мужчин в связи с человеческой природой? — предложил Лекрыс.

— Это не природа, это распушенность, — сказал Иван.

— Природа, природа! — возразил Лекрыс. — А впрочем — нет, скорее природная распушенность.

— Ну и чем поможет введение многоженства и многомужества? Разве люди не перестанут страдать? Чтобы они перестали страдать, надо запретить любовь. Кто не любит — тот не страдает. Это великая мудрость, мужчине не любить женщину, а женщине не любить мужчину, — говорил Иван, вешая костюм на плечики.

— Как же можно запретить любовь?

— Полицейскими мерами. Вот только какими мерами — я еще не продумал. Во всяком случае, любовные парочки должны быть временны, на срок, скажем, до трех дней. Так они еще не успеют проникнуться чувствами. Если же связь продолжается более трех дней, за это, по закону, следует назначать пусть незначительное, но неумолимое возмездие, небольшой тюремный срок, лет эдак на десять. И, уверяю тебя, много найдется таких, которым такая жизнь без любви, то есть жизнь мудрая и безмятежная, понравится. Найдутся, конечно, и глупцы. Они вначале воспротивятся безмятежной жизни, им, глупцам, любовь подавай, но потом, становясь философами, и они поймут, что любовь — это самый коварный вид зла.

— Нет, насчет полицейских мер — это ты что-то не придумал, — возразил Лекрыс. — Большинство парочек сами распадают-ся уже через неделю-другую, а то и раньше.

— Да и ты с многоженством и многомужеством что-то не то придумал.

— Да я просто болтаю. А вот ты говоришь с таким пылом, что можно подумать, что говоришь серьезно.

— Это потому что я злюсь.

— Но ведь есть же мужья и жены, которые по-настоящему любят друг друга, и до гроба. И даже умирают в один день, потому что жить друг без друга не могут.

— Это такая редкость, что можно и не принимать во внимание, — сказал Иван.

Лекрыс взял в руки туфлю и спросил:

— Туфли-то, я надеюсь, картонные, для покойников?

— Ошибаешься, — сказал Иван. — Не самые дорогие, но дорогие.

— Все равно сгорят, глупо это, — сказал Лекрыс, любуясь туфлей.

— Один раз умираем, так стоит ли мелочиться?

— А давай я тебе картонные куплю, а эти заберу себе?

— Они будут тебе велики.

— Ничего, я буду ватку подкладывать, — сказал Лекрыс, продолжая любоваться туфлей.

— Помоги мне лучше гроб на попа поставить. Пока он мне будет служить шкафом.

Иван закрыл крышку гроба, с помощью Лекрыса поставил гроб на попа, после чего повесил снятый костюм на небольшой крючок, прибитый с внутренней стороны к изголовью гроба.

— Ничего, я буду ватку подкладывать. Давай, а? — продолжал просить Лекрыс, любуясь туфлей.

— Ты, Лекрыс, стал мелочным и жадным, — сказал Иван, забирая у Лекрыса туфлю.

— Я экономный, а не жадный, а вот ты — мелочный. Даже твое самоубийство — это мелочная месть Анастасии. Немелочно — простить и забыть. Я так понимаю.

— Простить легко, я всегда прощал, делал вид, что не замечаю измен, потому что она всегда была такой. Я не могу смириться с тем, что она ушла насовсем. Не получается. Твержу себе: она мне не нужна, она приносит только горе, она мне не нужна, она приносит только горе, она мне не нужна, она... — он на мгновение замолчал, потом продолжил: — Наши чувства сильнее нашей рассудительности, сильнее разума, вот в чем дело.

— Да, это верно. Чувства сильнее разума. Чувствам миллионы лет, а разуму только каких-то двести тысяч.

— И не только чувства. Меня к ней так влечет физически, что иногда думается, что лучше бы я родился евнухом, — Иван вынул из мини-бара бутылку коньяка и два стакана.

— С евнухом ты хватил.

— Может быть, — наливая коньяк, согласился Иван. — Достаточно быть мудрецом вроде, ну, например, Пифагора. Ведь, я уверен, явись перед ним сама Мэрилин Монро в самом своем соблазнительном облике, — все помнят этот знаменитый кадр, — он бы просто поднял на нее глаза и сказал: «Уйди, женщина, уйди, несчастная. Ты мешаешь мне минимизировать скалярную функцию векторного аргумента». И Монро, пристыженная, отойдет в сторону и больше никогда в жизни не будет со всякими пустяками приставать к серьезным мужчинам. — Иван поднял свой стакан. — Ну что, вздрогнем? — сказал он.

— Не обижайся, но заливают горе вином только слабаки.

— Не суди, — сказал Иван, попытался выпить, но мешал клоунский нос, и он, передвинув его на лоб, выпил коньяк. — Человек не имеет права судить другого, человек имеет право судить только самого себя. Хотя, с другой стороны, — я сужу. Но мне простительно, потому что моё Я, как это не неприятно для других, — центр Вселенной, и ему все позволено. Моё Я даже выше Вселенной, выше бога, которого, конечно, нет. А иногда мне даже кажется, что все люди, весь мир, вся Вселенная существуют только в моем сознании. Что, если я умру, то со мной умрет и Вселенная.

— Не умирай, Иван. Пожалей Вселенную. Но, если шутки в сторону, то в том, что ты перед лицом смерти сохраняешь полное хладнокровие, есть нечто возвышенное и героическое. С одной

стороны, ты слабак, а с другой — храбрец. Я бы так не смог. Мне, хоть я тоже, как и ты, не в восторге от жизни, тоже тоскую, бывает страшно тоскую, но боязно даже заглянуть в эту черную бездну, не то что броситься в нее. Может быть даже, что ты философ-стоик, который, запутавшись в жизни, и не знающий, как справиться с возникшей дисгармонией, кончает с собой, чтобы приобщиться к идеальной гармонии Вселенной. А впрочем, не буду тебе льстить. Ты не Сенека, тебя возвеличивать не будут. Червяком ты родился, червяком и умрешь.

— Почему ты меня оскорбляешь? — вовсе не зло спросил Иван.

— Это не оскорбление, а констатация факта. Я тоже червяк.

И подавляющее большинство людей — червяки. А впрочем, все мы червяки. Но давай не философствовать. Слишком грустна такая философия. Давай о твоей проблеме. Я понимаю, ветреную жену, в отличие от верной жены, трудно разлюбить, а то и невозможно. Но оттого, что она ветрена, она может со временем бросить своего невежду управляющего и вернуться к тебе, потому что от тебя она зла не знала. Такое долго помнится.

— Но она любит роскошь, а у управляющего есть даже автомобиль. Только почему ты решил, что ее управляющий невежда?

— Все простаки — невежды. Это видно по тому, как они развлекаются. Уж очень незатейливо развлекаются: пивнушки, попса, низкопробный юмор вроде «Кривого зеркала». Это у хитропупых художественные выставки, театр, балет, опера и утонченный юмор.

— Ты просто не знаешь, что творится за тонированными стеклами роллс-ройсов и за высокими заборами в особняках и замках хитропупых, потому что на это знание, как и на Интернет, в нашем государстве табу. Просто ты не слушаешь Би-би-си и русское радио. Наши хитропупые — мерзавцы, каких свет не видел. Скажу крамольную вещь: даже если не слушать Би-би-си, наш гетман, если заглянуть в суть, если судить по плодам, не обращая внимания на обаяние лица и речей, он, клянусь своим велосипедом, — мерзавец, каких свет не видел.

— Если заглянуть в твою суть, не обращая внимания на твое умное лицо, то ты, клянусь своим велосипедом, недоразвит, как и все простаки. Где твой театр? Где твоя опера? Нетути. Они тебе до одного места.

— У меня есть афоризм: оперу любит лишь тот, кто любит скучать, — сказал Иван.

— Ты думаешь, сказать так умно? Нет, это просто уловка, трюкачество. Не хочу тебя обижать, Иван, но ты не писатель, ты — трюкач. Юморист — это не писатель, это трюкач. Да и не способна уже Сельхозугодия родить что-то рангом повыше трюкача. Чего и

следовало ожидать, поскольку, правильно говорят хитропупые, что после многовековой утечки мозгов за границу истощился генофонд. Мы теперь, не считая хитропупых, нация идиотов.

— Ты идиот?

— Я — исключение.

— Быть хитропупым по паспорту — это тоже еще не признак интеллекта.

— По крайней мере, все хитропупые получают образование за границей, а заграничное образование — не чета нашим училищам.

— Но ведь и ты окончил профтехсельхозучилище по специальности проктология, а ковыряться в чужой заднице — это тоже не интеллектуальный труд.

— Оскорбляй, оскорбляй, если это доставляет тебе удовольствие, а я вот что скажу: я — не простак, я только по паспорту простак, а на деле — хитропупый, потому что развлечением мне служит высокое искусство, моя скрипка. Кроме того, я не пьянствую.

Я понимаю, ты лечишься от любви. Но, клянусь своим велосипедом, так лечатся только простак. Кстати, а где ты достал цианистый калий? — Лекрыс взял со столика пузырек с белым порошком.

— Почему «кстати»? Хочешь кого-то отравить?

— Хотелось бы...

— Не могу сказать, боюсь подвести хорошего человека.

— Так ли уж хорош этот человек...

— Скажу по-другому: не хочу подводить человека, который оказал мне услугу.

— Так-то лучше. Потому что добро услуге — рознь. А то получается, что и я хороший человек, а это не так, поскольку, будь я хорошим человеком, я бы тебе не потакал, я бы отказался участвовать в твоём спектакле, потому что со временем всё, абсолютно всё проходит. Я понимаю, это нелегко, но ты борись со своими чувствами. Ведь по большому счету мы не влюбляемся, мы позволяем себе влюбиться, поскольку отключаем свой разум и даем волю воображению, а воображение всегда идеализирует, то есть нагло лжет.

— Ошибаешься, — сказал Иван. — Мы не даем волю воображению, это воображение нас насилует, и мы не можем ему противиться, потому что слишком сладостно для нас непротивление этому злу.

— Может быть и так, — согласился Лекрыс. — Так во сколько зайти?

— После двенадцати. Пятнадцатого числа. Запомни.

— Работы-то — всего ничего. Открыть дверь, удостовериться, что ты труп, а затем вызвать медиков и полицию и сообщить родителям и Анастасии. Ну что ж, прощай, Иван. Давай обниму тебя напоследок. Может, больше не увидимся. В добрый путь тебе, Иван.

А как прибудешь в ад — весточку пришли, как там и что. Не слишком ли горячая смола в котлах, не слишком ли лютует сатана со своими чертами, красивые ли в одном котле с тобой женщины варятся, ну и так далее. Может, и я тоже, если тебе там понравится.

— Что ж, и у тебя есть повод, — сказал Иван.

— А разве для этого нужен повод? Нет, дело не в поводе. Дело, мой Отелло наоборот, в нашем с тобой мироощущении. Паскудном, прямо скажем, мироощущении, — он посмотрел на часы. — Включи радио, сейчас новости культуры.

— Пожалуйста, если тебе нравятся эти побрехеньки.

Зазвучало радио:

Широка Угодия родная,
Много в ней лесов, полей и рек,
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно любит человек.

Всюду жизнь и вольно и широко,
Точно Волга полная течет.
Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде у нас почет.

От Днестра до самых до окраин,
С Желтых Вод до северных морей,
Человек проходит как хозяин
Постморальной Родины своей.

Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.

— Гимн, — сказал Иван, когда кончился первый куплет. — Надо встать и вытянуться в струнку. Надо привыкать вставать, когда звучит гимн. Иначе за непочтение к гимну будут штрафовать.

— А гимн изменился. Раньше было «так вольно дышит», а теперь «так вольно любит».

— Это понятно. Новый гетман гомосексуалист.

— Ты откуда знаешь?

— Передавали по Би-би-си. А, кроме того, говорил главный антихолод Москвы.

— Здравствуйте, дорогие простачи, милые моему сердцу сельхозугодники и сельхозугодницы! — начал радостно вещать мужской голос. — С вами снова я, Василий Залэжный, доктор постморальной философии, главный говоритель и главный антимоскаль страны, профессор хитропупинского профтехсельхозучилища имени Первого Великого Гетмана. Сегодня мы поговорим об однополый любви.

Наконец-то и в Угодии, в нашей недостаточно постморальной среде, простые сельхозугодники начинают проявлять к ней массовый интерес. Появляются клубы, магазины, которыми владеют, конечно, хитропупые постморалисты, но в функционирование которых вносят немалый духовный вклад и такие же, как и вы, простаки-постморалисты. Но пока еще рано говорить об окончательной победе постморализма. В городах у нас еще куда ни шло, но в селах с наличием гомосексуалистов и лесбиянок прям какой-то позор. Нет их почти, перед Европой стыдно. А вот и главный герой сегодняшней передачи, Леонид Бесстыжий. И я хочу задать ему вопрос. Когда вы, душенька, совсем стыд потеряли, как и положено воинствующему постморалисту? Вы позволите вас душенькой называть?

— Конечно, позволю. В нашем сообществе принято называть друг друга душенькой, рыбкой, солнышком. А меня, вы совершенно точно угадали, друзья называют душенькой. А что касается стыда, то стыдиться того, что ты родился гомосексуалистом, это все равно, что стыдиться того, что ты родился негром или евреем. Какой может быть стыд, если не от тебя это зависит.

На этом вещание оборвалось, потому что Иван выключил радио.

— Хочу заметить следующее, — сказал Лекрыс. — Ни интеллекта, ни таланта, ни интеллигентности гомосексуализм не добавляет. Это, как ни крути, а уродство. Можно иметь культяшку, что тут поделаешь, если не повезло в жизни, но размахивать ею и кричать: «Посмотрите, какая у меня красивая культяшка!» — нельзя. Я против такого афиширования.

— И я против, — сказал Иван. — Но этого нельзя говорить в интеллигентной среде. Потому что, если ты против афиширования, то, скажут интеллигенты, у тебя уже и то ни сё, и это уже не совсем так. И не интеллигент ты вообще, а одна только бледная поганая видимость. Нет, в интеллигентной среде порицать гомосексуализм — моветон.

— А может быть, и поделом. Может быть, мы и в самом деле не интеллигенты, а только бледная поганая видимость, — сказал Лекрыс, подошел к двери, но остановился:

— А не присмотреться ли тебе к Надежде, как к противоядию? Тем более что вы с ней когда-то дружили? — сказал он.

— Мы не совсем дружили...

— Она хорошая, а то, что хроменькая на одну ножку, так это такая мелочь!

— Женщин любят не за то, что они хорошие, а за то, что они хорошенькие. Я не вижу примеров в голливудских фильмах, чтобы симпатичный главный герой нашел счастье с дурнушкой. Голливуду и убить дурнушку не жалко, — сказал Иван.

— Она не дурнушка, она очень обаятельная, а это получше красоты. Да и не в кино мы.

— И в жизни тоже человек больше любит красоту, чем добро, больше форму, чем содержание. Увы.

— Это спорно. По-моему, зрелый человек больше любит то, что возникает из глубины, из самого что ни на есть нутра личности: ум, непосредственность, обаяние, а не красоту, не чисто внешнее. Бывает, что внешность вроде и обычная, даже некрасивая, но фору даст любой красоте. По-моему, только незрелые люди любят за красоту.

— Я незрелый?

— Да, ты незрелый.

Лекрыс взялся за ручку двери и, появившись немного, сказал:

— А можно, я скрипку принесу и сыграю тебе реквием? Я недавно разучил. Потом же ты не услышишь?

— Ты со своей скрипочкой не только мне, а всему дому осточертел.

— Никто не жаловался.

— Это потому, что тебя жалеют или проявляют такт, что одно и то же. Хотя ты и говоришь, что ты не простак, ведешь ты себя как последний простак, когда в бомбоубежище пристаешь к людям со своей скрипочкой.

— И хитропупые, бывает, ведут себя как самые настоящие простаки. По-моему, всегда быть на высоте невозможно.

— В этом ты прав, — согласился Иван.

— Ну — пошел я.

— Иди. Нет, погоди. Я насчет Надежды. Я могу тебе показаться подлецом из-за того, что бросил Надежду, когда она покалечилась. Нет, я просто ее разлюбил. А любил бы — любил бы и такой.

Я, знаешь ли, и теперь люблю вспоминать время, когда мы были вместе. Тепло мне становится на душе. Но не надо себя обманывать, — это не любовь. Это — ностальгия.

— Значит, тебе позволено было разлюбить Надю, а твоей жене разлюбить тебя не позволено? Так?

— И мне не позволено было, но чувства сильнее разума...

— Да, чувства сильнее, — Лекрыс взялся за ручку двери и добавил: — Ну что ж, искренне желаю тебе попасть в рай.

— Да, еще, — сказал Иван. — Ты мне напомнил о Надежде. Но ведь она тебе нравится? Так почему ты мне напомнил? Не ревнуешь?

— Она не для меня. Я такой невзрачный, что должен довольствоваться отбросами. По Сеньке шапка...

ГЛАВА 7

В этот поздний вечер моросил дождь. Иван вывез на рампу пустой контейнер и только пристроился с сигаретой на ящике под табличкой «не курить», как услышал: «друг, друг!» и повернул го-

лову. За сеткой забора, огораживающего хозяйственный двор магазина, стоял мужчина и умоляющими жестами звал к себе. В рассеянном в сумерках свете дежурной лампы все же было видно, как плохо мужчина был одет. Старомодная кожаная куртка, сильно потертая, брюки, порванные на колене и, вдобавок ко всему, совсем неуместная в конце апреля бесформенная шапка-ушанка с болтающимся ухом. Стараясь уберечь от дождя горящую сигарету, Иван с неохотой спустился с ramпы и по пути вдруг почувствовал, как что-то мягко ткнулось ему в затылок. Он обернулся и понял, что это был бумажный самолетик, теперь так сиротливо и тускло сереющий на мокром асфальте.

— Выручи, друг! — обдавая Ивана перегаром, сказал пьяница хрипло и трясущейся рукой протянул поверх сетки что-то в полиэтиленовом пакете.

— Это пистолет, — прошептал он, оглядываясь по сторонам, — вернее, револьвер.

— Револьвер? — переспросил Иван. — А зачем он мне?

— Дешево, очень дешево! Всего на пару бутылок!

Иван колебался.

— Вроде бы незачем...

— Может, разбогатеешь, начнешь антикварное оружие коллекционировать. Он антикварный, 2916 года выпуска. Ты не смотри, что маленький, дамский. Все равно можно застрелиться. Это я так шучу. Шутки у меня теперь такие.

Иван бросил в урну сигарету и вытащил револьвер из пакета.

— Он в рабочем состоянии? — спросил он.

— В рабочем, в рабочем, — заверил пьяница. — Он и заряжен, видишь? И вообще, застрелиться — это не повеситься и не отравиться, это по-мужски. Это я снова шучу. Шутки у меня теперь такие.

— Да, — сказал Иван. — Ты прав. Застрелиться — это по-мужски.

Несколько секунд Иван крутил револьвер в руках, затем спросил:

— На пару бутылок?

— Ну, может, на три.

— На три не могу, я не миллионер.

— Ваня! Еще один контейнер забери! — крикнула продавщица с ramпы.

Иван протянул деньги и забрал пакет с револьвером.

По пути домой в троллейбусе напротив него сел хитропупый. Об этом свидетельствовал значок на груди с буквами «ХП». Это был высокий брюнет лет сорока пяти, средиземноморского типа, в темных очках и с козлиной бородкой. На нем был бежевый костюм и желтые туфли. Стерильно чистые, несмотря на дождь.

«Похож на сутенера, — подумал Иван, поворачиваясь к окну. — Эти идиотские перстни на пальцах. И — странно: хитропупые обычно не опускаются до езды в троллейбусах...»

Неожиданно брюнет с бородкой наклонился к Ивану поближе и произнес басом:

— Внешний вид человека не имеет с его внутренним миром глубинного сходства, если вы имеете дело с актером. А я — актер.

Иван молчал.

— Какая глупость думать, что револьверы продаются для того, чтобы стреляться, — продолжал хитропупый. — Это все равно, что думать, будто молотки продаются для того, чтобы бить себя по пальцам.

— Вы подсмотрели? — невольно спросил Иван.

— Боже упаси! Просто я читаю мысли. Скажем, экстрасенс. Ботиночки Ботинок Ботинович мое имя. В девичестве Заратуштра. Вот, прочтите вырезку из энциклопедии, если вы не в курсе. Там обо мне.

Он вынул из кармана косо вырезанный из книги листочек бумаги, развернул его, протянул Ивану, и тот прочел следующее:

«Заратуштра (*иранское, греческая передача имени Заратуштра — Зороастр*), пророк и реформатор древнеиранской религии, получившей название зороастризма. В современной науке считается установленным, что Заратуштра — реальное историческое лицо, которому принадлежит составление Гат — древнейшей части «Авесты»... В «Младшей Авесте» Заратуштра — уже мифическое лицо, полубог».

— Прочли? — спросил Заратуштра. — Давайте теперь сюда, а то руками-крюками своими грязными залапаете, а это документ, между прочим. Шучу. В настоящее время я адвокат отца нашего небесного. Не шучу. Только что из Монте-Карло. Не правда ли, странная это штука, жизнь человеческая! Один никогда не был и никогда не будет в Монте-Карло, а другой только что из Монте-Карло! Ну прямо только что! Удивительно!

— Играли в рулетку? — спросил Иван.

— Боже упаси от такого греха! Я там тумбочкой стоял. Тумбочка из меня хорошая получается. Стоит себе, деревянная. Правда, иногда бывает, подумают: «А что это у нас за тумбочка стоит? Уж не чужая ли это тумбочка? Уж не нужна ли она кому-нибудь еще?» А потом еще раз подумают-подумают, да и скажут: «А пусть себе у нас стоит. Хорошая у нас тумбочка, деревянная!».

— Смешно, — сказал Иван.

— Я, конечно, шучу, — уже грустно произнес Заратуштра. — Но почему я шучу? Потому, что тосклива жизнь человеческая, даже если ты только что из Монте-Карло. Я смеюсь, если хотите, над тоской.

— А кроме шуток, зачем богу адвокат? — спросил Иван.

— Не спрашивайте, лучше внимательно перечитайте библию. Может быть, поймете, что богу так нужен адвокат. Например, когда Моисей, оправдывая свою жестокость, ссылается на бога, не верьте, это его собственная жестокость. Жестокость кротчайшего тирана. Да, тираны бывают и кроткими. Сталин тоже был чрезвычайно кроток. Не кроткий покричит-покричит да и перестанет.

А кроткий кротко слушает, кротко молчит, кротко набивает трубку и кротко говорит: «расстрелять». А если вы заглянете в библию, во вторую книгу Моисееву, в главу 31, стихи 27 и 28, то прочтете такие слова: «Так говорит Господь. Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждого брата своего, каждого друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левины по слову Моисея; и пало в тот день из народа около трех тысяч человек». Или вот еще: «Итак, убейте всех детей мужского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте». И, по Моисею, этого якобы хотел господь. А вы говорите, что богу не нужен адвокат.

— Я не верю в сверхъестественное, уважаемый хитропупый. А теперь простите, но мне пора выходить.

Иван встал.

— Конечно, конечно! — Заратуштра с готовностью выставил в проход ноги в брюках, отутюженных настолько, что, вероятно, он не только носил их, но и чинил карандаши или даже брился. — Только разрешите еще один вопрос? Если вам выпадет джек-пот, то как вы получите выигрыш, если будете лежать замороженным в металлическом ящике?

— Если я буду лежать замороженным, то мне будет абсолютно все равно, уважаемый адвокат.

— Люди, посмотрите на него! — завопил Заратуштра на весь троллейбус. — Он не верит в бессмертие души!

Троллейбус безмолвствовал. Люди, похоже, тоже не слишком верили в бессмертие души.

— И правильно делаете, что не верите, — продолжал Заратуштра. — Если бы человек наверняка знал, что душа бессмертна, у нас, несмотря на присущую страстную тягу к творчеству и познанию, все равно было бы куда меньше Шекспиров или Эйнштейнов. Смерть тонизирует жизнь. Для иного мысль о смерти — это что-то вроде чашки горячего крепкого кофе натощак. Отсюда вывод: если бы смерти не существовало, то ее следовало бы непременно...

Иван не услышал конца фразы, как раз отворились двери, и он поспешил выйти.

ГЛАВА 8

Разрисованное баллончиками здание дома и пустые черные окна квартиры на предпоследнем этаже показались Ивану такими

неуютными, что он, ощущая в себе что-то не менее мучительное, чем физическая боль, не боясь замочить джинсы, опустился на скамейку.

Двор был пуст, только чуть дальше, ближе к соседнему подъезду, мужчины в беседке играли в домино.

На третьем этаже открылось окно, и раздался женский крик:

— Ваня, йды вжэ йисты, картопля стынэ!

— Да зараз я, зараз!

— Не меня зовут, не меня... — сказал Иван.

Через некоторое время снова раздался крик:

— Ваня, так ты йдешь чи ни?

— Вот змея, не дает игру закончить! — с досадой сказал Ваня.

Подошла какая-то кошка и просительно замыкала.

— Тебе со мной плохо будет, потому что меня не будет, — сказал Иван. — А не будет потому, что я не мудрец, я не умею ощущать радость от одиночества, от одиночества я ощущаю боль.

— Картопля стынэ, Ваня! — снова раздалось из окна.

— А у нас? — снова обратился Иван к кошке. — У нас картошка стынет? У нас не стынет. Никто нас с тобой не ждет. Ну, пойдем, накормлю, иди сюда, — он взял кошку на руки.

ГЛАВА 9

В баре былолюдно, но табуреты у стойки пустовали.

— Привет, Людок, — сказал Иван симпатичной полной барменше, сел на табурет у стойки, уложил на коленях кошку и протянул деньги. — Мне пива, а ей какую-нибудь котлету. Смотри не перепутай.

— Я вижу, ты шутить начал. Что, полегчало? — спросила Люда, наливая пиво.

— Нет, не полегчало. Но, когда шутишь, все же легче.

Люда, поглядывая на кошку, сказала:

— Облезлая она у тебя какая-то. Такая же, как и ты в последнее время.

— Спасибо, — сказал Иван. — Большое спасибо.

— Ну, не то чтобы облезлый, но выглядишь неважно.

— Понимаю, — сказал Иван. — Ни свежей розовости, ни розовой свежести. Ни буйной краснощекости, ни краснощекой буйности. «Решимости природный цвет хиреет под налетом мысли бледным». А все равно ты добрая, другая бы была против кошки. Поперла бы.

— Я тоже против, — положив на блюдце сдачу, сказала Люда. — Просто жалко. Видно кто-то недавно выбросил на улицу, раз она ручная.

— Люди и не на такое способны, — сказал Иван.

— Что ты не берешь свое пиво? — Люда пододвинула бокал.

— А котлету?

— Не буду тебя обдирать на котлету. Тем более что котлеты у нас в одной упаковке с гарниром и салатом. У нас часто не доедают. Найдем что-нибудь.

Мимо стойки по направлению к дверному проему, за которым помещалась подсобка, с подносом, уставленным пустыми бокалами, стопками и пластиковыми коробочками из-под еды, двинулась официантка.

— Герда, подожди. У тебя, я смотрю, там приличный кусок котлеты. Давай-ка ее сюда. Нет, не мне, ему.

Герда протянула Ивану коробку и пошла в подсобку, а кошка жадно накинулась на котлету. Люда некоторое время жалостливо смотрела на пьющего пиво Ивана, потом сказала:

— Вот что я тебе посоветую в связи с твоей шекспировской страстью: ты смотри на женщин и старайся увидеть одинаковость с твоей Анастасией. Это — лекарство от несчастной любви. Это как подобное лечат подобным, как гомеопатия.

— Не желей меня, я уж как-нибудь сам.

— Совет никогда не помешает. Хотя, конечно, я понимаю, давать советы легко. Но ты все же смотри на женщин. Вот посмотри хотя бы на нашу новую официантку Герду. Штерн ее девичья фамилия. По-немецки «штерн» — это звезда. Да она и есть звезда. Такая красавица, что хоть сейчас на обложку глянцевого журнала. Вот только что не красится и потому только бледнее, чем, например, твоя бывшая выглядит. У нее даже косметички нет. Принципы у нее какие-то странные.

— Женщина, которая не красится, — животное. В ней недостаточно лжи, чтобы назвать ее человеком. Есть у меня такой афоризм, — сказал Иван.

— Герда! Герда! — позвала Люда. — Он только что назвал тебя животным! Ну, подойди же!

Герда вышла из подсобки. Это была среднего роста синеглазая девушка с бледным лицом и с черными вьющимися волосами до плеч.

— Повернитесь ко мне лицом, — сказала она.

Иван повернулся и через мгновение ощутил на своем лице хлесткую пощечину.

— Что ты делаешь! — закричала Люда. — Он же совсем не в том смысле сказал! Ваня, скажи, как ты сказал!

— Женщина, которая не красится — животное. В ней недостаточно лжи, чтобы назвать ее человеком, — повторил Иван, держась за горящую щеку.

— Ох, извините меня, пожалуйста! Это ты, Люда, ввела меня в заблуждение!

— Да я чтобы тебя заинтриговать, а потом бы объяснила! Кто ж знал, что ты так сразу круто!

— Только это не ваше, я уже это читала. Это афоризмы Ивана Шевченко.

— Так он и есть Иван Шевченко. Я о нем тебе рассказывала.

— Правда? Очень приятно, мне нравятся ваши афоризмы. И ваши юмористические рассказы мне тоже нравятся.

— Спасибо. Нужно иметь терпение, чтобы читать мои афоризмы.

— Не будьте так строги к себе. Чтение любых афоризмов утомляет и требует терпения.

— Эй, девушка! — закричали из зала.

— Ну, я пойду? — сказала Герда.

— Да погоди ты, ты познакомься поближе. Тем более что ты разведенная, он — тоже. Обменяйтесь, по крайней мере, телефонами. А вдруг?

Иван достал телефон.

— Говорите, — сказал он.

Герда назвала свой номер, добавила: «Я думаю, одного моего телефона достаточно», и снова направилась в зал.

— Пива, — сказал клиент.

— Ну, как она тебе? — спросила Люда, наливая пиво.

— А тебе не кажется, что для меня она слишком молоденькая? — спросил Иван.

— Ей двадцать пять, тебе тридцать три. Восемь лет — не такая уж большая разница.

— И давно она развелась? Я потому спрашиваю, что если недавно, то, бывает, что то сходятся, то расходятся.

— Не знаю, как давно развелась, но она вышла замуж в семнадцать, а в таком возрасте все мы делаем глупости. Хотя, конечно, и сейчас в ней есть что-то подростковое. Стишки, например, пишет.

— А может, это не подростковое? Может быть, это талант?

— Может быть и так, — согласилась Люда.

— Ей, наверное, трудно живется. Трудно быть человеком не от мира сего. Стихи — это не от мира сего, — сказал Иван и снова увидел подошедшую Герду.

— Бутылку армянского коньяка и пиццу, — сказала она, бросив взгляд на Ивана.

— А ты от мира сего? — спросила Люда, когда Герда вновь удалилась с заказом.

— Я пишу прозу, на ней хоть что-то можно заработать. Особенно, если она смешная.

— Нет. Она, судя по всему, все же от мира сего. Ну а если бы даже не от мира сего? Ведь любят женщину и женятся на ней не потому, что она много зарабатывает. Кроме того, Герда эрудит. Вчера где-то вычитала, что Чехов, этот по всеобщим представлениям чуть ли не монах, не женился только потому, что всю жизнь пользовался услугами проституток. Как тебе это?

— То, что она рассказала это тебе, ее определенным образом характеризует. Как она это сообщила? Восторженно?

— А это имеет значение?

— Имеет. Если человек говорит о ком-нибудь великом или знаменитом, что он такой же мерзавец, как и все, — это одно. Но говорить, что он такой же человек, как и все, — это совсем другое.

— Нет, не восторженно. Она сообщила это, а потом сказала: не сотвори себе святого.

— А ты не боишься за нее? Вдруг двинет кому-нибудь, как мне двинула. Ведь в барах собираются не слишком интеллигентные люди.

— Уже было! — усмехнулась Люда. — Плохо было тому, кто поднял на нее руку. Она занималась восточными единоборствами.

— Не потому ли она руки распускает?

— Не потому. Мерзавцев надо учить, — сказала вновь подошедшая Герда.

— По виду вы не японка, а по сути японка. И стихи тебе, и каратэ, — сказал Иван.

— Я еврейка, — сказала Герда и обратилась к Люде: — два пива и пиццу.

— Ее отец был премьер-министром, — проинформировала Люда Ивана, когда Герда вновь удалилась. — В прессе это не освещалось, но его выперли из касты хитропурых с поражением в правах.

— Дмитрий Иванович Штерн. Я помню. Слышал кое-что по Биби-си. Еще слышал от главного антихoxла России. Да и слухов много ходило.

— Да, слухов, — сказала Люда. — Мы — страна слухов. Мы, Московия и Северная Корея.

— Тише говори, — сказал Иван и обернулся.

— Ходят слухи, что уже можно роптать.

— На всякий случай, при посторонних, лучше не роптать.

Оба на некоторое время замолчали, пока Люда обслуживала очередного клиента. Потом Иван сказал:

— Ты права. Пусть даже не от мира сего. И Пастернак, и Бродский, и Цветаева, и Ахматова тоже были не от мира сего.

— Ну, Нобелевская премия ей, я думаю, не светит.

— Нобелевская премия — это не главное. Даренье, вот что в стихах главное. Хотя, если хочешь, то даренье вообще — это особый род эгоизма. Человек дарит потому, что ему самому становится от этого хорошо. Он этим как бы растворяется в других людях.

И люди, не обладающие такого рода эгоизмом растворения и дарения, — несчастны. Вот, послушай:

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

— Бутылку виски, кока-колы и пиццу, — сказала подошедшая Герда, потом, посмотрев на Ивана, добавила: — Я тоже очень люблю Пастернака, — и удалилась с заказом.

— Стихи хорошие, — сказала Люда.

— Мало сказать, что хорошие. После таких слов лучшие в мире бриллианты потускнеют.

— Не потускнеют. Стихи хорошие, но бриллианты от них не потускнеют. Именно ты, а не она, не от мира сего.

— Ошибаешься, я практический человек. У меня все от ума. Если хочешь — от извращенного и поверхностного ума. Сказать: «в молодости нужно делать гадости, иначе в старости не будет в чем каяться», — невелика заслуга. Правильно говорит Лекрыс, это уловка, трюк, или, может быть, ребячество. Я словно кричу: «мама, папа»! Посмотрите на меня, я научился стоять на голове!

— Зато это парадоксально, — сказала Люда.

— Может быть, — согласился Иван. — Вот только парадокс — не друг гения. Ошибался Пушкин. Настоящий гений — в последовательности и строгости мышления. Чтобы мысль следовала за мыслью, а не обрывалась пусть веселенькой, в цветочках, но пропастью-парадоксом, через черточку. Гений — это Шевченко, Толстой, Достоевский, Гросман. Может присутствовать некоторая доля остроумия, но только некоторая доля.

— А, по-моему, ты не прав. Бывают и гениальные парадоксы. «Твои взгляды мне ненавистны, но я всю жизнь буду бороться за твое право их отстаивать». Разве это не гениально? Вот только не помню, кто это сказал.

— Вольтер. Да, вот тут-то ты меня и поймала. О чем это говорит? О моей глупости. И таких глупостей во мне хватает. Поэтому я иногда думаю, что я не писатель. Ненастоящий писатель. Такому Нобелевскую премию не дадут. — Иван замолчал, прихлебывая пиво, потом продолжил: — А ты знаешь, что Пастернак покаялся за то, что ему присудили Нобелевскую премию? Представь себе гиганта, стоящего на коленях перед карликами. Печальное зрелище. И позорное для гиганта..

— Бокал пива, — сказал очередной клиент, протягивая Люде деньги.

— Гигант-то он гигант, но и гиганты не без трусости, — заметила Люда, наливая пиво. — Даже лев, на что уж царь зверей, а чего-то может бояться.

— Хвала времени! — сказал Иван. — Оно все расставляет по своим местам. Где они теперь эти карлики-правители? И где со временем, в конце концов, будут нынешние правители? Какого мнения будут о них потомки?

— В жопе, куда им и дорога, — сказал подвыпивший клиент.

— Что? — спросил Иван.

— Я сказал, что нынешние правители тоже будут в жопе, куда им и дорога, — повторил мужчина и прихлебнул пива.

— И вы не боитесь так говорить о хитропупых? — спросил Иван.

— Я слышал, что уже позволено роптать.

— Это уже не ропот. Это бунт.

— И все же ты не прав насчет патриотизма, — сказала Люда.

— Может быть. Может, патриотизм и нужен, но только в меру. То есть поболеть за команду своей страны, но не более того. Для чуткого сердца что-то есть в патриотизме нехорошее, очень нехорошее.

— Просто ты никогда не жил за границей, а вот пожил бы, то наверняка затосковал по родине. Вспомни, как у Шевченко:

На чужбине не те люди,
Тяжко с ними жить!
Не с кем ни поплакать,
Ни поговорить.

— Что касается людей, то я предпочитаю им книги, — сказал в ответ Иван. — И с ними тоже можно и прекрасно поговорить, и горько поплакать. А что касается тоски по родине, то:

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одиноко.

Вот такой я подлец...

— Это твои стихи?

— Нет, это Марины Цветаевой. Только я немного изменил.

— Вот мы и опять встретились! — раздалось рядом с Иваном, и все тот же Ботиночкин, в девичестве Заратуштра, сел на соседний табурет. — Я насчет договора. Я спонсировать вас хочу. Дело в том, что в вас попал самолетик.

— В чем спонсировать? Какой самолетик?

— Вы же писатель, так я по поводу вашей писанины.

— Я не писатель, я грузчик. Сами видите: руки-крюки, морда ящиком.

— И все же я по поводу писанины, уважаемый грузчик, де-фис, — писатель. Больше вы все-таки писатель, чем грузчик. Грузчик — это особый талант. Грузчиком надо родиться, это писателем можно стать. Я дам вам сто тысяч евро, чтобы вы писали. Деньги я даю затем, что трудно и писать и грузить одновременно. Теперь, слава богу, уже не карают за тунеядство, поэтому увольтесь, и до срока, который определит святой дух, до вашего великого

подвига, который вы совершите во имя украинского народа, только пишите, чтобы не тянуло в петлю. Нужно писать не только по вечерам или в выходные, я, в бытность Заратуштрой, сам был писателем, и знаю, что писательство, как и любое другое ремесло, требует полной отдачи.

Заратуштра вынул из кармана распухший органайзер, потом из него вынул толстую пачку евро в банковской упаковке и протянул Ивану.

— Вот аванс, а вот... — он извлек из органайзера сложенный лист бумаги и развернул его, — расписка в получении 100 тысяч евро. Распишитесь, — он протянул изящную черную авторучку с золотым пером.

— Я не возьму эти деньги, — сказал Иван. — Я уже говорил, до настоящего писателя я не дотягиваю.

— Да, «Мелко мерим мы наш дух, боясь великих дел»! — тяжело вздохнул Заратуштра. — Но вы все же подумайте, подумайте...

Люда, поглядывая то на Заратуштру, то на Ивана, сказала:

— Господин хитропупый, а вы не против будете, если я со своим другом немного пошепчусь?

— Отчего же не пошепаться, пошепчитесь, пошепчитесь. Это не грех, — охотно согласился тот.

Люда вышла из-за стойки, схватила Ивана за рукав и потащила в подсобку.

— Ты идиот! — зашипела она там. — Ты не знаешь самую главную мудрость. Бьют — беги, а дают — бери! Потом разберешься что к чему!

— А тебя не смущает моральная сторона вопроса?

— А какая тут моральная сторона?

— Воспользоваться чьим-то помешательством. Ведь что он несет? Какой-то самолетик. Да, был самолетик, но причем тут самолетик? Ведь это же черт знает что! А сто тысяч евро? Это же сумасшедшие деньги, а он их швыряет на ветер!

— Штерн, будучи премьер-министром, пожертвовал кучу денег на строительство больницы для простаков. Так он что, по-твоему, помешался? Все, не глупи, пошли.

— А кошку я заберу с собой в сумасшедший дом. Там, в семнадцатом отделении, в котором я лежу, в бойлерной, для них есть теплый приют. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу бездомных домашних животных, — сказал Заратуштра, когда они вернулись, взял у Ивана кошку, уложил на коленях и положил на стойку пачку евро. — Быстро спрячьте, или не берете?

— Возьмет, возьмет! Он возьмет! — поспешила сказать Люда, пряча пачку.

— И все же мне не совсем понятно... — раздумывал Иван, расписываясь.

— Вы тугодум, — сказал Заратуштра, забирая договор. — Сколько можно повторять, что я оказываю вам эту услугу и как спонсор, а вернее, меценат, и как писатель писателю. Да, да. «Мы родились, мой брат названный, под одинаковой звездой».

— А где мне вас искать, когда я напишу роман? — спросил Иван.

— Пусть это вас не беспокоит, — сказал Заратуштра. — Для меня главное — не роман. Для меня главное — чтоб вы не думали о самоубийстве. А револьвер я у вас заберу. Поскольку это в театре, если в первом акте на сцене висит ружье, то во втором, или третьем, или последнем оно должно выстрелить. В жизни оно запросто может выстрелить совершенно не вовремя, уже в первом акте.

— Извините, но револьвер я вам не отдам, — сказал Иван. — У меня сто тысяч, а район у нас беспокойный.

— Вы трус?

— Я трус.

— Хорошо, я так и передам ему, что мы, оказывается, имеем дело с таким храбрецом, что ему даже хватает смелости назвать себя трусом.

— Так и передайте.

Заратуштра посмотрел на часы.

— Ну что ж... Как ни приятно с вами беседовать, но мне пора в сумасшедший дом. И помните: «Нас мало избранных, счастливых праздных», которые могут целиком посвятить себя творчеству. Что нужно писателю? Время, деньги и, как вы думаете, еще что?

— Ум? — спросил Иван. — Талант?

— Крепкая задница. У вас она есть. Держайте. Вам не хватает только дерзости. Ну что ж, — Заратуштра встал. — Прощайте. Хотя нет, нет. Не прощаюсь. Не прощаюсь. Я говорю вам «до свиданья». Расставанье не для нас.

И Заратуштра вышел из бара.

— Посмотри, настоящие? — спросил Иван.

Люда поддела ногтем упаковку, вытащила купюру и проверила прибором.

— Настоящее не бывает, — сказала она.

— Возьми себе сколько надо. Ты меня столько раз пивом и коньяком бесплатно поила.

— Сколько надо, сколько надо... — пробурчала Люда. — Как был ты в школе непрактичным, так непрактичным и остался. Нет, Иван. Это твои деньги. И потом, я не считаю, что поступала правильно, поя тебя пивом. Мне просто было жаль тебя, как жаль было эту несчастную кошку.

— Ну, хоть немного возьми, — сказал Иван.

— Сколько?

— Тысячу.

Люда тяжело вздохнула.

— Ладно, возьму, — сказала она, взяла одну купюру и протянула пачку Ивану.

— На, спрячь. Да побыстрее!

Иван спрятал деньги в карман и сказал:

— Пожалуй, я возьму бутылку коньяка.

— Дерьма тебе на палочке, а не коньяка! Сейчас, когда у тебя все налаживается, пить?! Одумайся! Лучше проводи Герду! — и Люда закричала в зал: — Закругляемся, закругляемся!

Иван посмотрел на Герду, ловкими движениями протирающую столешницу, подошел к одному из опустевших столов, где лежал поднос, и стал ставить на него бокалы.

— Закругляемся, закругляемся! — снова прокричала Люда.

К столику, с которого убирал бокалы Иван, подошла Герда.

— Я бы и сама... — сказала она и, смущенно улыбаясь, посмотрела на Ивана большими синими глазами под длинными черными ресницами.

— Я хочу вас проводить, — сказал Иван. — Вы не против?

— Не против.

— Я и пол помогу помыть.

— А вы не аристократ. Принимайте это как комплимент. Только мыть пол не надо, я сама помою моющим пылесосом. Лучше поставьте стулья на столы сиденьем вниз.

— Я знаю как.

К концу уборки почти все посетители вышли из бара, остались только двое парней.

— Два часа! Два часа! Закрываемся, закрываемся! — снова прокричала Люда. — Эй, парни, освободите зал!

Парни пошли к выходу, и один из них, повыше ростом, в дверях оглянулся на Ивана.

— Не привлекай внимания, Сундук, — тихо сказал его невысокий спутник с узкими, как у азиата, глазами. — Он будет ее провожать. А где она живет, я, бля, знаю.

ГЛАВА 10

Дверь больничной палаты открылась, вошли двое: худощавый рыжий санитар и белобрысый, полный и какой-то рыхлый парень, одетый в дешевый спортивный костюм. На вид парню было лет двадцать, и выглядел он глуповато и несколько пришибленно. В руке у санитаря, на тыльной стороне ладони которого красовалась татуировка с изображением восходящего солнца, было постельное белье.

— Вот твоя кровать, — сказал санитар. — Вот тебе белье, постелешь. А ты, Ван Гог, встань с чужой кровати, ложись на свою.

— Я не Ван Гог! — пылко вскрикнул худощавый блондин с длинными волосами. — Я — Малевич! Ван Гог был постимпрессионистом, а я супрематист, попрошу не путать!

— Не пойму я тебя, — сказал санитар. — То ты Максименко, то ты Малевич. Как они в тебе оба уживаются? Ведь по паспорту ты Максименко? Или в паспорте ошибка?

— Вы не поймете, это трансцендентно, то есть не доступно теоретическому познанию! Это нужно постигать духом! — сказал Максименко, ложась на свою кровать.

— А кто нарисовал «Черный квадрат», Максименко или Малевич?

— Написал, а не нарисовал. Попрошу не путать. «Черный квадрат» написал Максименко-Малевич. И еще я написал «Женщина в черном квадрате», «Женщина в синем квадрате», «Черный треугольник» и «Желтый круг». И не только, я много чего написал.

— Видел я ваши картины, товарищ Малевич, — заговорил сутулый, седой и носатый пожилой мужчина с пионерским галстуком на худой жилистой шее. — Это называется мелкобуржуазным индивидуализмом. Зачем он вам, товарищ Малевич? Вы играете на руку капиталистическим акулам. Ведите народ к свету, к коммунизму. Ведите нас в СССР. В ваших картинах люди летают. А ведь люди не летают. Это ракеты летают, самолеты, паровозы. Зачем вы вводите пролетариев в мелкобуржуазное заблуждение? Вам надо это решительно преодолеть! Люди должны летать, но на ракетах, на паровозах, или в кабине истребителя, защищая пролетариев от империалистической агрессии, или на орбитальной станции, следя в телескоп за коварными планами империалистов. Вот как они должны летать, а не вручную, да еще в таких позах. И еще, вы словно говорите: «Посмотрите на меня, у меня люди летают! Вот я какой необыкновенный!». К чему это мелкобуржуазное хвастовство, товарищ Малевич? Вам надо это решительно преодолеть!

— Вы, уважаемый Давид Давидыч, ошибаетесь, — сказал средиземноморского типа мужчина с бородкой, как у Мефистофеля, отрывая глаза от газеты под названием «Вопросы религиозной философии» с передовицей, озаглавленной «Есть ли Бог?» — У Малевича люди не летают. Это у Шагала летают. Но, тем не менее, будет правильно сказать, что «Черный квадрат» — это отрицание искусства, что «Черный квадрат» для искусства — все равно, что для мира ядерная война.

— Не знаю, не знаю, Заратуштра... — сказал низкорослый горбатый молодой мужчина с ассиметричным прыщавым лицом. — Может быть, этот «Черный квадрат» вовсе не ядерная война, а голая пустота пустот, ничеготеньки не выражающая. Просто нет того ребенка, который, глядя на эту черную пустыню, крикнул бы: «А король-то голый!».

— Заратуштра с Озабоченным как всегда говорят умные вещи! — заметил санитар. — А ну-ка скажи еще что-нибудь умное, Заратуштра.

— Анекдот сочинил, — сказал Заратуштра. — «Мать Иисуса Христа на приеме у психиатра:

— Мой сын ходит по воде.

— С ума сойти!

— Может накормить пятью хлебами тысячу человек.

— С ума сойти!

— Воскрешает мертвых.

— С ума сойти!

— А еще превращает воду в вино и поит им окрестных алкоголиков.

— Это, безусловно, ненормально. Будем лечить».

— Я что-то не понял юмора... — сказал санитар.

— Это я, Женя, к тому, что иногда с водой можно выплеснуть и ребенка, — пояснил Заратуштра.

— А-а-а...

— А телевизор? — растерянно спросил новоприбывший, опускаясь на покрывало. — Мама сказала, что в сумасшедшем доме есть телевизор, а оказывается, что нет.

— Как тебя зовут? Петя? — спросил санитар.

— Петя Нирыба.

— Так вот не расстраивайся, ни рыба ни мясо. Тебе и без телевизора здесь будет так же весело, как мне было бы смешно в голландской тюрьме, — усмехнулся санитар Женя.

— Не слушай его, Петя. Здесь не сахар, — сказал статный молодой шатен с бледным и по-девичьи красивым лицом. — Здесь есть такие уколы и таблетки, после которых работа на лесоповале тебе покажется цветочками. Ты думаешь, почему среди психических больных так много самоубийств? Из-за галлюцинаций? Не только. Часто из-за некоторых препаратов. Они — мучительны. Они для души — пытка. Для психиатров не существует ни заповеди «не навреди», ни заповеди «не убий». И физическое насилие здесь насилием не считается. Оно здесь узаконено.

— Истину ты говоришь, Философ! — сказал Озабоченный.

— Ну, не надо всех врачей под одну гребенку, — возразил санитар Женя. — Маргарита Васильевна, конечно, стерва, каких свет не видел, а Сергей Викторович — нормальный мужик. Ладно, пошел я. А ты осваивайся, Петя. Только встань с покрывала, на покрывале сидеть нельзя, его стирать трудно. Сначала свое белье постели.

— Ну что, Петя, давай знакомиться? — предложил все тот же красивый статный молодой мужчина, когда санитар вышел из палаты. — Мы взяли за правило знакомиться и вкратце рассказывать о себе, потому что мы интеллигентные люди и философы. Я — Олег, но все называют меня Философом, да и мне так больше нравится.

«Философ» — звучит гордо. Рядом с тобой, этот, с бородкой — Ботиночкин Ботинович, в девичестве, как он в шутку говорит, — Заратуштра. Но он у нас приходящий, он на дневном стационаре. От бессонницы лечится. Далее, этот горбатый парень со злобным лицом, — прости, Озабоченный, — Озабоченный. Они — двое из larца, которые знают все, особенно Заратуштра.

— Дважды два — четыре. Так говорит Заратуштра, — подняв указательный палец, сказал Заратуштра и вновь углубился в свою газету.

— Это он снова дурочку включил. А когда он дурочку включает — от него ничего умного не добьешься. — Философ посмотрел на следующую кровать. — Далее лежит Леня-барабанщик. Леня, познакомься с Петей.

Лежащий на следующей кровати кудрявый брюнет с натянутым под самый нос одеялом, чуть спустил с лица одеяло и сказал:

— Леня-барабанщик. Ноты не знаю.

— А от Лени тем более ничего не добьешься. Он ноты не знает. Эх, Леня, Леня! Далее следует Виталий Вениаминович, но мы называем его Гороховый Суп. Он такой большой и толстый потому, что, помимо столовой, съедает в день еще две буханки хлеба, ему приносят, а еще он очень любит гороховый суп.

— А что гороховый суп? Да, я люблю гороховый суп! — отозвался Гороховый Суп.

— Тоже философ, потому что делит людей на качественных и количественных. Он считает, что качественные люди, то есть они, которых много, должны служить людям качественным, то есть нам, которых мало. Вот такая непонятная теория.

— Они отчасти служат, но недостаточно, — сказал Гороховый Суп. — Готовят нам капустняк, борщ, гороховый суп. Но они должны еще готовить котлеты, настоящие, с мясом. Должны также быть пирожное, мороженое, шоколад и кока-кола.

— А еще они должны оказывать нам сексуальные услуги, — сказал Озабоченный.

— Не слушай Озабоченного, Петя, — сказал Философ. — Он тебя испортит. Он сексуально озабоченный, но для краткости мы называем его просто Озабоченным.

— Ты, Петя, лучше этого доморощенного философа не слушай! Это как раз он тебя ничему умному не научит! — зло заговорил Озабоченный. — Но я знаю правду-матку: в жизни путеводной звездой мужчине — если он мужчина — служит *фагина* и все, что к ней прилагается.

— Не продолжай, — сказал Заратуштра. — Ты, действительно можешь испортить парня. Ты все время говоришь такие вещи, что так и хочется сжечь тебя на костре, хоть я и не инквизитор.

— Инквизиция, как и христиане вообще, всегда душили, жгли, мордовали, убивали все прогрессивное, все лучшее, что появлялось в мире, — сказал Озабоченный. — И сейчас, если бы дать христианам волю, они бы творили то же самое явное зло во имя призрачного добра. Снова запылали бы костры из живых людей. Удивительно, что эта религия еще жива. Мало того, что она объявила любовь грехом, но ведь она противопоставляет себя многим другим законам мира. Ненавижу эту религию! Религия, которая говорит: извините меня за то, что вы меня ударили, — есть религия рабов!

— Все верно. Если обиженный будет просить прощения у обидчика — нарушится мировой порядок, так говорил Прометей, — вставил Заратуштра.

— А «Возлюби ближнего своего, как самого себя», это ты забыл? Или «Не суди и не судим будешь»? — спросил Философ. — Надо бы отличать христианство от того, что сделали из христианства.

— Конечно, не все так плохо в христианстве, — заговорил Художник. — Это как в бывшем СССР в период застоя. Было и что-то хорошее, относительное равенство, относительная законность и относительный порядок, например, но в целом по-христиански, как и по-советски, — жить нельзя. Искусственное все это.

— Язычество было лучше, оно не было противоестественно, — сказал Озабоченный. — Языческие боги были и сами порочны, и к людям снисходительны. И, что самое главное, все связанное с *фагиной*, не считалось у них таким уж большим грехом. Зевс сам был великий греховодник.

— Не говори «*фагина*», это пошло. Говори: «шкаф». Фрейд говорил: «шкаф», — сказал Заратуштра.

— Но именно христианство, а не язычество дало человечеству высочайшую мораль, — сказал Философ.

— А как же китайцы? — возразил Заратуштра. — У них не было и нет ни христианской, ни ветхозаветной морали, тем не менее, никто не скажет, что они менее нравственны. Конфуций сказал, что следует любить ближнего своего как самого себя, задолго до Христа. Нет, все же Новый Завет, поскольку он опирался на Ветхий Завет, в большей степени оказался для Запада злом, чем добром. Недаром же после Средневековья потребовалось Возрождение. Было что поднимать из руин после тотального кровавого диктата христианской церкви.

— А по мне, — сказал Философ, — пусть люди верят в бога, потому что без этого костыля, быть может, многие до старости не доковыляли бы. Повесились бы лучше, лишь бы отделаться от страха смерти. Но ничего, друзья! Не долго вам мучиться осталось! Скоро я открою настоящего бога, а с ним и настоящее бессмертие!

— Обрести себя в искусстве — вот что должно быть поставлено во главу угла каждым разумным человеком! — воскликнул Художник. — Искусство — это тоже религия, но религия без бога, без лапши на ушах! И костыли искусства — лучшие костыли.

— Я бы не сказал, что они лучшие, — сказал Философ, — потому что на костылях религии вы идете к бессмертию, а на костылях искусства или науки, или другого любимого дела, как ни крути, как ни радуйся, каким интеллектуальным или даже гениальным творцом и благодетелем человечества себя не считай, а к смерти, а это грустно. Но я бы, уважаемые, не стал бы критиковать только христианство. Все религии одинаково лживы, и все они антагонисты истины. Не только в церкви вам лгут, но и в синагоге, и в мечети, и в храме Кришны или Шивы. В любом храме вам лгут. Храмы и созданы для лжи. Нет, нет. Не прав я. Может быть, Петя Нирыба верующий, и я оскорблю его религиозные чувства, или, хуже того, отниму костыли веры. Я прав, а, Заратуштра?

— Ты прав. Лучше быть обманутым, но счастливым, чем знающим истину, но несчастным, — сказал Заратуштра.

— Вот именно. Нет, пока я не создам настоящего бога и настоящего, обоснованное бессмертие, пусть все остается по-старому. С людьми надо быть предупредительнее, тактичнее. Люди слишком ранимы. Так что помолчу пока. Подумаю о том, что хорошо, потому что ответственно, а что плохо, потому что безответственно, и дам Пете познакомиться с Давидом Давидычем.

— Давид Давидович Бронштейн, — представился седой носатый мужчина с пионерским галстуком на шее. — Активный участник Великой Октябрьской социалистической революции. Брал Зимний дворец. Лично знаком с Лениным. Советский партийный и государственный деятель. Историк. Публицист. Режиссер. Снял картины: «Ленин в октябре», «Ленин в Смольном», «Ленин всегда живой». После свержения горбачевской сволочью Советской Власти вел агитационную работу в Хитролупинске и окрестностях, за что был схвачен и без суда и следствия брошен в эти застенки. Настаивал, настаиваю, и буду настаивать, что главное для человека коммунизм и все, что к нему прилагается.

— Главное — не коммунизм, главное — бессмертие и гороховый суп, ну и, конечно, другие вкусности, — сказал Гороховый Суп.

— Но бессмертия нет, а то, чего нет, не может быть главным, — возразил Художник.

— А я слышал, что бессмертие есть, — робко сказал Петя Нирыба. — Просто бессмертные прячутся от смертных в пещерах, чтобы те не убили их от зависти.

— Да, еще и зависть, еще и зависть движет миром! — воскликнул Озабоченный.

— У тебя почему-то миром движет все самое плохое, — заметил Философ. — А любовь? А дружба? А справедливость? Да мало ли всего того хорошего, что движет миром.

— Вот мы тут все философствуем, а Леня опять молчит. Скажи что-нибудь, Леня, — попросил Давид Давидович.

— А что я могу сказать? — вопросом на вопрос ответил Леня. — Я барабанщик, я ноты не знаю.

— А я, в порядке философствования, хочу выдвинуть гипотезу, — сказал Философ. — А может, нам действительно нужен был коммунизм? Может, мы просто не сумели ничего из него построить? И если бы строили его по китайскому образцу, то что-то такое хорошее построили бы? А то говорили, что вот будет у нас капитализм, и потекут тогда у нас молочные реки вдоль кисельных берегов. У нас уже тысячу лет капитализм, а что-то ни молочных рек, ни кисельных берегов даже на горизонте не видно. Как не было счастья — так и нет.

— В Англии счастье есть, потому что в Англии, говорят, хорошо кормят, — сказал Гороховый Суп.

— Может быть, ты и прав, что в Англии счастье есть, — сказал Художник. — Потому что в Англии люди не делятся на простаков и хитропурых. В Англии справедливость и свобода существуют для всех одинаково. А благополучие, а с ним и счастье — это уже плоды свободы и справедливости.

— Спорны твои рассуждения. А как же Китай? — заметил Озабоченный. — Китай — благополучная страна, хоть свобода там и ограничена.

— Не знаю как со счастьем в Китае, я за то, как в Швеции. За вращение социализма в капитализм, — сказал Художник.

— А теперь дайте мне сказать! — заговорил пылко Давид Давидович. — Это что же получается, товарищи пролетарии? Вы что же, отрицаете обнищание пролетариата, а получение некоторыми его представителями тепленьких местечек рассматриваете как вращение социализма в капитализм? Да это только жалкие подачки, потому что власть все равно остается у буржуазии! Парламентская деятельность пролетариат не спасет. Классы остаются классами и между ними — пропасть. Буржуазия по-прежнему будет стараться побольше урвать. Нас спасет только диктатура пролетариата!

— Диктатура тех, кто пьет горькую? — возразил Заратуштра.

— Значит, по-вашему, недавнее увеличение налогов для богатых в Евросоюзе это что!? — гневно заговорил Озабоченный. — Если вся власть у буржуазии, значит те, кто хотят побольше урвать, сами себе налоги увеличили!? Где логика?! Пожалуйста, заткните кто-нибудь Давид Давидовичу рот!

— Сам заткнись! — не смолчал Давид Давидович.

— Тише, тише, не ссорьтесь, друзья, мы же интеллигентные люди! — призвал к порядку Философ.

— Вот ты, Художник, сказал, что благополучие, а с ним и счастье — это уже плоды свободы, — заговорил Озабоченный. — Но вот беда, не ко всем народам свобода применима! Мы, если бы стали свободными, обратили бы эту свободу в свободу воровать. Конечно, мы кричим о настоящей справедливости, и, когда кричим, то вроде и жаждем ее, но, в конце концов, все равно оказывается, что воровать мы жаждем больше, что воровство, оно понадежнее справедливости будет.

— «Так в чем отличие черни от господ? Ни в чем, коль внешний блеск не брать в расчет», — процитировал Шекспира Заратуштра.

— Да, ты прав. Ни в чем. Недаром у нас в народе принято говорить о начальстве не «вор», а «умеет жить», — продолжил Озабоченный. — Для большинства из нас справедливость — это когда воруют все одинаково. Скажете, что это от невежества, что это пройдет? Не пройдет, потому что, если мы учимся, — я говорю обо всем народе, и о хитропупых, и о простаках, — если мы учимся, то учимся не для того, чтобы избавиться от невежества, не говоря уже о том, что не для того, чтобы что-нибудь свершить, в нас нет для этого здорового честолюбия, а для того мы учимся, чтобы устроиться на тепленькое местечко, судьей, например, и там не вершить справедливость, а гнить и радоваться собственному гниению, потому что для нас слаще аромата собственного гниения ничего на свете нет. О боже! Насколько мне эта нация воров ненавистна, хоть я к ней и принадлежу!

— Внесу одну поправку, — сказал Заратуштра. — Бедные, подстегиваемые нуждой, имеют право быть ворами. Когда не хватает самого необходимого, трудно устоять.

— Никто не имеет права быть вором, — возразил Озабоченный. — И потому, если все-таки бог есть, то пусть он лишит нас всех заповедей, оставит одну, но такую, чтобы она вошла в нашу кровь, в нашу плоть, в нашу душу, и чтобы ее никак, совсем никак нельзя было нарушить! Эта заповедь — имей совесть и честь! Бога, конечно, нет. Но не это плохо. Хуже всего то, что у нас нет людей, которых можно бы было назвать совестью нации. Человека, который имел бы право сказать всем, и хитропупым, и простакам: имейте совесть и честь! Нет у нас ни одного такого человека!

— А Дмитрий Иванович Штерн? — спросил Заратуштра.

— Ну, разве что Штерн, — согласился Озабоченный — Только где он сейчас, этот Штерн? Засунули куда-то, чтобы не мешал красть. Как он вообще попал в премьер-министры? Для них ведь выбрать в премьеры честного человека — это обрубить сук, на котором они сидят, сволочи!

— Ты бы поосторожнее с выражениями... — заметил Философ.

— Говорят, что уже разрешили роптать, — сказал Озабоченный.

— На всякий случай лучше не роптать, — сказал Философ.

— Если бы не «шкаф», то ты, Озабоченный, был бы вполне нравственным человеком, — заметил Заратуштра. — Хотя, в принципе, в юности человек может так мыслить, но умирать он должен с другим.

— А о чем человек должен мыслить, умирая? — спросил Озабоченный.

— О разном, о разном, — уклончиво ответил Заратуштра.

— О чем мыслить — подскажет прожитая на земле жизнь, — сказал Философ. — Я, например, буду, надеюсь, мыслить о том, что мне удалось открыть бога, который удовлетворяет как материалиста, так и мистически настроенного человека. И еще я буду мыслить о рае, в который после смерти отправляюсь. И разве есть что-нибудь более великое для религиозного философа, чем найти бога для всех и открыть бессмертие?

— Тебе хорошо, а у меня никогда не было «шкафа», поэтому, прости, но я по-прежнему буду думать о «шкафе». Каждому — свое, — сказал Озабоченный.

— А теперь разрешите и мне сказать, — сказал Художник. — Путеводной звездой человеку служит счастье, вот только счастьем этим совсем не обязательно должна быть любимая женщина. Счастьем может быть и удачная картина или книга. Тебе, Озабоченный, сколько лет?

— Тридцать.

— Тогда еще не все потеряно. Тогда у тебя еще будет возможность понять, что женщины — не главное.

— Так, по-твоему, главное — творчество? — спросил Озабоченный.

— Главное — творчество, — сказал Художник.

— Счастье невозможно, даже если ты творец, если ты веришь в смерть, — заговорил Заратуштра. — Ведь, по сути, человек просто сидит в камере смертников и ждет, иногда мучительно ждет, что лет через тридцать, через двадцать, через десять, или вот-вот, с минуты на минуту, его поведут на казнь. Какое уж тут счастье! Не до счастья!

— Не будет казни, — сказал Философ, — потому что существует бессмертие, и я скоро его открою.

— Нельзя открыть то, чего нет, — возразил Озабоченный.

— Не спорьте, товарищи пролетарии и полупролетарии, — сказал Давид Давидович. — Лучше послушайте меня. Есть, есть такое место, где все, абсолютно все проблемы решены. Вот послушайте меня...

ГЛАВА 11

Когда Иван с Гердой вышли из закуской, по-прежнему моросил дождь.

— Прячься, — сказала Герда, раскрывая зонт.

— Да я вроде не сахарный... — сказал Иван.

— Становись, становись! — настаивала Герда. — Я чувствую себя неуютно, когда неуютно кому-то рядом со мной.

— Ну, разве что из-за этого. Но тогда мне придется к тебе немного прижаться, а от меня пивом разит, наверное.

— Ничего, становись, ты выпил всего лишь кружку, — сказала Герда. — Можешь даже обнять меня за талию, чтобы было удобнее. Я не недотрога.

Иван так и сделал и через некоторое время узнал в шедшем навстречу им мужчине с зонтом Лекрыса. Оба кивнули друг другу, после чего Лекрыс остановился и довольно долго смотрел им вслед.

Фонари не горели. Улица слегка освещалась только горящими окнами домов. Долго шли молча. Ивану хотелось это молчание нарушить, и он не нашел ничего лучшего, как сказать банальность:

— Темень какая на улицах для простаков. Экономит гетман на нас, набивает карманы за счет продажи электроэнергии за границу.

— Ты не боишься мне такое говорить? — спросила Герда.

— Говорят, что уже позволено роптать, а, кроме того, я чувствую, кому можно доверять. В тебе нет фальши.

— Некоторая доля фальши присутствует и в самом искреннем человеке, — заметила Герда. — И искренний человек скажет: «Рад был с вами познакомиться», даже если не испытывает никакой радости. Искренность и вежливость часто несовместимы. Нормальному человеку всегда хочется казаться добрее, чем он есть на самом деле, и он часто предпочитает вежливость искренности.

— В твоём понимании «нормальный», значит, хороший?

— В моём понимании в нравственном отношении есть нормальные и ненормальные. Из известных истории людей на свете был лишь один хороший человек, да и тот умер, отравившись несвежей свиной.

— Будда? — спросил Иван.

— Будда, — подтвердила Герда.

— А Христос тогда кто?

— Христос был ригористом, не признавал никаких компромиссов. Будда ригористом не был.

— Я тоже ставлю Будду выше Христа, — сказал Иван. — Христос говорил: «бросьте все и идите за мной». А Будда говорил: «если хотите — идите за мной». Чувствуешь разницу?

— Да. Будда говорил, что не следует хулить чужую веру, что надо уважать чужую веру, даже противную нашим убеждениям. Христос бы так не сказал. Христос был фанатиком.

— Да, хорошим человеком был Будда, но я бы за ним не пошел. Ни за ним, ни за Христом, который, кроме креста, принес в мир меч, ни за Магомедом, который тоже принес в мир меч. Я лучше бы залез в свою раковину и посмотрел бы, что из этого всего выйдет.

— Ты трус?

— Не то чтобы трус. Хотя ты не первая меня называешь трусом. Просто я ни в чем не уверен.

— Но все-таки они несли в мир добро.

— А принесли зло.

— К Будде это не относится.

— Да, к Будде не относится. Но и за ним я не пошел бы. Потому что как неповторима внешность человека, так же неповторим и его внутренний мир. Очень правильно Высоцкий пел в «Чужой колее»: «Делай как я, это значит не надо за мной».

— Ну хоть что-то тебе близко?

— Эпикур. Только не путай с Аристиппом.

— Знаю, это у него, у Аристиппа беспорядочные и безмерные плотские утехы.

— Да, — продолжил Иван. — У Эпикура наслаждения жизнью разумные. Такие, после которых не бывает горького похмелья. Такие, чтобы не принести вреда ни себе, ни людям, а, напротив, наслаждаться, по возможности, взаимно.

— У тебя получается?

— Не всегда. Видимо, для разумных наслаждений нужны раскусод и дисциплина. Мне их недостает.

— А ты самокритичный, а это уже говорит об уме.

— Просто я много читаю. Только ты не подумай, что я хвастаюсь, что много читал. «Прочесть тысячу книг — не большая заслуга, чем вспахать тысячу полей», — сказал Сомерсет Моэм. Но мне зачастую кажется, что все же лучше вспахать тысячу полей, чем прочесть тысячу книг. Меньше будет самолюбования. Вот де я какой необыкновенный! Кроме того, чтение — тоже своего рода пропаганда, тоже отучает самостоятельно мыслить.

— Ты не прав, — сказала Герда. — Надо много читать. Даже гениям более обширные знания позволили бы больше себя проявить. Шире было бы поле для творчества. Шевченко, например, больше бы себя проявил. Разнообразнее.

— Если бы он, вдобавок, дольше прожил.

— Да, конечно. И если бы был хоть чуточку повеселее.

— Но такая жизнь у него была. Такая, что не до веселья, — сказал Иван.

— Да, конечно, — согласилась Герда.

Некоторое время они шли молча. Потом Герда сказала:

— Вот ты меня провожаешь, а тебе-то самому долго будет домой возвращаться?

— Мы прошли уже улицу Самой Светлой Надежды. Там, в самом начале улицы, мой дом.

— Это тот, самый высокий дом?

— Верно.

— А на каком этаже ты живешь?

— На предпоследнем, шестнадцатом.

— А площадь Первого Великого Гетмана из твоих окон видно?

— Из моих — не полностью. Загораживает здание архива, а вот с технического этажа уже должно быть видно.

— И что же? Туда можно попасть?

— Там стальная дверь, и замок, как в сейфе.

— Значит, попасть нельзя?

— А почему ты интересуешься?

— А у тебя не возникала мысль забраться на что-нибудь с винтовкой с оптическим прицелом и застрелить Брехунца, когда после Нового года происходит возложение цветов к памятнику Первого Великого Гетмана?

— Не возникала.

— А у меня возникала. Жаль, что там как в сейфе.

— Ну, есть люди, которые могут открыть любой замок и справиться с любой сигнализацией.

— Только где такого найти!

— Среди уголовников, — сказал Иван.

— Не хочется знаться с уголовниками.

— Раз хочешь посмотреть на гетмана сквозь оптический прицел — придется знаться. Да и среди них, как и среди всех, разные люди. Тем более медвежатники. Это совсем особые люди. Это техническая интеллигенция в своем роде.

— А где уголовники обычно собираются?

— Ну, я не очень-то осведомлен, слышал только о кафе «Стрелка».

— А на какой оно улице?

— На углу улицы Самых Светлых Умов и проспекта Бывших Алкоголиков.

— Ну все, забудем! — Герда посмотрела на Ивана. — А ты как будто повеселел.

— Да, немного отвлекся, — он помолчал, а потом продолжил: — Ты прости, но можно я выговорюсь?

— Выговорись, если так тебе будет легче.

— Я, наверное, подлец, потому что иногда мне кажется, что лучше бы она — ты извини, я о своей бывшей жене, — не ушла, а умерла. Я бы легче это перенес. И все же я себе это чертово пьянство не прощаю. Я знаю, что эта слабость, позорная слабость. Мужественный человек от неразделенной любви не запьет. Но, с другой стороны, можно меня простить. Пьянство — это порок многих мужчин украинской породы. Порода такая у меня. Гены. Мы же не обвиняем таксу за то, что у нее короткие ноги?

Помолчали.

— А я ведь часть вашего разговора обо мне краем уха слышала. Насчет того, что я не от мира сего. Так вот, я тоже от мира сего. И стихи мои трудно назвать стихами. Так, стишки.

— У тебя одухотворенное лицо.

— Это еще ничего не значит. Внешность может быть обманчивой. Я такая же язва, какой и ты бываешь в своих афоризмах. Вот, послушай:

Вы знаете, как приходит гонорея?
Это было в Одессе.
«Приду в десять», сказала Мария
И пришла в десять.

Хотя, конечно, это не оригинальные стихи, это реминисценция.

— Что такое реминисценция? Я вроде и много читаю, но это слово забыл.

— По-латыни: «воспоминание». Заимствование образов или ритмико-синтаксических ходов из другого произведения.

— А что такое «ритмико-синтаксический»?

— Ну, если синтаксис — это по-гречески «построение или порядок», то ритмико-синтаксический — это значит «ритмически построенный». Хотя мне и не следовало тебе это сообщать.

— Почему?

— Потому что парню, когда он знакомится с девушкой, нужно точно знать, есть ли у нее половые органы. А из моей ученой речи это не совсем ясно. Я тебя не ошарашила?

— Разве что чуть-чуть. У моей бывшей жены тоже такой же вольный ум. Также не стесняется шутить по поводу секса.

— А кто она?

— Она журналист, пишет о ночной жизни города.

— А как ее имя?

— Анастасия Шевченко.

— Читала я кое-что. Ничего, по-моему, пишет. И красивая она, я фото в журнале видела.

— Да. Но ее красота и твоя красота — разные. У нее красота яркая, я бы даже сказал несколько вульгарная, а у тебя — иконописная, хотя, конечно, женщина ты тоже земная. Хотя, может быть, и ты была бы ярка, если бы пользовалась косметикой. А впрочем, у тебя и без туши ресницы как подведенные.

— Это хорошо или плохо, что я земная? Ты сказал, что я земная женщина.

— Это практично. Я же не сказал «приземленная».

— Прости, но что плохого даже в приземленной женщине? Что плохого, если женщина обхаживает, обстирывает, обглаживает своих детей и своего мужа, ничего не требуя взамен? Разве это плохо? Разве она менее важна? Разве она в своем роде не герой?

В мире нет ничего неважного. Всё и вся в ней расположено по горизонтали, а не по иерархической вертикали. Приземленная женщина ничем не ниже ни великого поэта, ни великого ученого. Может быть, что без этой приземленной женщины не состоялся бы ни этот великий поэт, ни этот великий ученый. Разве я не права?

— Не совсем, по-моему, — сказал Иван. — Есть все-таки в мире и важное, и не важное. Мы с брезгливостью относимся ко многим насекомым, но природе, чтобы перерабатывать отходы в почву, за счет которой мы живем, нужны именно насекомые, а вовсе не мы. Без нас природа не только обошлась бы, а даже, если бы мы вдруг исчезли, вздохнула с облегчением. Как это ни прискорбно, но важны низшие формы жизни: бактерии, насекомые, менее важны лягушки, еще менее важны высшие, коровы или тигры, например, но человек совсем не важен.

— Пожалуй, так говорить не стоит... — сказала Герда.

— Почему? Ведь это истина.

— Это одна из истин. И не самая лучшая. Не вдохновляет. И потому, я говорю не о природе, а о людях. О том, что для благородного человека все люди расположены по горизонтали. Это я вычитала у Гете. Да и у других мыслителей тоже что-то подобное было. И я с ними почти согласна, за исключением одного.

— Чего?

— За исключением того, что бывают исключения, сверхчеловеки. Хотя подавляющее большинство людей, конечно, располагается по горизонтали.

— Люди лишь по сути располагаются по горизонтали, а в самосознании — нет, потому что насквозь тщеславны, — сказал Иван. — Казалось бы, это плохо, но именно тщеславие движет прогрессом. Тщеславие и любопытство.

— Нет. Честолюбие и любознательность. Хотя, конечно, не только они.

— Извини, Герда, но честолюбие и любознательность — это просто более красивые названия тщеславия и любопытства. На деле же это то же самое.

— Не то же самое. Честолюбие имеет целью реализовать себя и доказать себе и другим, себе в первую очередь, что ты чего-то стоишь. Тщеславие же имеет цель только подать себя в выгодном свете. Честолюбие совершенствует человека, а тщеславие совершенствует умение себя подать. А по поводу любопытства и любознательности, то в любопытстве может быть что-то вульгарное, в любознательности же вульгарного нет.

— А ты молодец! — сказал Иван. — Умеешь разложить все по полочкам.

— Просто я много размышляю.

— Философ в юбке.

— Ты меня не оскорбил.

— Я знал, что не оскорбляю тебя. Ты, по-моему, из тех редких женщин, которые любят, когда их хвалят не за красоту, а за ум. Хотя и красотой ты не обойдена.

— Возможно, только я не философ. Философия, что подтверждается ее тысячелетней историей, — пустая болтовня, и любой философ, когда он пытается загнать жизнь в какие-то свои надуманные схемы, пустое место по сравнению с обычным учителем физики, математики, химии или литературы. Ни разуму, ни положительного знания, ни Шопенгауэр, ни Ницше, ни Ленин, ни кто-то еще не добавляет. Болтовня все это.

— Но у философов есть мудрые мысли, — возразил Иван.

— Не спорю. Но шопенгауэровский «человек-щепка», которого злая бездушная субстанция невеста куда несет — это далеко не всегда правда. Каждый человек, если он не дурак, чаще всего имеет все-таки возможность в свободном обществе построить себя и свою судьбу. Мне ближе Сартр. По Сартру, поскольку, быть свободным — это быть самим собой, то «человек обречен быть свободным». И все же, если уж я и философ, то позитивист. Я считаю, что подлинное знание может быть получено только как результат отдельных наук или в результате их синтеза и в результате эксперимента, а уж никак не в результате заумного мудрствования. Сказки это все. И каждый из этих сказочников сочиняет сказку на свой лад, попутно объявляя других таких же сказочников дураками. «У вас неправильные пчелы, — говорит он, — и дают они неправильный мед. А вот мои пчелы дают мед правильный». А потом оказывается, что и его пчелы тоже дают неправильный мед. И так до бесконечности. Но вот в учении Ницше есть здоровое зерно. И это его зерно — сверхчеловек.

— Сверхчеловека не существует.

— Существует. Существуют люди, ставящие перед собой такие благородные цели, что они оправдывают любые средства.

Герда остановилась и, чуть задрав голову вверх, сказала:

— Мы пришли. Вот мои окна на пятом этаже. Те, что светятся.

— Хорошие окна, — сказал Иван. — Окна хороши, только когда они светятся, когда ты возвращаешься домой.

— Ты боишься одиночества? — спросила Герда.

— Да. Я не мудрец. Поэтому боюсь.

Они прошли еще несколько шагов.

— А теперь в эту арку. Опять лампочку разбили, вандалы.

Тут от стены отделились две темные мужские фигуры.

— Огонек есть? — спросил один из парней и подошел к Ивану вплотную. Другой же, когда Иван полез в карман, зашел к нему за спину. И только Иван вынул зажигалку из кармана, как в голове что-то ярко вспыхнуло, ноги подкосились, и он провалился в крошечную тьму.

ГЛАВА 12

— Довелось мне проповедовать великие идеи марксизма-ленинизма на базарчике одного провинциального городка, — начал рассказывать Давид Давидович. — Прочитал я проповедь, а потом, сам не знаю, как это получилось, схватил курицу с прилавка, таким голодным был. Мне говорят: «Положь курицу на место!», а я смотрю на курицу, она хоть и сырая и синяя, но для меня даже сырая и синяя такая аппетитная, что я, хоть и понимаю, что нехорошо поступаю, что Ленин бы так не поступил, но курицу назад положить не могу. Вот не могу — и все тут. Словно окаменел, и словно приросла к моим окаменелым рукам эта несчастная синяя птица. Словно я сам самым поганым капиталистом стал. Смотрю — баба, рослая такая, выходит из-за прилавка и тянет к моей курице свои грабли. Тут я встrepенулcя — и деру. Бегу вдоль железнодорожного полотна — базарчик возле железной дороги был, — а баба за мной. Человек я, конечно, немолодой, бежать мне трудно, а она баба молодая еще и сильная, такая сильная, что боязно даже. Смотрю, рядом со мной притормаживает паровоз. Сначала быстро так стучал: чух, чух, чух, чух, а потом медленно: чух-чух, чух-чух. И женщина-машинист из паровоза высовывается, грязная вся, но, как и я, с пионерским галстуком на шее. Высовывается и кричит: «Брось курицу!» Смотрю, баба вот-вот меня догонит. А машинист снова: «Брось курицу, кому говорю, это не по-коммунистически!». Ну, бросил я тогда курицу, а баба не отстает, и на курицу ту несчастную уже нуль внимания, а все внимание на меня. Что-то идейное в ней проснулось, что-то пролетарское. Тут машинист открывает дверь и кричит: «Руку давай!». Ну, схватился я одной рукой за поручень, а за другую — она втянула меня в паровоз. И снова паровоз ускорился: чух, чух, чух,чух. Смотрю — баба отстала, остановилась, и только оставалось ей, как погрозить мне кулаком. А мне и бабу жалко, люблю я в людях это пролетарское, но и себя жалко тоже, курицу я так и не съел. Вы спросите, как же это можно есть сырую курицу? А я съел бы. Честное коммунистическое, съел бы, такой голодный был! Ну, отдышался я, а машинист и спрашивает: «Тебе в Хитропупинск?». «В Хитропупинск», — говорю. «В Хитропупинск не могу, я в Хитропупинск Небесный». «А это что за город такой, Хитропупинск Небесный?», — спрашиваю. «А это такой город, что вроде бы и Хитропупинск, а с другой стороны вроде и не Хитропупинск. Все на велосипедах, и не от нищеты, а как в Голландии или Дании, где люди не бахвалятся богатством. И лица у людей такие... такие... и не опишешь, какие хорошие и добрые. Это все потому, что люди у нас — сплошь творцы. Поскольку всю работу делают роботы, а люди физически не трудятся, то им ничего не остается, кроме

как заняться наукой и искусством». «Тогда и мне в Хитропупинск Небесный, — говорю я. — Я тоже хочу заняться наукой или искусством». «Тебе еще рано, — говорит машинист. — Ты должен всех оповестить, что есть такой город, и тогда я за тобой и всеми твоими единомышленниками прилечу». Вот как. А вы говорите, что только в Англии есть счастье. А теперь, уважаемая пролетарская и полупролетарская масса, задавайте свои вопросы. Я не буду увиливать даже от самых острых, как завещал великий Ленин, и как учила нас Коммунистическая Партия Советского Союза.

— Да-а-а... — протянул Озабоченный. — Наворотил, такого наворотил! И на чем же держится твой Небесный Хитропупинск?

— Точно не знаю, но, наверное, на каких-то канатах.

— А за что цепляются канаты?

— Точно не знаю, но, наверное, за небо.

— Да как же канаты могут цепляться за воздух?

— Стыдно, товарищи пролетарии. Стыдно не знать, что небо — это и твердь. Вначале воздух, а потом еще и твердь. Твердь небесная, как сказано в библии. Все ясно?

— Чушь и белиберда, — сказал Озабоченный. — И кто же построил этот город и подвесил его на тверди небесной?

— Ленин, Маркс и Энгельс, а также Сократ, Платон, Аристотель и Пифагор своим святым духом.

— Так они что, боги теперь?

— Объясняю для бестолковых. Судя по тому, что говорил Пифагор, они теперь живут в *новосфере*, оболочке, окружающей землю, в виде святых духов, которые веют, где хотят и творят разумное, доброе, вечное. Они не умерли, ибо сказано: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!». Все понятно?

— С тобой все понятно! — сказал Озабоченный.

— А как туда можно попасть, на самолете? — спросил Петя Нирыба.

— На самолете нельзя, только на паровозе. Ибо сказано: «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка», а не сказано: «Наш самолет, вперед лети, в коммуне остановка».

— Но паровозы не летают, — возразил Петя.

— Повторяю для идиотов. Есть особые пролетарские паровозы, которые летают. Иначе пели бы: «Наш паровоз, вперед езжай», а поют: «Наш паровоз, вперед лети». Все ясно?

— С тобой все ясно! — повторил Озабоченный.

— Вот видите, товарищи пролетарии и полупролетарии, я не увиливал даже от самых острых вопросов. Как видите, товарищи, бог есть, но бог — это совокупность множественных великих умов, живущих в *новосфере*.

— Толково ты все объяснил, но вопросы остались, — сказал Заратуштра.

— Задавайте, ответу на любой.

— Тогда ответь, ради интереса, почему люди летают на самолетах и ракетах, но твоего Небесного Хитропупинска никто до сих пор в глаза не видел? — поинтересовался Озабоченный.

— Потому что он в другом измерении, как буддийская Шамбала, его могут увидеть только просветленные, такие просветленные, как Будда и я.

— Будда просветленный? Скорее уж наш Озабоченный с его шкафом просветленный, а Будда — это человек, который мечтал стать огурцом, — заметил Заратуштра.

— А впрочем, в самом деле, если люди верят, что на небе есть рай, то почему бы ни поверить в Небесный Город? — сказал Озабоченный. — Что ни говори, но почти все люди — в той или иной мере — мистики, почти все люди верят в какой-нибудь космический разум, или волю, или дух, или гадалкам верят, ясновидящим, экстрасенсам, или в приметы, а поэтому многие поверят и тебе, Давид Давидыч.

— А, по-моему, — это уж слишком! — возразил Художник.

— Нет такой глупости, в которую невозможно поверить, — сказал Заратуштра.

— Врете вы все! — крикнул Давид Давидович. — Но трудовой народ поверит мне!

— И трудовой народ не поверит! — сказал Художник.

— Поверит, поверит, еще как поверит! Эх вы, паршивые интеллигенты!

— Успокойтесь, Давид Давидович, мы ведь не со зла, мы просто дискутируем, — сказал Заратуштра.

— Да, дискутируем, — подтвердил Озабоченный. — Но хочу остановиться на том, что для меня по-настоящему важно. Есть ли в Небесном Хитропупинске публичные дома? Надо чтобы в нем были публичные дома, и чтоб женщины там трудились не ради денег, а ради коммунистической идеи. Иначе все в этом городе будут счастливы и только один я несчастен.

— Тебе только тридцать лет, тебе не публичные дома нужны, а девушка, которая тебя полюбит! — сказал Давид Давидович.

— А кто меня полюбит? Рожа кривая, прыщавая. Да еще горб. Так есть там публичные дома?

— Публичных домов там нет, потому что публичные дома — это не по-коммунистически! — сказал Давид Давидович. — Но там есть любовь, потому что любовь — это по-коммунистически.

— И по-христиански, — сказал Философ.

— Но только не любовь мужчины и женщины, — сказал Заратуштра. — Любовь мужчины и женщины в христианстве всего лишь допустима. Это монашество добродетель

— Это потому, что отцы церкви, как и все мы, как и Фрейд со своим дурацким эдиповым комплексом, все примеряли на себя! — воскликнул Озабоченный. — Примерили на себя роль евнуха, им эта роль подошла, а то, что другим это ну никак не подходит, не учли. Свою рубашку, поскольку она ближе к телу, только ее и чувствуешь, не понимаешь, что другие — совсем не такие как ты!

— Но ничего, скоро я открою настоящего бога, который будет считать добродетелью и половую жизнь, — сказал Философ. —

И вот еще что: я перечитал всю библию и решил, что мой бог, в отличие от библейского, не будет лишен чувства юмора.

— Он и сейчас не лишен чувства юмора, — заметил Озабоченный. — Вот только юмор у него своеобразный. Черный, прямо скажем, юмор. Помните анекдот про крематорий в концлагере? «Дяденька, можно я с кошечкой в печечку? — Иди, изверг». Вот это «с кошечкой в печечку» и есть чертов божий юмор!

— Я вижу, как тебе, Озабоченный, это не по нутру. Ты аж темнеешь весь. Но ведь о смерти можно говорить не с горечью, а со светлой грустью, — сказал Заратуштра.

— Давит меня это, даже подавляет.

— Не тебя одного, — сказал Заратуштра. — Но если внушить себе, что жизнь не так уж и хороша, не так страшна будет смерть. Вы как хотите, а мне даже как-то по-своему хорошо, когда я пою:

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликаю
Всех вас, кого оставил на земле.

Не давит же? Может и печально, но не давит же?

— Рыдать хочется! — сказал Озабоченный.

— Ну так порыдай.

— Уже не хочется.

— Давай еще что-нибудь в том же духе, чтобы ты окончательно уразумел, что такое светлая грусть. Например:

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали.
Настанет миг, когда и я исчезну
С поверхности земли.

— Ты издеваешься надо мной?! — закричал Озабоченный. — Люди! Заратуштра надо мной издевается!

— Ну что ты, я же интеллигентный человек! Ну, если это вас всех так донимает, тогда я молчу.

— Вот мы тут размышляем, а Леня опять молчит, — заметил Давид Давидович. — Скажи что-нибудь, Леня.

— А что я могу сказать? Я барабанщик, я ноты не знаю.

— Это очень мудро, что господь, создавая человека, разместил в голове глаза, рот, а на голове нос и уши. Иначе у многих головы просто отваливались бы за ненужностью, — заметил Озабоченный.

— Да, Леня. Ты хоть, как и я, еврей, но голова у тебя не еврейская, — печально сказал Давид Давидович.

— Между прочим, и у Мандельштама, и у Пастернака, и у Бродского, и у Эйнштейна были вовсе не еврейские головы, — зло заговорил Озабоченный, — потому что «еврейская голова» — это изворотливость. Поэтому еврей Христос на деле не был евреем, а вот еврей Березовский и иже с ним — были.

— По-видимому, тебе доставляет удовольствие оскорблять выдающихся личностей! — гневно выкрикнул Давид Давидович.

— Мне доставляет удовольствие не сотворять себе кумира, — сказал Озабоченный. — Все кумиры — люди, и не обязательно самые лучшие люди. И гений тоже может быть подлецом. Кстати, по-моему, гениальность — это не заслуга. Я, например, родился уродом. Не повезло. Другой родился красавцем. Повезло. Лотерея это, поэтому несправедливо говорить, что Теорию относительности создал Эйнштейн. Надо говорить от самых азов: то, что вышло из проникновения безмозглого сперматозоида в безмозглую яйцеклетку, создало Теорию относительности.

— А труд, как же труд? Ведь все не без труда? — спросил Философ.

— И любовь к труду тоже была заложена в сперматозоид и яйцеклетку. Вот так-то. И боюсь, что моим доводам, по большому счету, вам, уважаемый Давид Давидыч, так же трудно возразить, как и Теории относительности вашего хваленного еврея.

— Да ты еще и антисемит! — вскричал Давид Давидович.

— Я не антисемит. Я люблю евреев. Но я бы любил вас больше, если бы вас было меньше.

— Сволочь ты! — закричал Давид Давидович. — Гитлер!

— Успокойтесь, Давид Давидович, — заговорил Заратуштра. — Озабоченный так сказал ради красного словца. Только ради красного словца. Он, как и я, любит красное словцо и ничего с этим не может поделать. На деле же он не антисемит. Он, я полагаю, своего рода космополит. Он одинаково ненавидит всех. И себя в том числе.

— Потому что человечество — это ядовитая плесень, расползающаяся по планете, и думающая при этом, что все как-нибудь устроится. То есть думающая, что она думает. Ты согласен, Заратуштра? — спросил Озабоченный.

— Согласен, — сказал Заратуштра. — Глобально мыслить — это не способность человечества, это способность муравейника.

— Верно, — сказал Озабоченный.

— А теперь извинись перед Давидом Давидычем, — сказал Заратуштра. — Он — хороший человек.

— Потому что коммунист, — сказал Давид Давидович.

— Да. Распалился я... — сказал Озабоченный. — Вы меня простите, Давид Давидыч, за то, что я вас и вашу расу обидел. Да, я злой. Но злой больше на словах. Не такой уж я в глубине души мизантроп. Ведь, если по большому счету, то вы, Давид Давидыч, и ваш пролетарский паровоз, и ваш Хитропупинск Небесный мне нравятся. Да и Эйнштейн, судя по воспоминаниям современников, был хорошим человеком, а это в ядовитой плесени главное.

— Ты правду говоришь? — недоверчиво спросил Давид Давидович.

— А за что мне тебя не любить, а, Давид Давидыч? За то, что ты, по-своему, желаешь людям счастья? Ведь ты хочешь Града Небесного не только для себя. А что курицу украл — так это понятно.

— Он еще и крышку от канализационного люка стащил, — заметил Художник.

— И это тоже правильно, — сказал Заратуштра. — Днем, чтобы не упасть в люк, на то глаза есть, а ночью порядочные люди по улицам не шляются.

— Вы правду говорите? — все еще сомневался Давид Давидович.

— Как на духу, — сказал Заратуштра. — А с целью окончательного примирения давайте споем коммунистическую песню.

— Тогда давайте «Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной, в горе, надежде и в радости».

— Нет, про Ленина не хотим. Давай про лодочку, — сказал Заратуштра.

— «Милый друг»?

— «Милый друг».

— «Милый друг, наконец-то мы вместе», — начал Давид Давидович, и скоро вся палата подхватила, а Леня-Барабанщик даже приподнялся в постели и принялся выстукивать на коленях ритм.

Ты плыви, наша лодка, плыви.
Сердцу хочется радостной песни
И хорошей, большой любви.

С той поры, как мы увиделись с тобой,
Образ нежный в своем сердце я ношу,
По-иному я живу и я дышу
С той поры, как мы увиделись с тобой.

Милый друг, наконец-то мы вместе,
Ты плыви, наша лодка, плыви.
Сердцу хочется радостной песни
И хорошей большой любви.

Не могу я наглядеться на тебя,
Как мы жили друг без друга, не пойму.
Не пойму я, отчего и почему
Не могу я наглядеться на тебя.

Милый друг...

Похоже, что после песни все пребывали в благостном состоянии духа. Даже немногословный Леня-барабанщик вдруг сказал нечто новое:

— А хорошо-то как, друзья, играть на барабане!

— Хорошая песня, коммунистическая! — сказал Давид Давидович.

— Да, добрая песня, — заметил Философ.

— Потому что коммунистическая! — с укоризной сказал Давид Давидович. — Эх! Скорее бы уже в Небесный Хитропупинск!

— А какие там люди, в Небесном Хитропупинске, качественные или количественные? — спросил Гороховый Суп.

— Там качественные люди, высокоморальные, — ответил Давид Давидович.

— Тогда и я хочу в Небесный Хитропупинск, — сказал Гороховый Суп.

— А барабанщики там нужны? — спросил Леня-барабанщик.

— А как же! Ведь там каждый день парады! — воскликнул Давид Давидович.

— Тогда и я хочу в Небесный Хитропупинск!

ГЛАВА 13

Очнулся Иван в помещении с прозрачными стеклянными стенами, за которыми был виден цветущий вишневый сад. Иван сидел в одном из белых кресел напротив многочисленных стеллажей, заполненных какими-то тюками и коробками. Над ними от

стены до стены, не держась ни на чем, а прямо в воздухе, огнем горели буквы: «Добро пожаловать в рай!». Перед стеллажами за табличкой «Ангелина» у компьютера сидела женщина в белом платье. Из-под стола были видны ее ноги в прозрачных светлых чулках и белых босоножках. Ничего себе Ангелина и ничего себе ножки, но в одном из чулок была дырка, из которой торчал большой палец с облупленным малиновым педикюром. Ангелина отвела глаза от компьютера, посмотрела в зал и спросила:

— Кто из вас Петров Николай Иванович?

— Я! — отозвался молодой мужчина.

— Город Набережные Челны, улица Киевская, дом пять, квартира четыре? — осведомилась она.

— Все верно, — сказал Петров.

— Подойдите, пожалуйста, к стеллажам, — попросила она, вставая из-за стола. — Устала повторять, но приходится. Новый дом только строится, поэтому пока поживете в палатке. Ничего, у нас тепло и никогда не бывает жарко. У нас круглый год весна. Вот, берите этот тюк и кладите на тележку. А еще вам положено вот это, — она указала на мешок, — вот это, — она указала на другой мешок, — и это, — она указала на третий мешок. А вот и ваша арфа.

— А зачем мне арфа, я и играть-то на ней не умею? — недоумевал Петров.

— Придется научиться.

— Но я не хочу учиться! — упрямылся Петров.

— А как вы хотите славить бога? — спросила Ангелина.

— А кто распорядился славить бога, бог?

— Точно не знаю, но такова традиция, — сказала Ангелина.

— Вот и я сомневаюсь, что он так распорядился, поэтому оставьте эту арфу тому, кому она действительно нужна.

— Уважаемая Ангелина! — вступил в разговор небольшого роста, молодой, но уже почти лысый мужчина. — А арфа у вас, случайно, не золотая?

— Позолоченная.

— Тогда я заберу. И эту, и ту, что мне полагается, тоже. Я буду славить бога за двоих.

— Вот и прекрасно. С арфами разобрались. Теперь с Прекрасной Незнакомкой. Вам нужна Прекрасная Незнакомка или потом сами себе найдете?

— Не нужна. Я вдовец. Меня жена, наверное, ждет.

— Не хочу вас огорчать, но ваша жена нашла себе Прекрасного Принца. Бывает. Так вы берете Прекрасную Незнакомку?

— Я заберу! — снова вмешался лысый. — И эту, и ту, что мне полагается!

— Да погодите вы! — воскликнула Ангелина. — Думайте, Петров.

— А согласия девушки не требуется? — спросил Петров.

— Выходит только та Прекрасная Незнакомка, которая не против с вами познакомиться.

— Но я так стар... — грустно проговорил Петров.

— Здесь все молоды, вы не видели себя в зеркале, — сказала девушка модельной наружности, выходя из-за стеллажей. — Это называется «преображение».

— Тогда действительно, слава всевышнему! Готов славить его даже игрой на арфе! — обрадовался Петров.

— Значит, берете арфу?

— Беру.

— Поздно, поздно! — закричал лысый.

— Пока что здесь всем распоряжаюсь я! — строго сказала Ангелина. — Значит, все-таки, забираете?

— Забираю. Пожалуй, славить бога богу, может быть, и не нужно, но, пожалуй, это нужно мне.

— Тогда ступайте с богом, молодые.

Молодые с тележкой скрылись в проеме, за которым начинался вишневый сад, а Ангелина снова углубилась в экран компьютера, положила ногу на ногу и стала помахивать ногой с торчащим из дырки большим пальцем с ногтем в облупленном малиновом педикюре. Иван долго смотрел то на сосредоточенную Ангелину, то на ногу, и, наконец, спросил:

— И не дует вам?

— Что? — спросила Ангелина.

— Сквозняк не ощущаете?

— По-моему, здесь нет никакого сквозняка.

— Я знаю, что этот мерзавец имеет в виду! — возмутился лысый. — У вас дырка в чулке. Ох, и мерзавец, ох и мерзавец!

— Я всего лишь попытался быть искренним! — оправдывался Иван.

— Принимают в рай всяческих мерзавцев! Была б моя воля, я бы его и на порог не пустил! — продолжал возмущаться лысый. — Таких, как он, надо прямо в ад!

— Извините, не хочу огорчать вас, но ада нет, ад выдумали садисты, — сказала Ангелина.

— Простите, я не хотел вас обидеть, — снова извинился Иван.

— Ничего, ничего. Кто-то же должен был мне это сказать, иначе всю смену так и проработала бы посмешищем, — говорила Ангелина, снимая чулки.

— Вы не были посмешищем. Забавной — да, но не посмешищем, — сказал Иван.

— Куда же их деть? — держа чулки в руке, Ангелина смотрела по сторонам. — У нас и урны здесь не предусмотрены.

— Я заберу! — закричал лысый. — Прекрасной Незнакомке подарю! Ничего, заштопает!

— Да забирайте! — махнула рукой Ангелина, положила чулки на стол и посмотрела на экран.

— Кто из вас Шевченко Иван Исаакович? — спросила она.

— Я, — отозвался Иван.

— Город Хитропупинск, улица Самой Светлой Надежды, дом 1, квартира 64?

— Все так, — сказал Иван.

— Какое замечательное название! Улица Самой Светлой Надежды! — сказала Ангелина, бегая пальцами по клавиатуре. — Только вы отчего-то мрачны. Развеселитесь. Человек с такой улицы должен быть весел. Только вот вас в райской книге нет. Может быть, позже внесут? Погодите, а пока займемся следующим. Кто из вас Сидоров Анатолий Сергеевич?

— Я, — сказал лысый.

— Голопопинск, улица Гробовщиков, дом 17, квартира 1.

— Да, улица Гробовщиков. Но я, как видите, весел. Не то что некоторые!

— Подойдите сюда, — встав из-за стола, сказала Ангелина. — Берите эту коробку, вот эти два тюка и арфу.

— А что это у вас за унитаз? — укладывая вещи, спросил Сидоров, косясь на стоящий у стеллажей унитаз. — Он, случайно, не золотой?

— Золотой, — подтвердила Ангелина.

— А можно, я его заберу?

— Зачем? В доме, который сейчас строится, уже стоят прекрасные финские голубые унитазы. Зачем вам еще один унитаз?

— Хотите верьте — хотите нет, но золотые унитазы с детства будят во мне нечто разумное, доброе, вечное. Вот ему, — Сидоров ткнул в Ивана пальцем, — этого не понять.

— Откровенно говоря, я и сама вас не понимаю. Но берите, коль разумное, доброе, вечное.

— Вот и чудесенько! — обрадовано потирал руки Сидоров. — А теперь давайте сюда Прекрасную Незнакомку. Где она там запропастилась?

— Эй, Прекрасная Незнакомка! — крикнула Ангелина в глубину стеллажей.

Слышно было, как где-то за стеллажами шептались. Слышалось: «Дура!» Потом: «Сами вы дуры, я буду за ним, как за каменной стеной!» — и Прекрасная Незнакомка, девушка все такой же модельной внешности, подошла к Сидорову и взяла его под руку.

— Помогите мне взвалить на тележку унитаз, — сказал Сидоров.

— С удовольствием. Ой, да он тяжелый!

— Давай я буду держать тележку, а ты взваливай.

— А может, наоборот?

— Делай, что тебе велят!

— Но мне тяжело!

— Ладно, держи эту чертову тележку! — сказал Сидоров, взвалил на тележку унитаз, и они покатали тележку к выходу.

Ангелина снова углубилась в экран компьютера, потом подняла глаза на Ивана.

— Таки нет вас в райской книге. Значит, вы временный.

— Это как?

— Походите по раю, посмотрите, что тут и как, и вернетесь на Землю. Если, конечно, захотите.

— Значит, Прекрасная Незнакомка мне не полагается? — спросил Иван.

— Найдете себе. Их полно на Аллее Надежд.

— Они симпатичные? — спросил Иван.

— Несимпатичных у нас нет. Даже Сидоров, как он мне не симпатичен, внешне симпатичный. Это называется «преображение».

— Значит, внутреннего преобразования не требуется?

— Не требуется. Приходится мириться с такими, как Сидоров, потому что, как говорит господь, без них рай был бы до безобразия однообразен. Скучен был бы рай.

Неожиданно в проеме оказался Сидоров. Он молча подошел к столу, молча забрал с него чулки, сунул их в карман и удалился.

— Ну? Разве не смешно? — спросила Ангелина.

— Пожалуй, — согласился Иван. — Только отпускаяте меня уже побыстрее. У меня уши пухнут, так курить хочется!

— Увы, у нас не курят. Вот, возьмите эту коробку антискотинных конфет. Каждый раз вместо того, чтобы закурить, съешьте лучше антискотинную конфету. А теперь ступайте.

Иван вышел из помещения, пошел по тропинке и скоро перегнал Сидорова. Скоро потому, что перегруженную тележку катить было не так-то просто, и Сидоров с Прекрасной Незнакомкой упирались и кряхтели.

— Помочь? — спросил Иван.

— Без сопливых обойдемся, — сказал Сидоров.

— Я как лучше хотел, — пожал плечами Иван и с чувством исполненного долга пошел дальше.

— Без сопливых! — закричал ему вдогонку Сидоров.

Тропинка закончилась довольно широкой аллеей, по которой прохаживались или сидели на скамейках, или толкали тележки немало людей. Иван обратил внимание на разнообразие всяческих рас, а также одеяний: от древнегреческих туник до джинсов, и даже был один в одежде то ли гота, то ли эмо. Иван их не различал. Сильно хотелось курить, и Иван, предварительно смяв лепестки вишни, скатывающиеся под ладонью в розовые трубочки, сел на пустующую скамейку, чтобы съесть конфету. В раю была весна. Цвели вишни,

радостно щебетали птички, жужжали пчелы, над по-весеннему свежей зеленью травы с желтыми и кое-где уже опарашившимися одуванчиками порхали бабочки. Но вот беда: как только Иван сел, подошла какая-то, по все вероятности, бездомная собака, наделала кучу, с сознанием исполненного долга удалилась, а кучу тут же оккупировали мухи. Крупные, с отливающими блестящим металлом спинками. Глядя с отвращением на этих чертовых мух, Иван не сразу увидел Прекрасную Незнакомку. Он заметил ее, когда та подошла довольно близко, но, увидев мух, резко изменила курс и села на скамейку напротив под столбом с громкоговорителем. На ней было цветастое старомодное платье, далеко выше бледных коленей, в руке она держала допотопную черную сумочку, но, не отнимешь, была ничего себе. Каштановые пышные волосы, кругленькое беленькое личико, пухлые губки и маленький чуть вздернутый носик, который ее, такую молоденькую, тоже только красил.

Тут из громкоговорителя полилась песня.

Эти глаза напротив,
Чайного цвета,
Эти глаза напротив,
Что это, что это?
Пусть я впадаю, пусть,
В сентиментальность и грусть,
Воли моей супротив,
Эти глаза напротив.
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас,
Только не подведи,
Только не подведи,
Только не отведи глаз.

Песня, как подумалось Ивану, была наводящей. Но это цветастое платье, эта допотопная сумочка... Разве может Прекрасная Незнакомка одеваться так безвкусно? Но, может быть, она из семидесятых годов двадцатого века? Тогда такое носили. И он решил подойти.

— Извините, но позвольте вас спросить: вы одиноки?

— Я не замужем, — ответила она.

— Тогда, может быть, это вы моя Прекрасная Незнакомка?

— Если вы не женаты, тогда, может быть, это вы мой Прекрасный Принц, а я так опрометчиво села на другую скамейку.

— Вас можно понять, люди любят эстетику, а мухи — это не эстетично.

— Мне нагадали, что мой Прекрасный Принц будет писателем. Вы писатель?

— Писатель.

— Может быть, вы и есть мой Прекрасный Принц?

— Не исключаю, — сказал Иван.

Вдруг с неба мелко закапало, и Иван поднял голову вверх. Солнце по-прежнему светило, это был слепой дождь.

— Слепой дождь, — сказал Иван.

— И ласковый. Помните, как у Веры Матвеевой? — и она вдохновенно продекламировала:

Будет ласковый дождь,
и ветер поможет взлететь,
и сбудется все, чего ждешь,
и легкой будет печаль,
потому что над миром
будет ласковый дождь.

— Может быть, я и тупой, — сказал Иван, — но, откровенно говоря, я не знаю никакой Веры Матвеевой, хотя стихи хорошие.

Неподалеку остановился симпатяга Сидоров со своей тележкой. Пот градом катился и по его лицу и по прекрасному личику его незнакомки. Увидев Сидорова, Прекрасная Незнакомка Ивана встрепенулась и напряженно подалась вперед.

— У вас, случайно, унитаз не золотой? — спросила она.

— Фуфла не держим! — сказал Сидоров.

— А вам помощь не требуется?

— А ну-ка встань! — приказал Сидоров.

Она встала.

— А теперь повернись кругом.

Она повернулась.

— Требуется, — сказал Сидоров. — Иди сюда. Как тебя зовут?

— Таня.

— Толкай тележку, Танька! — приказал Сидоров и, обращаясь к Ивану, добавил: — Бог правду видит!

И они потолкали тележку дальше.

— В ногу стараемся, в ногу! — командовал Сидоров. — Раз, два — левой! Раз, два — левой!

Они уже ушли довольно далеко, когда Иван, грустно глядя им вслед, пробормотал:

— Бог правду видит.... Вот только неужели такая она, его правда?

Кто-то сзади положил руку Ивану на плечо, и тот обернулся. Из-за скамейки вышел молодой бородатый брюнет, одетый до щиколоток в белое одеяние и в сандалиях на загорелых ногах.

— А правда в том, — сказал он, присаживаясь рядом на скамейку, — что дух животворит, а плоть не пользуется нимало. А вы? Вместо того чтобы о душе подумать, вы думаете о Прекрасных Незнакомках.

— Все думают о Прекрасных Незнакомках.

— Вы — не все. Вы — будущий пророк. Меня папа послал вас встретить.

— Ваш папа? — спросил Иван.

— Скорее, наш папа. Вы прибыли так неожиданно, что он не может выкроить для вас ни минутки времени. У мухи на колесиках колесики все время отпадают, так он все время их прилаживает.

— Какие колесики? Какая муха?

— Да вам это не надо. Вам это будет неинтересно.

— А я-то думал, что папе, если мы, конечно, имеем в виду одно и то же лицо, после того как он всего натворил, совершенно нечего делать.

— Он в творении, всегда в творении. Разнообразном. Сегодня приделывает колесики к мухе, а завтра будет зажигать звезды.

— Вы, случайно, не Иисус? — спросил Иван.

— Да, я Иисус. И вы мой. Вас крестили.

— Я свой, — возразил Иван. — И то, что меня в детстве бабушка окрестила, еще ничего не значит. Дух, конечно, творит разумное, доброе, вечное. Но без плоти жить скучно. Пожалуйста, позовите сюда Магомеда, вы мне без надобности.

— Ваш сарказм неуместен. Именно мне папа поручил вас встретить и сказать, что именно вас святой дух решил наделить полномочиями.

— Какими полномочиями?

— Разными. Скоро вы, если это будет угодно святому духу, сможете ходить по воде яко посуху и превращать воду в вино.

— Хорошее вино? — спросил Иван.

— Первоклассное.

— Тогда я, пожалуй, сопьюсь, — сказал Иван.

— Почему непременно, если есть вино, его обязательно нужно пить? Получается, что если есть красивая девушка, то с ней обязательно нужно спать? Это вредно. Потому-то и бывал иногда царь Соломон глупцом, что был пресыщенным жизнью пессимистом.

— А чем же глуп царь Соломон? — спросил Иван.

— Сказать, что детей надо бить, это не мудрость. Битье учит их изворачиваться и лгать. И сколько детских душ было покалечено из-за того, что люди безоговорочно верили в библию, верили этой лжемудрости мудреца Соломона. А сказать, что знания умножают скорбь, все равно, что сказать: невежество приносит счастье.

— Следовало бы сказать: бывает, что знания приносят скорбь, и бывает, что невежество приносит счастье, — сказал Иван. — Все в жизни бывает. Вот что было бы неглупо.

— В вас пробивается настоящая мудрость. Но только пробивается. А впрочем, и я, будучи на Земле, не был мудрецом. Мудрец ответственен перед людьми, я же был безответственен. Сказать: пусть мертвые хоронят своих мертвецов, или: не заботьтесь о бу-

дущем, за вас позаботится отец ваш небесный — безответственно. Если вы не заботитесь о вашем будущем, то у вас его и не будет. Вот так сказать — ответственно. Надеюсь, вы не повторите моих ошибок.

— Не повторю, потому что не буду ни превращать воду в вино, ни ходить по воде. Не имею желания. Найдите другого кандидата.

А я закроюсь в своей раковине и посмотрю, что у него из этого выйдет. А сейчас я хочу на землю.

ГЛАВА 14

Вырвавшись из объятий небесного бытия, Иван обнаружил, что лежит на диване в незнакомой комнате. Поблизости стояла Герда и говорила по телефону:

— Извините, я во второй раз звоню. Вы сказали, что скорая не придет, потому что у Ивана Исааковича Шевченко нет страховки. А как насчет наличных? Наличными можно заплатить?

— Вызов будет стоить триста евро, а дальнейшее лечение в зависимости от тяжести травмы.

— Не надо за наличные, — простонал Иван, поднялся, взялся руками за голову, но, ощутив что-то влажное и липкое, отнял руки. На пальцах была кровь. Он достал из кармана носовой платок, вытер кровь и, посмотрев на лежащие на столе куртку, пачку денег, паспорт и револьвер, сказал:

— Со мной все в порядке. Положи трубку, Герда.

— Извините, уже не надо, — сказала Герда и положила трубку.

В комнате, кроме Герды, находились высокий, начинающий сидеть мужчина, в котором Иван узнал Дмитрия Ивановича Штерна, и седенькая старушка, чья морщинистая рука лежала на плече одетого в ночную рубашку темноволосого мальчика лет семи.

— Все, Изяслав, — сказала старушка. — Все самое страшное кончилось. Пойдем спать, а то утром тебя не добудешь.

— А дядя уже не умрет? — спросил Изяслав.

— С дядей уже все будет в порядке. Пошли.

Они вышли из комнаты.

— Напугал ты нас! — сказала Герда.

— Да, пришлось поволноваться! — сказал Дмитрий Иванович и добавил: — Простите, что посетили с визитом ваши карманы, но нам нужно было найти какое-нибудь удостоверение личности.

— На нас напали? — спросил Иван.

— На тебя, тебя ударили кастетом, — ответила Герда. — Меня они для себя угрозой не посчитали.

— И вы вдвоем меня сюда занесли? — спросил Иван. — Как вам это удалось? Во мне девяносто килограмм.

— Папа у нас сильный! — не без гордости сказала Герда. — Я только за ноги тебя держала.

— Не прибедняйся, Герда. Ты тоже сильная, — сказал Дмитрий Иванович и, посмотрев на Ивана несколько настороженно, спросил: — А зачем вам револьвер? Неужели вы не понимаете, как это опасно для простака иметь при себе оружие? Это же статья!

— Так получилось, — ответил Иван. — Это долго рассказывать.

— Не надо вопросов, папа! — сказала Герда. — Не до того сейчас. А ну-ка я еще раз на рану, как следует, посмотрю.

Она подошла и склонилась над головой Ивана.

— Большая рана? — спросил Иван.

— Да нет, рана небольшая, зашивать не нужно, наверное, но опухоль приличная. Сейчас я обработаю.

Герда вышла из комнаты и скоро вернулась с пузырьком и бинтом.

— Чуть наклони голову, вот так. Я перекисью водорода залью и перевяжу.

— Ладно, — сказал Дмитрий Иванович. — Пойду я. Вам без меня комфортнее будет.

Дмитрий Иванович вышел, а Герда принялась перевязывать голову.

— Пока я был без сознания, мне удивительно правдоподобное видение было, — сказал Иван.

— Что за видение?

— Будто я в раю.

— И как там, в раю?

— Тоже не без неприятностей.

— Неудивительно, ведь там люди, а где люди, там и неприятности.

— Я видел Иисуса Христа. Так же ясно, как я сейчас вижу тебя.

— Не зацикливайся. Рая нет.

— Я знаю, что нет. Но все это было так явственно...

— Выбрось из головы. Или ты верующий?

— В том-то дело, что я атеист до мозга костей. Но все это было настолько реально...

— Не зацикливайся. Бога нет.

Перевязав голову, Герда сказала:

— Вот и все. Не так страшно все, как казалось.

— Ну, я пойду? — Иван поднялся.

— Никуда ты не пойдешь! — возразила Герда. — После сотрясения мозга, а у тебя точно было сотрясение, тебе нужен покой.

— Знала бы ты, как мне не хочется вас стеснять...

— Знал бы ты, как мне не хочется, чтобы ты свалился где-нибудь по дороге. С такими вещами не шутят.

— Тогда я в туалет.

— Налево по коридору.

Когда Иван вернулся, Герда уже разложила диван и начала стелить постель.

— Я куртку заберу, повешу на вешалку, — сказала она. — Вот только куда деть револьвер?

— Я его под подушку пока положу. Сам не знаю, вроде не хочешь ни в кого стрелять, но он мне нравится.

— Это понятно, ты мужчина. Мужчинам нравятся опасные игрушки. Ну, спокойной ночи. Нет, постой. Голова болит?

— Раскалывается, честно говоря.

Герда и вышла из комнаты на кухню. Отец был там. Герда открыла дверцу шкафчика и стала искать лекарство.

— Откуда у него столько наличных и револьвер впридачу? — спросил Дмитрий Иванович. — Он не опасный человек?

— Поверь, Люда меня с опасным не познакомила бы. Я ему доверяю. Я, пусть заочно, но уже довольно давно знаю его с положительной стороны. Он писатель. Значит, думающий человек, — роясь в шкафчике, говорила Герда.

— Думающим может быть и подлец. Да и писатель может быть подлецом.

— Он не подлец. Судя по большинству его афоризмов — он нравственный человек. Ах, вот они! — она нашла пузырек.

— А что он написал? — поинтересовался Дмитрий Иванович.

— Небольшую книжку афоризмов и юмористических рассказов.

— Значит, начинающий?

— Начинающий.

— И хорошо пишет?

— Хорошо, поверь.

— А ты можешь сейчас сказать хоть один его афоризм?

— Попробую вспомнить. Вот, вспомнила: «Если кто-то вам скажет, что Толстой дурак, потому что фэнтези интересней, согласитесь. Фэнтези действительно интересней, но дурак не Толстой».

— Что ж... Остроумно, но и только. Это еще не талант.

Продолжение в сл. номере

Илья ИОСЛОВИЧ

/ Нешер /



* * *

Здесь внезапные всплески,
а потом только рябь,
это как Брунеллески
и откуда ни взять...
Не ходить возле края,
не испытывать шок,
я уже понимаю
тот невнятный стишок...

* * *

На гальке без белья,
Когда сияют звезды,
Здесь только ты и я,
Хотя и очень поздно,
Какие рубежи,
Моральные препоны,
А кто живет во лжи,
тем дарят анемоны.

* * *

Я не хотел быть на обочине,
Как не хотел быть Пастернак,
Хотел бы жить в даровой вотчине,
Но все не так.

Язык не слушается лозунгов,
А просто мелет дребедень,
И вот в Ахматову и Зощенку
Уже плюют который день.

Я не хотел быть на обочине,
А Бродский не хотел в тюрьму,
И Галанскову не пророчили,
Что он отправится в Потьму.

Режим закручивает винтики,
И машет гаечным ключом,
Смотрите дети, это фантики,
Но будут ягодки потом...

1973

* * *

Красотка вещает, а телесуфлер
Несет эту мерзкую массу,
Красотка не знает, что стыд и позор
Не нужен рабочему классу.
Красотка не хочет плясать у шеста,
Хоть это достойное дело,
И дяди готовы платить неспроста
Раз есть подходящее тело.
А гадость легко разъедает мозги,
И вот иммигрант умирает с тоски
И все для империи клевой,
Где все повторится по-новой.

* * *

Не знаю, поздно или рано,
Но не умолк веселья глас,
Покойники поют с экрана
Для нас.

Паул Снук

/ 17 December 1933 — 19 October 1981 /

Перевод с нидерландского
и вступление Анастасии Андреевой



Паул Снук (Paul Snoek) — псевдоним, образованный от имени матери, Паулы Снук. Настоящее имя Эдмонд Андре Корали Схитекат. Родился в 1933 году в Синт-Никласе, небольшом городе, расположенном в бельгийской провинции Восточная Фландрия. Был старшим сыном успешного текстильного фабриканта. Безоблачное детство, любящие родители, чтение приключенческих романов, очарованность природой. От отца, который был не только предпринимателем, но и пейзажистом-любителем, ему с раннего возраста передалась любовь к живописи. Паул Снук писал картины всю жизнь, одно время они имели успех и принесли ему неплохой доход. Но его слава художника не сопоставима с его громкой, отчасти скандальной, славой поэта. Его называли *enfant terrible* фламандской поэзии. Одни критики им восхищались, другие считали позером. При этом его личная жизнь тоже была полна контрастов, а трагическая кончина только подлила масла в огонь созданного им, или его судьбой, образа: романтика и мистика, чуткого и вдумчивого поэта, передающего в своих стихах красоту и многосложность мира, и автора своего рода анти-стихов, издевающегося над самой поэзией и над мироустройством; человека со сложным характером, оставившим далеко не всегда приятные воспоминания у своих друзей и знакомых; любителя выпивки, дорогих костюмов и спортивных машин, коллекционера антиквариата, участника в любительских мотокроссах; удачного, потом в конец разорившегося предпринимателя. Он был отцом троих детей, был дважды женат. В конце жизни мучился от артрита и тяжелой депрессии, погиб в 48 лет в автокатастрофе. Так и не смогли установить, было ли это самоубийством или нет.

Но как бы ни складывались отношения Снука с его современниками, теперь уже очевидно, что он один из тех поэтов, которые оказали наибольшее влияние на развитие фламандской поэзии второй половины столетия.

Его творчество настолько же яркое и противоречивое, как и его жизнь. Он выработывал стилистические приемы, потом демонстративно (прежде всего для самого себя) разрушал их, потом, отчасти, к ним возвращался. От романтической, метафизической лирики он уходил в прозу и шокирующие остросоциальные стихи, и снова обращался к «чистой» — как он сам это характеризовал, поэзии.

Паула Снука относят к «пятидесятникам», движению поэтов-эксперименталистов, зародившемуся в середине прошлого века в Нидерландах и Фландрии. В его стихах отразились общие принципы экспериментальной поэзии (которая, в свою очередь, во многом унаследовала их от авангардных течений начала века), в том числе такие, как отказ от традиционного стихосложения, от устоявшейся семантики и классического деления на поэтическое и нет, — использование любых слов и образов в любом сочетании; возрождение исконного, естественного (не обусловленного социальными, культурными нормами или рамками собственного рационального опыта) восприятия мира; отношение к творчеству как к способу постижения действительности, создание такого произведения искусства, которое не столько описывает какое-то событие или связанное с ним переживание, иными словами, то, что заранее известно поэту, сколько само себя формулирует, являет в процессе создания. Такое стихотворение как бы само себя диктует, рождает звучание и образы, следуя собственному дыханию и ритму. Само «выдыхает себя в жизнь», как писал Снук. Все это роднит его с другими «эксперименталистами», но с самого начала его голос отличался от других, и в итоге он создал свое уникальное поэтическое пространство.

В предлагаемую вниманию читателей подборку вошли стихи из книг разных лет, дающие некоторое представление о том метафизическом мире, который Снук выстраивал в своей поэзии. Символика этого мира переходит из одной его книги в другую и подчас, для более глубокого понимания этих стихов, требует разъяснения. К примеру, вода и все, что связано с водой (облака, море, дождь) у Снука — это символ языка (как материала, с которым работает поэт) и символ творчества, самого созидания поэтического произведения. Король или султан — это человек в своей целостности, это созидающее и смыслообразующее бытие. Эхо — это эхо истины. Истину же следует понимать не как догму, установленную каким-либо законом или нормами поведения, но как истину Бытия самого по себе, о которой пишет Хайдеггер в одной из своих поздних работ «Учение Платона об истине». Некоторые символы амбивалентны, они, как вода, или огонь, обладают созидательной и разрушительной силой. В своей книге «Черный ящик Икара»¹, посвященной творчеству Снука, известный бельгийский писатель и поэт Франс Депютер анализирует поэзию Снука на основании учения Юнга о психических функциях и архетипах. И хотя Депютер отмечает, что неизвестно, насколько хорошо были знакомы Снуку работы Юнга и использовал ли он что-то из юнгианского учения осознанно, но точность и целостность его интерпретации символов вызывают к ней доверие. Поэтому я упомяну здесь еще несколько интересных трактовок Депютером ключевых для Снука слов-символов, которые присутствуют и в этой подборке.

Антонимические пары: день — ночь, белый — черный (светлый — темный), сыновья — дочери, — символизируют психические функции по Юнгу. Мышление и чувства — день, белый цвет, сыновья; иррациональное восприятие и интуиция — ночь, черный цвет, дочери.

¹ Frans Depeuter «De zwarte doos van Icarus: een studie over de poëzie van Paul Snoek» (Hilversum: De Koofschep, 1990).

Золото, бог, солнце — это символы Я, символы осознанной стороны жизни, символы духовной энергии. Серебро — символ подсознания, женского начала, эмоций и интуиции. Так же как и луна.

Дыхание и все, что связано с водой (морем, реками) соотносимо с творчеством. Пустота не всегда синонимична покинутости, но это также и стерильное, первозданное пространство, где происходит становление личности (индивидуация).

Свадьба — соединение мужского и женского начал. Это же и отражение в зеркале или в воде. Покой — это состояние, когда непрекращающееся движение маятника между сознательным и бессознательным приходит в абсолютное гармоническое равновесие.

Глаз, зрение, (ясно) видение — символизируют видение мира в его целостности. Поэт, по Снуку, это медиум (ясновидец), который постигает и передает другим истину, лежащую за пределами видимой обычному глазу реальности.

Эти образы/символы от книги к книге обретают все больший вес, начинают указывать друг на друга, перекликаться друг с другом. Паул Снук выстроил свою собственную реальность — свой дворец в море, говоря его языком, и приглашает читателя в гости. В этом дворце есть просторные покои, пронизанные светом, в которых можно встретить какого-нибудь античного бога, где живут голуби и облака, и есть темные подвалы, где хранятся волшебные сокровища и где стоит письменный стол, за которым сидит поэт и как средневековый алхимик переплавляет слова в поэзию.

ГЕРКУЛЕС¹

Стать как вода, что утоляет жажду,
быть телом вод, тогда земля
твои моря и реки обнимет нежно.

Животные пусть в долах безмятежно
плодятся, им, воспаряя в пустоту,
и воздух, и защиту дать.

Заранее омыв дождями горы,
им прививая свет и доброту,
возделывать двойное дно ущелий
ради оливковых душистых рощ.

Лишением бессмертия карать,
легко гнуть молнии в небесной сини.
Сильнейшим стать в божественном роду.
Сон обрести прекраснейшей богини.

¹ Публикация осуществляется при поддержке фламандского литературного фонда Literatuur Vlaanderen (<https://www.flandersliterature.be>).

ПЕСНЯ БОГИНЕ ГРОМА

Распростерлась желанием на гладкой галере.
То лаской одарит черную винную ягоду,
то поцелует украдкой губы злодея.

Никому не узнать о ее красоте, потому что
слепа и безмолвна она, как ветрам послушный
остров, что глядит на нее, только это и может —
содрогаться в сомнениях между луной и солнцем:

солнце — ее любимый слуга,
луна — скоротечность ее заката.
Рыбы готовят ей зелье сна,
птицы страсть распаляют гвалтом.

Соблазну ли ее, угостив мороженым? Нет.
Тогда научусь летать и красиво петь,
смастерю качели из шелка надежного,
подвешу их среди облаков,
чтобы ночью качать ее осторожно
при свете моих самых нежных звезд.

И тогда увижу, как сияют ее колени,
словно девочки смех.
Так и будет.

ПАСТУХ ОБЛАКОВ

Мое сердце лежит на моих ладонях, как птенец,
выпавший из гнезда, я совсем здесь один,
и со мной только преданные мои облака,
я больше почти не касаюсь этого мира,
все дальше ветер уносит меня от земли.

Нет, я не то чтобы воспарил в небеса,
парить может лишь тот, кто движим любовью,
а я неподвижно лежу в колыбели прохлады
ночной, и ее качают ветра, и я слушаю,
как шуршат облака своей шерстью густою.

И здесь, возле их вздымающихся, теплых
от нимбов, добрых, печальных сосков,
я, вооружившись страданием, выговариваю
общую жалобу облаков, — так боевая лошадь
жалобно ржет у входа в рудниковую шахту.

ТАК ОБРАЩАЛСЯ Я С РЕЧЬЮ К ХОЛМАМ РЕСПУБЛИК...

Так обращался я с речью к холмам республик:
моя сила это гора, извергающая проклятье,
мое ясновиденье это пастух, обуздавший львов,
моя доброта это прямые широкие реки.

Перемирие, в которое однажды ты облачишься,
это мой грустный подарок. Так подарки
осени, как и прежде, грустны.

Я целую Тебя, венценосный, в холодную шею
и грею ладони твои, положив в них самку дрозда.
Забывая меня медленно, так, как медленно я прощаю,
так, как может лишь старое серебро забывать.

И, обращаясь с речью к холмам республик,
я превращался в объятый дрожью цветок
между белых пальцев слезы.

Снова на западе Ветер-дитя плачется ивам.

В МОНДОРФЕ НОЧЬ. В ТОСКЕ НЕВЕСТА...

В Мондорфе ночь. В тоске невеста,
судьба ее висит на волоске,
уже чудовище крадется.
Увидит ли она восход или лишится чувств,
познав любовь в обители дверей и голубей?

Быть может. Ибо слушай. В моих владеньях,
в это безжалостное лето, убийца плачет,
пока стоит на страже свора моих кровососущих псов.

Пока мой драгоценный глаз буравит кожу
домов, где юные отцы
блуют, вкушая свои сны,
а я в то время пью богатыми глотками
напиток сладкий, что подносит Тень —

мой верный друг, готовящий мне яд.

СЛОВНО СОЛНЦЕ В УСНУВШЕЙ КАПЛЕ...

Словно солнце в уснувшей капле
тлеет истины тень, сокровенно
объяли ее мои воды.

Рука моя стала цветком лаванды,
а Твоя — огненосной пчелой.

Сладко прильнуть мне
щекой к щеке ангела,
спать в реке-артерии,
маятника вечном движении, кровотока как эхо.

НЕ ЗОЛОТА ПЛАМЕНЬ, НО ПОЛУНОЧНЫЙ СВЕТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ...

Не золота пламень, но полуночный свет черных металлов,
не возвращенное слово, но смех.
Не глаз, но ясное видение сквозь водопад винограда,
как нимфа, прозрачного на просвет.

Мое сообщение не звук, но застенчивое пространство,
где каждый голубь вмещает и свет, и тень,
я открываю не тайну, но пустоты постоянство: кроме
собственных слез, другого укрытия нет.

И когда вода однажды нас выжжет до самой сути,
ибо тело — только начало безмолвия стихий,
то смогут слепые прозреть и увидеть свет ясный,
а зрячие смогут богатство ночей обрести.

ВРЕМЯ ПРИШЛО СПОКОЙНО ОБДУМАТЬ...

Время пришло спокойно обдумать,
что лучше всего подойдет, земля или море.
Там схоронить оружие чинно и вскоре
пышно и безоглядно кончину найти.

В ране войной изъязвленного мира,
в свинцовом сердце любви.
Или в пене, где зимнею ночью чайки
прячут свои серебряные башмачки.

МИНОВАВ ГАРНИЗОН, МЫ ДОСТИГЛИ, ГДЕ-ТО МЕЖ СУШЕЙ...

Миновав гарнизон, мы достигли, где-то меж сушей
и морем, поле битвы деревьев,
мы нашли тишину после боя, было слышно лишь, как
кто-то зализывал раны.

Зверь уходил, чтобы лечь в мертвом звере,
ветр уходил, чтобы лечь в безветрии, и растения покидали
дом собственных корней.

Мужество торжествовало, торчало занозой, как палец
в сердце силы, провозглашало новую жизнь
и прорастало к сотворению мира.

ЧЕРНАЯ МУЗА

Когда-то ты меня одаривала щедро,
давала мне вкусить твой жадный и смертельный сон,
тогда, уверенный в себе, до дна в тебя влюблен,
я возводил корабль для нас единоверно.

Теперь один в пробитой шлюпке я живу.
И остаюсь, и ем, так хочет бородатый голод-
бог, и пью, чтоб мой двойник меня спасти не смог,
когда свалюсь в моих фантазий глубину.

Но все же, в безмолвии кровоточащий, жду,
что я однажды в паланкине неба отдохну,
с пылью живой снелиной снежинок на губах.

Что воцарится мир и мне вернут мои богатства,
и что в окопах пустоты не буду просыпаться,
где в горле стыд и речь моя иссохла в прах.

ЛЕДНИКОВО-ЭПИЧЕСКОЕ

В белых морях рождались великаны,
они росли вглубь неба, вглубь земли,
они любые формы принимали,
вода хранила черный облик их.

И море было силой их и даром.
Прилив — ночным, питающим их, сном.
Они вдыхали кислород из моря
и выдыхали сущность этих вод.

Пока еще не боги, только судьи,
владеющие крепостью морей,
в грядущий холод открывали путь и
к эпохе льда готовили людей.

НОЧАМИ

Так, когда на циферблате стрелки
изнашиваются в сиянье лунном,
когда стада дождем шлифуют спины,
когда деревья дразнят нас, растут.

Ночами так, когда, устав дивиться,
дыханье переводят дети,
дыханием улыбки став,
когда беременеют жены, храня
на сердце камень, и мужа стареют.

И, слава богу, так, ночами,
когда нет света и не видно нас,
не видно ни стыда, ни пота,
которыми любовники в постели
выплачивают выкуп за любовь.

О да, это ночами так,
нас незаметно оплетает сон
мертвящей мягкой паутиной
и шепчет в дремлющее ухо:
нет друга преданней, чем смерть.

АТЛАНТИЧЕСКОЕ

И даже в сне готическом моем,
в самой последней моей жизни,
дарованы мне скипетр и веер
древнейшим перемирием вод.

И если мое тело еще ест и пьет
ради безмерного дыхания,
то это потому, что море мне доступно
до изначальной формулы воображения,
до обезвоживания моего на глубине.

Вам говорю: в моем глазу
я проживаю гидравлически нехитро,
но в тех садах, глубинных, равновесия живу,
молчанием наполнив каждый звук.

Я добываю то, что скрыто в тишине,
и слово говорит себя и пишет
о красоте на тайном языке, и дарит мне
свой путеводный свет, и слово сказанное —
угасает, как рот, лишенный поцелуя.

ПУМПЕРНИКЕЛЬ¹

Черным хлебом пропахли горы,
хлебом пропахли ветра монотонно.
Я живу как неуклюжий пекарь,
голубую муку выдыхаю глазами.

Замешиваю в животе моем тесто
и преодолеваю кричащие реки,
где отмирают кроветворные рыбы.
До слуха доносится бой муравьев.

Я не чувствую любви в теле — земле.
Я чувствую котлы с кипящими камнями,
от которых руки становятся глиной
утрат, и голод, вгрызающийся
в меня часами.

ХОРОШАЯ ОСЕНЬ

Плоды распроданы.
Фермеры платят земельную ренту.
Дохлые мухи усеяли стол.

¹ Пумперникель (нем. Pumpernickel) — распространенный в Германии сорт ржаного хлеба. (Здесь и далее прим. перев.)

Под жадным дождем сверкает ботва.
Пашни поглощают свой послед,
и, в облаках застывая, зима все ближе.

Завтра куплю пять бидонов масла
и новые очки для чтения книг.
Этой зимой я еще не умру.

ДУЭЛЬ СРЕДИ РОЗ

Мы пришли к соглашению, что оружием
будет хохот.

С расстояния тридцати сантиметров
и, несмотря на раннее утро, по пояс голый,
я в присутствии врача и свидетелей
первым разразился хохотом.

Однако смог быстро себя обуздать,
и мой противник, благородный гардемарин
прикусил свою прекрасную верхнюю губу,
теперь его поцелуй во рту блондинки
больше никогда не будет прежним,
в этом я был уверен.
Как мне грела душу такая мысль.

С его подбородка скатилась толстая капля крови,
и на горизонте появилась карета,
в ней ехала без сомнений, но в черных шелках
и тонком нижнем белье, блондинка.
В тот миг пробил его последний час.

Я еще раз выдал зажигательный хохот,
и он со стоном рухнул среди роз,
тогда еще желтых, морозостойких карликовых роз,
и взрываю его смеха не было конца.
Даже во время осмотра врачом
он бился в корчах, неопишимо.

Свидетели осторожно увели его прочь.

Прекрасная блондинка аппетитно рыдала,
и на лужайке, нежной и росистой,
немного дальше истоптанных роз,
она скоро стала моей.
Ох, уж эти люди.

ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ

Завтра будет холодно и сухо.
Теплые животные покидают воду,
возводят крепкие горы, защищаясь от севера.

В необжитые расщелины заползает мох.
Подводные растения засыпают в озерном иле.
Кроты роют себе зимнюю могилу.

Даже я исчезаю, медленно, как лунный свет,
отражающийся на тонкой поверхности льда.
Стар я стал, холоден, сух.

Так осажденное снегом, оглохшее дерево
больше не слышит стук молодого топора,
срубающего его под корень.

КОГДА У МЕНЯ КОНЧАЕТСЯ КРАСНЫЙ

Когда у меня кончается красный,
я рисую деревья зеленым, и кусты,
и весь мой ландшафт.
И сорняк, и траву,

в которой ты лежишь недотрогой,
но глубоко растроганная моим рисунком,
на нем я заменил твое красное платье
нежной наготой, потому что, как
и для твоей улыбки, я до сих пор
не смог подобрать верного цвета.

Когда у меня кончается красный,
у меня всегда есть твои губы.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Бывают слова, как змеи шипящие.
Слова плотоядные, с зубастыми пастьями.
Под камнями горячими спящие хищно.
Паутину плетущие для ловли добычи.

Одни как медузы стеклянно прозрачные,
и полон твой рот их чернил ядовитых.
Другие режут отточенной бритвой
или, как глаз воспаленный, сочатся.

Слова могут ловко маскироваться
и как богомол, слившийся с веткой,
проносят плоды свои незаметно,
или другие слова обольщают.

Это ведь слово другому слову
может придать иное обличие,
может залечь на тысячелетия
часовой бомбой в толике льда.

Ибо если вечером невинное слово
укачать, убаюкать, словно ребенка,
то утром найдешь в остывших пеленках
новехонький бронебойный снаряд.

ВОДЯНОЙ

Он не дышит. Он впитывает по привычке кислород.
Он не носит очки, потому что зорка его слепота.
Тысяча лет прошло с той поры,
когда ему требовалась еда. Его не мучает голод,
но терзает бездонная тоска.

Его жабры прозрачны и хрупки,
как недотрога фарфор.
Глаза его точно амфоры винного сока,
который сочится из дивноводных цветов.
Рыбаки крадут его слезы и готовят из них благовония
и бальзам для своих благоухающих жен.

Водяной живет в маленьком замке.
Он возвел его из высокой воды и стены укрыл
развевающимися зеркалами, в которых плавают рыбы.
Свет многочисленных неярких ламп
он хранит нетронутым в особых бутылках.

Потому что он ждет.
Он ждет уже целую вечность.
Каждый грустный воздушный пузырь, что он произносит,

становится бусиной ожерелья, которое он
бесконечно плетет для своей любимой русалки.
Ной все еще не столкнул ее за борт ковчега.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ПУСТЫНЕ

Все здесь бесконечно необъятно.
Ад вечного песка,
и в бездне неба ничего
не видящее солнце.

Здесь чувствуешь присутствие богов,
оно сжигает тебе губы,
как жаркий яд
из скорпионьих жал.

Ни бабочки, ни воробья, ни мухи.
Здесь пустота единый повелитель,
и от нее не скрыться никому.
Здесь одиночества решающее слово.

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ СУЛТАН

Два сильных сына у моего любимого раба.
Старший — добытчик олова и меди.
Он звучный колокол из бронзы отольет,
ибо его отец, мой раб, стал глуховат.

А младший — золотых, серебряных дел мастер.
Сладкое серебро для сахарного молотка,
сильное серебро для прочных скреп на сундуках,
и много золота для новеньких монет.

Две дочери у моего любимого раба.
Нет никого прекрасней их в моем гареме.
Одна мне хлеб печет. Другая же следит,
чтобы в альков не заползла змея, пока
мне снится величайший из поэтов, Бог.

Незримый Бог, но его дивный веер
моим глазам прохладу дарит ночью,
когда он песней выдыхает меня в сон.

ПИСЬМО ЖАННЕ Х.¹

Я стоял у моря, моя любимая,
немного смешон
со своими словами туземца,
тих и чист, словно лошадь на пастбище.
Гладким и матовым стал я,
как азиатская девочка,
как податливый камень.

Ненадолго пригрезилось,
что живу я на острове;
но черный поезд
въехал мне в спину,
въехал в этот сумасшедший ландшафт, —
ты знаешь, любимая, —
ландшафт повседневности.

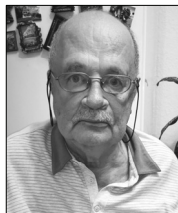
Море — женщина, и она красива, любимая,
с волнистой каймой
морских ее нижних юбок;
у нее мечтательный взгляд
и сердце гладкое,
как канал для спортивной гребли.
Мне бы так хотелось
посадить майское дерево в высокой воде
и набрать пригоршню бабочек,
перебирая ракушки.

Но тут прибыл
индийский корабль, набитый индийцами.
Они спросили, как им добраться
до церкви Пресвятой Девы
и до дома других дев,
в родной гавани, моя любимая,
где на бедрах девочек
разрастаются ламинарии.
Где говорят об отцах и сыновьях,
от Бомбея до Гватемалы,
но море остается красивым, моя любимая,
в нем есть что-то от задумчивой грусти цветов
и от твоей солоноватой кожи.

¹ Это стихотворение не вошло в книги, составленные самим поэтом, но было издано посмертно.

Борис ЛИПИН

/ Дрезден /



ПАВЛУША

В подвале прозвенел звонок на обед. Ленька перестал крутить ручки станка и нажал на кнопку выключателя. Старый токарный станок, который до этого непрерывно визжал, последний раз обиженно взвизгнул и затих.

Леньке шестнадцать лет. У него укороченный рабочий день. Несколько месяцев назад его отца арестовали. Отец работал фотографом в маленьком ателье. Он, как он говорил, заснимал, а проявляла и печатала, нравившаяся Леньке, лаборантка Сонечка. Часто отец оставлял ателье на Сонечку и уходил на промысел. Он заснимал выпуски институтов, школ, военных училищ, техникумов. Заснимал школьников в начальных классах и детей в детских садах. Заснимал молодоженов в загсах. Заснимал все, за что платили. Надо было зарабатывать деньги. У Леньки было два брата и сестра — все младше его. На выпусках отец и погорел. В тот раз он заснимал выпуск школы милиции. Ситуация анекдотичная. Кто-то из молоденьких лейтенантов — будущих следователей решил проверить, платит ли налоги этот, сыплющий прибаутками, еврей. Мысль проверить пришла лейтенанту в голову, когда еврей, получив от него деньги, прикрепил их к пачке и, послунив пальцы, пересчитал. Лейтенанты были молоденькие, стройные, идеологически грамотные, а еврей был толстый, и все шуточки у него были с душком. Угадывалось скрытое недовольство советской властью.

Налоги Ленькин отец не платил. Кто-то из доброжелателей даже предупредил его, что на него лежит донос, но он очень безответственно к этому отнесся. В результате, у него конфисковали два вклада, на каждом из которых было по пять тысяч рублей, и все фотоаппараты. На суде Ленька с братьями и сестрой сидел в первом ряду. Так задумала мать. Она решила, что это может повлиять на решение суда. И, действительно, все работники суда, выступая, смотрели на них. Только отец не смотрел. Он смотрел в пол и беззвучно плакал. Накануне суда Ленькиной матери передали от него записку, где было написано: «...не проклиняйте меня...».

Отец получил немного. Три года. Но для многодетной семьи, жившей на его заработки, это было катастрофой. Все полетело к черту. До ареста отца Ленкина мать не работала. Теперь она устроилась продавцом в магазин. Младшие дети продолжали учиться. А Ленка, посмотрев, как мать ездит по родственникам и просит их помочь, а те непривычно грубо отвечают, через два месяца бросил техникум и устроился учеником токаря на завод. Нет худа без добра. Техникум был обувной. Его тошнило от подметок, каблуков и подошв. Учиться в этом техникуме придумал отец. Он решил, что это надежный кусок хлеба. Ленка проучился два года и с ужасом думал, что надо еще два. Так что, уходя из техникума, он вздохнул с облегчением.

Первые месяцы работы на заводе вызвали у него сложный комплекс ощущений. Он чувствовал, что здесь тоже хорошего мало. Прежде всего, въевшаяся в поры грязь, от которой было невозможно отмыться. Но зато новых ощущений для него, юноши, который до этого даже в пионерский лагерь ни разу не ездил, было столько, что чувство удивления, с которым он каждый день шел на завод и возвращался с него, стало главным. К тому же, он подсознательно чувствовал, что завод не вечен. А пройти это надо. Он в книгах читал, что для того, чтобы набраться жизненного опыта, надо опуститься на самое дно. И сейчас, когда он слышал вокруг мат, видел грязь и опухшие лица, казалось, что он на самом дне. На второй день работы на заводе, когда он уже крутил ручку суппорта, к нему подошел мужчина в комбинезоне с красным, небритым, сохранившим следы былой интеллигентности, лицом. Это был Юрка такелажник. По непроверенным слухам он когда-то был инженером. В данный момент Юрка был пьян. Не в стельку, но крепко. В обед они всей бригадой пили красноту. Юрка выпил полторы бутылки. Он долго с удивлением смотрел на чистенькое личико, торчавшее из-за передней бабки станка, мычал что-то невнятное, причем Ленка кивал головой в такт этому мычанию, а потом поднял правую руку, сжал ее в кулак, ясно сказал: «молодец!» и отправился спать в раздевалку. Ленка понял «молодец!», как одобрение его появления в подвале.

Таковы были события, предшествовавшие моменту, когда он, щурясь от солнца, вылез в обед на заводской двор. Двор был довольно аккуратно, но без всякого плана, заставлен контейнерами с оборудованием, пачками листового железа сложенного в штабеля и чушками силумина. В противоположном углу двора, тоже в подвале, как будто закрытая пасть, виднелась дверь литейной. Во время работы эта дверь-пасть открывалась и начинала размеренно пожирать чушки. Из них лили корпуса электромоторов. На заводике делали электромоторы. Сейчас на всех этих чушках и ящиках с оборудованием удобно устроились рабочие с бутылками, термосами и газетными свертками. У всех мерно работали челюсти. Рабочий класс обедал.

Ленька стал смотреть, куда бы ему сесть. Одному сесть, так, чтобы рядом никого не было, не получалось. Да и не хотелось сидеть одному. Садиться к кому попало, тоже не хотелось. Среди рабочих было много таких, которые сейчас уже выпили, или ждали товарищей, которые в обед должны были принести бутылку. Помимо того, что общение с ними было неприятно, оно было еще и накладно.

Рабочие очень быстро начинали просить деньги в долг. Просили три рубля на бутылку. То ли они, оценив его взглядом, прикидывали, что долг можно будет не отдавать, то ли они, вообще, никому долгов не отдавали, но уже четверо человек были должны ему, каждый по трехе, и судя по тому, как они его при встрече в упор не видели, отдавать долг никто не собирался. Отчасти, это было неплохо, потому что все четверо были омерзительные типы, и теперь он был избавлен от дальнейшего общения с ними. Обидно, что для этого пришлось пожертвовать трехой. Когда он при встрече видел смотрящее в сторону или сквозь него лицо, он ее (треху) всегда вспоминал. Было такое ощущение, что, данный в долг, рубль сыграл бы ту же роль. В коммунальной квартире, где жил Ленька, у них было два соседа алкоголика, которые периодически просили у его матери деньги в долг, и она говорила, что лучше дать небольшую сумму и не просить назад, но зато потом не будут приставать. Интересно, что один из этой четверки, после месячного смотрения в сторону, снова стал при встрече улыбаться и здороваться. Ленька напрягся, предчувствуя продолжение диалога. И точно. В ближайшую получку рабочий, смеясь ему в лицо от собственной наглости, снова попросил в долг три рубля. Ленька собрал волю в кулак и отказал.

У стены на длинной скамейке сидели пожилые тетки, работавшие штамповщицами. К ним он садиться не будет. А вон там, подалее, у двери в литейную сидят слесари из инструменталки — молодые парни, старше его лет на пять. В прошлый раз он сидел с ними. Сначала было нормально, но потом один из них, подмигивая остальным на Леньку, стал рассказывать, как он в субботу ходил на порево, и ему досталась раскладушка, которая скрипела, сволочь, и мешала.

— Надо было смазать, — сказал слушатель.

— Чем? — заржал рассказчик.

— Смазка-то под тобой. Ты, что ж, на сухаря дерешь? — заржал слушатель.

Заржали все.

Ленька торопливо допил чай из термоса, и встал со скамейки.

— Ты куда? — спросил рассказчик. — Посиди, мы тебе еще что-нибудь расскажем.

— Я пойду, посмотрю, как в шахматы играют, — стараясь, чтобы голос звучал ровнее, ответил Ленька.

— В шахматы?! Ну, иди, иди!

Рассказчик заржал так, как будто Ленька шел на это самое поро. Ленька шел, пошатываясь. Все эти ребята после завтрака дружно закурили, и у некурящего Леньки закружилась голова. В спину он слышал смех и бормотанье. Смеялись над ним. Два слова он ясно расслышал — жиденек и целочка.

Сейчас, заметив этих ребят, он резко дернул головой, как будто его ударили по щеке, и стал рассеянно водить глазами по двору. Он услышал смех, от которого сразу покраснел. Какая-то идиотская ситуация, — ему говорят жиденек, и он сразу краснеет, а ни одной обидной клички, связанной с национальностью, которой можно поддеть любого из этих парней, не существует. Он не хочет поддевать, но почему они должны быть по-разному устроены. У него есть больной зуб, а у этих парней нет. Когда, отработав неделю, он пришел к мастеру просить новую фрезу взамен сломанной, тот посмотрел на него полминуты, как будто первый раз увидел, а потом довольно бесцеремонно спросил:

— Ты, часом, не Иудиного ли племени?

— Нет, — замотал головой Денька. А потом стал врать, что кто-то из его предков, то ли жил на юге, то ли даже не русский по национальности. Грузин или азербайджанец. И от этого предка у него, у Леньки, черные глаза и вьющиеся черные волосы. Мастер поверил. Выдавая новую фрезу, он добродушно засмеялся.

— Смотри у меня. Если что, я жидов по запаху чую.

А когда Ленька пришел в инструментальную кладовую, то толстенный, кругленький, похожий на Евгения Леонова, кладовщик, не отвечая на вопрос, поманил его коротеньким, похожим на сардельку, пальцем. Когда Ленька нагнулся к нему, кладовщик шепнул:

— Юде? — и засмеялся.

С тех пор Ленька старался в инструментальную кладовую не ходить. С другой стороны, во всем этом не было какой-то злобы. Было грубое добродушие вперемешку с хамством. В техникуме ему пришлось даже два раза драться, когда его товарища обозвали жидовской мордой. А здесь? Не будет же он драться с мастером. Тот, наверное, даже не поймет, что Ленька против него имеет. Но зато в техникуме было много евреев и евреек. Был Саша (на самом деле Самуил) Гуревич. Была Кушнер Белла. Была изящная, смуглолицая, с орлиным носом, очень нравившаяся ему, Фридланд Ида. А здесь он был один. Хорошо еще, что у него настоящая русская фамилия.

Взгляд его продолжал ползать по двору.

В теньке, за большим контейнером сидели токари из одного с ним цеха. Все они были связаны с ним. Ленька делал для них заготовки. Токарному станку, на котором он работал, было давно пора на свалку. Все, что можно, было на нем сломано, или снято. Он делал на нем одну операцию — резал фрезой прутки определенной

длины. Все было очень просто. Работа сдельная. Отрезать один пруток стоило копейку. Сумел отрезать за смену тысячу прутков — заработал десять рублей.

Дальше эти прутки шли в работу. С ними делали много операций, чтобы в конце они превратились в оси электромоторов. Начинали эти операции токари. Каждому из них были нужны прутки. Работали все в цеху сдельно. Токари работали, как заводные, всю смену и еще прихватывали вечернюю. Чтобы не терять время, они не ждали, пока подсобный рабочий привезет из подвала на тележке заготовки, а, схватив ящик, прибежали к Леньке в подвал. Иногда останавливались у станка покурить и поучить Леньку уму разуму. Больше всего он любил, когда за прутками прибегал Тима Кутаев. Это был здоровенный мужик, перенесший, как он неоднократно рассказывал Леньке, тяжелую жизненную драму. Первая жена его оказалась блядь.

— Ты, представляешь, — жаловался он Леньке, — она у меня на третий день после свадьбы хуй сосать хотела!

Ленька молчал сочувственно. Воображение рисовало в уме страшную картину. Тима Кутаев с расстегнутой ширинкой мечется по комнате, а за ним на коленях ползает женщина и, клацая зубами, пытается схватить ими Тимин член.

— Ну, нет, говорю, сука, со мной этот номер не пройдет! Она снова — хват! Я ей как врзал, она к стенке отлетела!

Стоявший рядом токарь, учившийся в институте на вечернем, улыбнулся краешками губ.

С этого момента, как говорил Тима, его семейная жизнь стремительно пошла под откос. Через несколько месяцев он получил неопровержимые свидетельства, что жена ему изменяет. Выгнал ее, и привез молодую честную девку из родной деревни. У той подобных поползновений на Тимин член не было. Женился, и теперь они ждали ребенка. Семейная жизнь наладилась.

Но чаще всего токарям было некогда. Ленька даже не останавливал станок. Они сами выгребали прутки из лоханки, оттряхивали с них эмульсию и стружку, укладывали аккуратно в ящик и, сгибаясь под тяжестью, убегали. В эти минуты они напоминали солдат с боеприпасами, убегающих на передовую. Если он резал много прутков, все были довольны. Укладывая в ящик прутки, токари задавали провокационный вопрос «а больше нарезать можешь?», на что он гордо отвечал: «могу!» Если прутков было мало, отношения портились. Токари начинали кричать, что он гоняет лодыря. Приходил мастер, который спрашивал про «Иудино племя», и тоже начинал ругаться. Или просил его поработать сегодня не укороченную смену, а полную, а, может быть, даже остаться во вторую. Обещал оформить сверхурочные. Это значило, что, когда он вечером пойдет через проходную, то сообщит свою фамилию, ему поставят время прохода, и за каждый час сверхурочного времени заплатят три-

дцать копеек. Это помимо платы за отрезанные прутки. Несколько раз он так оставался, а потом дома брал бумажку и начинал считать, сколько ему заплатят в этот месяц.

Первая причина, по которой прутков периодически не хватало, было то, что Ленька действительно начинал гонять лодыря. На заводе было еще несколько таких же, как он, малолеток, которые приходили к нему в подвал потрепаться. Были две молоденькие симпатичные девчухи, работавшие приемщицами в ОТК. Они зарабатывали стаж для поступления в институт. К ним Ленька прибежал сам. Садился напротив, впивался взглядом в груди, обтянутые халатом, и нес галиматью, которую несут подростки. Пока мастер не прогонял в подвал.

Второй причиной было неукротимое желание токарей зарабатывать. Они неслись к цифре месячной зарплаты, как бегуны мчатся к финишу. А после зарплаты весь завод передавал друг другу, что Генка Громов в этот месяц «выгнал двести восемьдесят», Тимка Кутаев «замолотил двести сорок», а «дядя Вася работает, не торопится, но каждый месяц делает двести пятьдесят». Особенно любили обсуждать эти цифры пожилые женщины. Когда токарям не хватало прутков, а Ленька уходил домой, они поступали просто. Вставляли к его станку, и резали сами. Он даже знал утром, когда приходил и видел, что станок, или убран и смазан, или плохо убран, или не убран вовсе, кто у него вчера вечером работал.

И вот теперь они все сидели здесь в теничке. И дядя Вася здесь. Руки у него трясутся с похмелья. Дядя Вася старше всех других токарей. И водки он за свою жизнь тоже выпил больше остальных. Между ног у него толстая суковатая палка. Он курит по две пачки Беломора в день. У него что-то произошло с кровеносными сосудами. Как говорит дядя Вася, «плохая пульсация». По заводскому двору он ходит с этой суковатой палкой.

Сесть надо к кому-нибудь из них. Это лучше всего. Но к кому? Они все неплохо к нему относились. Какой ни есть, а тоже работает на токарном станке. Если кто и испытывал к нему неприязнь, то не афишировал этого. Правда, в начале его работы самый молодой токарь, придя за валиками, спросил, какое у него отчество, а услышав ответ, засмеялся многозначительно и сказал «ну-ну». Но в тот же день, в конце смены он еще раз совершенно нормально разговаривал с Ленькой, и даже через проходную они вышли вместе. Да один пожилой токарь (сорок лет для Леньки пожилой) через две недели его работы просто спер вечером его оправку для зажима прутков. Ему нужно было нарезать заготовки из латуни, и он решил, что с помощью Ленькиной оправки это можно будет сделать легче всего. В первый момент, придя утром, Ленька обрадовался, что не надо ничего делать. Во второй, расстроился, — деньги-то надо зарабатывать. Он же на сделке, а кроме него самого, его никто не накормит. Потом пришла обида на то, что по отношению к

нему поступили бесцеремонно. Подлили масла в огонь токари, пришедшие за прутками. Они пошумели, а потом пошли искать оправку. Нашли, принесли ее, и заставили Леньку крутиться быстрее, чтобы наверстать упущенное время. Так что, если с тем токарем отношения тогда ухудшились, то с остальными улучшились. Но со времени этого эпизода прошло уже три месяца, и этот токарь при встрече с ним тоже начал бурчать что-то под нос, что можно было понимать, как приветствие.

Так, к кому же сесть?

— Леня, чего ты стоишь? Садись. Вот здесь место.

Это лучше всего. Сесть к Паше.

— Здравствуй Павел, — солидно сказал Ленька и пожал руку. А Павел пододвинулся, освобождая место. Потянул свежую газету, на которой лежали стопкой несколько бутербродов. Черный хлеб, масло и розовая, с красным мясом грудинка. А рядом лежали: большая белая, с кулак, луковица, два яйца и длинный, разрезанный на четыре дольки, огурец.

Ленька посмотрел на Павлушино богатство и стал разворачивать свой завтрак. Четыре куска булки тонко нарезанных и намазанных маслом. И сверху докторская колбаса.

Павлуша ростом меньше Леньки сантиметров на десять, а завтрак у него в три раза больше. Что у Леньки больше, это термос. Литровый китайский термос. В нем хорошо заваренный чай.

Павел хорошо смотрелся со своими бутербродами. Серые пальцы держат черный хлеб. А сверху белое масло и розовая грудинка, блестящие на солнце. Он и сам был серый. Светло-серый комбинезон. К шее прилежала очень дешевая серая рубашка с белыми пуговицами. Такие волосы, как у него, русыми не называют. Они тонкие. Не блестят. Видно, что они лежат так, как их заставила лежать расческа. И лицо у него серое. На этом лице нет мыслей. Есть испуганное желание угодить и угадать, чего хочет собеседник. Не такое желание угодить, какое возникает у нагловатого официанта, когда он видит, что за столик к нему сел денежный мешок в подпитии. Это желание угодить, которое бывает у деревенского переростка, оказавшегося в неизвестной обстановке.

Пожалуй, это был единственный человек на заводе, в общении с которым, Ленька чувствовал свое превосходство. И чувствовал, что собеседник это превосходство спокойно принимает, и даже стремится как-то использовать. Например, узнать, чего не знает сам. С кем бы из рабочих Ленька ни говорил, он чувствовал, что знает больше, больше читал, и лучше понимает происходящее. Но он также чувствовал, что у его собеседника такого впечатления совсем не складывается. А наоборот. Появляется раздражение, что Ленька не знает, а говорит. Когда электрик, который пришел к нему менять на станке сгоревший электромотор, завел разговор об устройстве атомной бомбы (актуальная тема для

беседы советских рабочих), выяснилось, что, по его представлению, при взрыве атомной бомбы температура миллион градусов тепла, а при взрыве водородной миллион градусов холода. И сколько Ленька ни доказывал ему, что холоднее, чем двести семьдесят три градуса не бывает (они проходили это в техникуме), рабочий не верил. Он смеялся, вскидывал руки и хлопал ими по ляжкам, кричал, «я точно знаю», звал в поддержку такелажников, которые в очередной раз пили в подвале красноту, а потом плюнул и ушел, обозвав Леньку мудаком.

А Павлуша никогда с Ленькой не спорил. Наоборот, сам спрашивал, старался запомнить, говорил, что расскажет сыну, и рассказывал Леньке про сына.

Павлуша был деревенский. Он был на двадцать лет старше Леньки. Как он попал в город, Ленька не знал. Из его рассказов можно было понять, что до армии он жил в деревне, да и после армии связи с ней не терял. Грудинка на хлебе была не магазинная, а оттуда.

Паша отличался не городской аккуратностью в отношении к людям. Он ни с кем не ругался. На этом заводе он работал два года, и сравнительно быстро заработал прозвище старатель. Каждый день он работал две смены. Всегда. Тогда рабочая неделя была с одним выходным днем. И все эти шесть дней Паша стоял за станком по пятнадцать часов. Когда в конце месяца цеху грозило невыполнение плана, Паша выходил и в воскресенье. Почему-то невыполнение плана грозило цеху в конце каждого месяца. Очевидно, в этом состоит специфика работы на заводе. Работал Паша, как машина. Без срывов. А какие у рабочих срывы? Запой. В сильной или слабой степени этой болезнью болели все токари. Дядя Вася в начале каждого месяца просто неделю не ходил на работу. Он пил целыми днями, и с утра опохмелялся в садике. Но ему все прощалось. Он был самый старший, да и план свой всегда делал вовремя. Детали, которые он точил, поступали в цех во второй половине месяца, и в начале месяца ему все равно было нечего делать. Кое-кто из токарей мог внезапно «забалдеть на пару дней», а потом с виноватым лицом прийти в конторку к начальству. Кто-то мог вечером «нажраться страшно», но утром «на автопилоте» вовремя прийти на работу, до обеда проспать в раздевалке, а с обеда, все-таки, начать вкалывать. Сказать, чтобы Паша не пил, нельзя. Выпить он любил. Ленька один раз видел, как он пил водку. Он пил ее из стакана, как воду. Правда, выпил тогда немного. Но сами глотки запомнились. Он не нюхал, не кричал, не отворачивался, не делал большого вдоха, не обводил окружающих взглядом. И никогда выпитое не сказывалось на состоянии, в котором Паша стоял у станка. Та же, освещенная лампочкой, склоненная над крутящейся деталью, голова. Тот же внимательный взгляд и полуоткрытый рот. Те же руки, быстро бегающие по станку. И настороженная улыбка, на всякий слу-

чай, подошедшему. Эта жадность к работе многих токарей раздражала. Он отнимал заработок у остальных. Прутков он брал больше всех, И неоднократно, когда Ленька уходил домой, вставал их резать сам. Ленька даже знал, когда Павел вечером работал. Станок на следующий день был убран так, как Ленька сам его никогда не убирал. Нигде не было следов стружки, и все было протерто и смазано. А если прутки точить было не нужно (сделан план), Павел начинал рыскать по цеху. Он хватал лежащие всюду ящики с заготовками и тащил их к своему станку. Это были часы его торжества. Он мог и на ночь остаться. А утром токарь, который вчера в конце смены привез эти заготовки на тележке из другого цеха, чтобы с утра начать точить, видел, что вся работа уже сделана. А над Пашиным станком невинно торчала, склоненная над деталью, голова. Рабочий матерился на весь цех, а Паша только хлопал глазами, и еще внимательнее смотрел на деталь. Одну такую сцену Ленька видел. Стоя прямо перед Пашиным станком, токарь громко убеждал весь цех, что Паша ублюдок и пидар гнойный. Судя по сочувственным возгласам из-за соседних станков, многие с ним были согласны. А Паша молчал и измерял деталь колумбусом, как будто это не к нему относилось. Только руки подрагивали, и взгляд был опущен.

Но, если Павел чувствовал, что он что-то знает, то никогда не упускал случая дать Леньке совет. Вот и сейчас, пока Ленька отворачивает крышку термоса, следует вопрос:

- Много с утра нарезал?
- Скоро тысяча будет.
- Сегодня хорошо заработаешь.
- Надо навалиться. Я хочу костюм в кредит взять.

Две недели назад на заводе был устроен вечер отдыха, на котором все перепились, а молодежь перебивалась. Закончился вечер мордобоем. Причем, когда в понедельник (вечер был в субботу) рабочие начали вспоминать вечер, они никак не могли понять, кто, с кем, и из-за чего дрался. Хотя, каждый смутно помнил, что тоже в этом принимал участие. Ленька, которому очень хотелось пойти на вечер, чтобы познакомиться с красивой девочкой — лаборанткой из техотдела, не смог пойти. У него есть только пиджачок, купленный два года назад, когда он поступал в техникум. Худые, длинные Ленькины руки торчат из рукавов этого пиджачка, как из рубашки с короткими рукавами. Идти в таком пиджачке на вечер нельзя. Паши на вечере тоже не было. Он, как обычно, работал вторую смену.

— Я тебе скажу, что можно и работать меньше, а жить лучше, и купить больше дорогих и хороших вещей.

- А почему?
- Если больше работаешь, то больше пропьешь.

Ленька не пьет, но совет запомнил.

- Павлуха, еб твою мать, я тоже с вами сяду.

Ленька вздрогнул. Он никак не может привыкнуть, когда громко кричат матом. Когда спокойно говорят, он уже привык. Когда Тима Кутаев, придя за валиками, озабоченно качает головой:

— Леня, блядский рот, ведь ты прутки не в размер режешь, — Ленька спокойно берет измерительную скобу и начинает тыкать в нее пруток.

Это Петька. Такой же малолетка, как и Ленька. У него тоже укороченный рабочий день. Но он на завод попал после ремеслухи. Он может выпить. Затеять с красивой лаборанткой из техотдела, полный намеков, флиртовый разговор, от которого та будет млеть и оглядываться по сторонам. Особенно эффектно у него получалось послать мастера на хуй. Рабочие про него уважительно говорят: «молодой, да ранний». В посылании мастера на хуй был неведомый Леньке смысл. Однажды он стал жаловаться Петьке на мастера, и тот сразу предложил:

— Пошли его на хуй!

Когда через день он собрался уходить, и мастер, спустившись в подвал, стал ругаться, что вечерней смене не хватает заготовок, он, как будто, шагнув в пропасть, выпалил:

— Володя, пошел ты на хуй!

Сам испугался, но, когда через несколько секунд посмотрел на мастера, не поверил своим глазам. Иудино племя улыбалось, будто ему в рот положили конфету.

— Леонид Исакыч, — услышал он примирительное, — тебе уж и слова сказать нельзя.

С тех пор отношения с мастером были отличные. Павел спокойно пододвинулся, как будто Петька ему сказал «Павел Иванович, подвиньтесь, пожалуйста». Собственно, Петька почти так и сказал.

У Петьки на завтрак полно вкусных вещей: бутерброды с сервелатом, домашняя ватрушка, шоколадные конфеты «Мишка на Севере», изящный, с красивым рисунком, пол-литровый термос с чаем.

Ленька наливает всем из своего термоса чайку. Ему все равно одному литр не выпить. Петька угощает его и Павлуху «Мишкой на Севере».

— Ну как фотки, Паша? — спрашивает Петька, прихлебывая чаек, — балдеешь?

Месяц назад паренек из «инструменталки», который вчера рассказывал про порево, спустился к Леньке в подвал и стал показывать ему пачку фотографий с голыми женщинами. Ленька смотрел, затаив дыхание. Паренек снова засунул фотокарточки в черный пакет. Леньке очень хотелось посмотреть еще, но он стеснялся спросить. Паренек улыбнулся и сказал, что карточки продает его кореш. Он себе тоже взял. Карточек было двадцать. Одна стоила двадцать пять копеек. Все — пять рублей. Примерно столько зара-

бывал Ленька за смену. Было очень жалко денег, но карточки тоже хотелось купить. И он решился. Не показывая вида, что жалко денег, протянул парню пятерку. То, что денег жалко, было настолько явно видно, что парень засмеялся. Дома Ленька долго смотрел карточки сам, особенно уставившись в волосы, или их отсутствие, в нижней части живота. Потом стал показывать карточки младшим братьям. Потом их случайно увидела сестренка и пожаловалась маме. Мама хотела карточки разорвать, но Ленька сказал, что их ему дали на работе, и надо обязательно вернуть. С тех пор, как он стал работать на заводе, мама стала слушать его. Она отдала с условием, чтоб дома их больше не было. Ленька отнес на завод и положил в тумбочку, а когда Паша в очередной раз пришел за прутками, показал ему. Павел сначала спросил, где он их взял, а потом предложил продать ему. Петьке, пришедшему посмотреть карточки, Ленька сказал, что они у Павлуши.

— Ага, — отвечает Павел, жуя бутерброд.

— Ну и как?

— Отлично. — Павел дождался бутерброд. — Вчера моя баба лежит на кровати, а я сижу тихонечко за шкафом, карточки смотрю. Она слышит шелест, говорит: «Павлик, что ты там делаешь? Павлик?» А я ей говорю: «Я книгу читаю». А потом раз ее! Раз!

«Раз» он произносит резко, с выдохом, и на конце шипит, как будто там не «з», а «с». Получается «расс».

У Леньки перед глазами возникает картина. В пятом классе его одноклассник, у которого был сарай, завел несколько кроликов. Когда Ленька приходил к нему во двор, они развлекались тем, что периодически брали кролика самца за шиворот и сажали на, пугливо тарасившую ярко оранжевые глаза, крольчиху. Кролик сразу начинал крупно дрожать всем телом, а крольчиха продолжала сидеть, как ни в чем не бывало. Вот и Пашина жена, которую он никогда не видел, тоже представилась огромной, сидящей посреди комнаты крольчихой, на которую коршуном (расс!) бросился из-за шкафа Павел.

— Ты, смотри, насмотришься, на свою смотреть не будешь. Там бабеч классный заснят. Ты таких никогда не видел.

— Я не видел? Вы еще молодые ребята. Я таких видел, что вам и не снились.

— Ну-ну! — Петька многозначительно улыбнулся.

У него уже есть сексуальный опыт. В молодежном походе он закадрил (или она его) комсомолку Светочку, которая старше его на три года. Теперь он ходит к ней домой, когда ее родителей нет дома. У Светочки отдельная квартира. Петьке очень нравится, что она принимает ванну до и после. Светочка читала, что так надо делать. Еще она читала, что надо пить черный кофе. Испуганно, застонав с надрывом, позволять любимому (любимый — Петька) целовать ее тело, подставляя интимные места. Петька целует их не

очень охотно. Он еще не вошел во вкус. Светочке это не нравится, но она ему ничего не говорит. Они ходили вдвоем на Жана Татляна и Радмилу Караклаич. Петька твердо убежден, что у такого сморчка, как Паша, ничего подобного быть не может.

— Расскажи, какая у тебя самая классная чувиха была?

Павел немного озадачен. В деревне красивых женщин называли по-другому. Но сообразил, что это значит.

— Разве рассказать вам? — Ему хочется рассказать про свою удалу. Он смотрит на Леньку и Петьку.

— Расскажи, Павел, — говорит Ленька безразлично. Ему очень хочется услышать что-нибудь возбуждающее. Кроме картин в Эрмитаже и фотокарточек ему ничего не удавалось посмотреть. Но обнаружить свое любопытство стыдно.

— Чеши, Павел, — закуривает Петька.

— Ну, вот, у меня раз в деревне был случай. Это еще до армии было. Из города одна приехала. Соседи свадьбу играли. Они дочку замуж выдавали. И к ним родственники из города приехали. И эта Таня тоже, А соседи нам тоже родственники. У нас там полдеревни родственники. И мы все тоже на свадьбе гуляли. У меня сестра еще с утра помогать ушла. И я с ней. Они мне все: «Павлик сделай то, Павлик сделай это». И эта Таня тоже. Я и делаю все. А эта Таня такая образованная, высокая, она учительницей в городе работала. А потом она устала, и мне сестра говорит: «Павлик, ты покажи Тане село, сходи с ней на речку». И я с ней всюду ходил, все ей показывал. И она купалась даже. У нас в речке летом вода теплая. Она без мужа приехала. Муж у нее офицер, и его не отпустили. Ну вот. Я еще на речке все у нее рассмотрел, У нее фигура получше, чем у тех, что на фотках. А вечером, как все сели за стол, стали самогон пить. У нас в деревне на свадьбах пьют самогон. Так принято. И в магазинах водка есть, а все равно на столах графины с самогоном. Кто привык, он даже лучше водки. Сытнее. Только надо салом закусывать. А городские непривычные. И эта Таня тоже. А у нас любят, если кто из города, с ним чокнуться. И ей так плохо стало. Ее прямо в сенях стало рвать. У нас деревенские тоже блюют. Но они поблюют, и снова, как огурчик. А она вся побледнела и села на лавку. А я даже не садился. Они мне все говорят: «Павлик, Павлик, Павлик принеси, Павлик подай». И мне сестра говорит: «Павлик, ты отведи Таню в нашу баню. Пусть она поспит». И я повел. Она, помню, оперлась на меня, шатается и стонет. А там никто даже на нас и не смотрел. Там, как раз, самое веселье началось. Я знал, что они всю ночь будут гулять. Самогона еще два ведра. У нас пока все не выпьют, не угомонятся. И я ее привел в баню. Принес матрас, белье, уложил ее, раздел. Она была вся переблевавшись. Даже не сопротивлялась. Только мычала чего-то и спрашивала: «Что ты делаешь?» А я ей говорил: «Таня, это же я, Павлик». А потом только раз ее! И она даже ничего не говорила. Сначала по-

пробовала меня оттолкнуть, а потом только стонала. Я ее укрыв одеялом, чтоб она не замерзла. А через часик я ее еще раз. И так я за ночь ее несколько раз.

— А она?

— Ее потом еще раз тошнило. А потом она даже стонать перестала. Лежала и не двигалась, А потом я сам тоже укрывлся и лег спать. А у соседей все гуляли. Мне же все видно через дорогу. Я знал, что они только к утру все лягут. А утром я проснулся и снова к ней. А она закричала, и даже ударить меня хотела. А я говорю: «Таня, ты что? Ведь я тебя всю ночь сегодня». И она тогда перестала сопротивляться и заплакала. А я ей говорю: «Таня, ну что ты? Не плачь». А она только плачет и все говорит: «Туда не надо». Это она боялась, чтоб детей не было. А я все равно туда спускал.

— Зачем же ты туда? — говорит Петька со злостью. — Ведь она же тебя просила.

— А я потом ее посадил и сказал: «Потужься Таня, чтобы вышло».

— Ну и чем все кончилось? — вынимает сигарету изо рта Петька, Он не смотрит на Павлушу.

— А я потом вышел, сестру встретил; она и говорит: «Павлик, где Таня?» А я говорю: «Она в бане спит». И все. Она потом еще неделю жила. Но со мной даже не здоровалась. А если я поздороваюсь, посмотрит, будто не видит меня. А потом за ней муж приехал, и они вместе уехали. Я его только издали видел. Здоровый такой. Мне до него конечно далеко.

— Ну и вонючка же ты, Паша! Паук мохнорылый. — Петька бросил окурок на землю и растер его ботинком. — Так у тебя все бабы такие были?

— Да ты, чего, думаешь, если учительница, так в очках? Я тебе говорю, она не хуже тех. что на фотках.

Прозвенел звонок. Перерыв кончился. Не глядя на Пашу, Ленька пошел в подвал.

Учительница. Он крутил ручки станка, а перед глазами стояла школьная учительница по литературе. Он был у нее любимым учеником. Она любила обсуждать с ним в классе произведение какого-нибудь писателя, которое еще никто из школьников не читал, а однажды, проходя мимо парты, погладила его по волосам. Он был в нее по-мальчишески влюблен, и, когда ложился спать, она часто становилась героиней его любовных походов. Он ее давно не видел, и героини стали другими. И, вдруг, она снова ясно представилась ему. Голая. Раньше он никогда ее так не пытался представить. Хотя у нее была хорошая фигура. А теперь она сидела голая в бане на лавочке. Ее волосы, которые всегда были собраны в красивую прическу, были распущены и закрывали половину лица. А рядом с ней копошился мохнорылый паук Павлуша. Ленька тряс головой, чтобы видение пропало, а Паша все равно продолжал копо-

шиться. И вечером, во время ужина, Паша копошился. И ночью, так, что Ленька долго не мог заснуть. И во сне учительница плакала, а Паша тащил ее за волосы и говорил: «Таня, не плачь».

А через год Леньку призвали в армию. За этот год он окончил заочную школу десятилетку. После армии устроился лаборантом в НИИ, поступил в вечерний институт, и больше уже никогда плотно не соприкасался с этими людьми. Так, чтобы чувствовать себя одним из них. Теперь, общаясь, он знал, и они знали, — он чужой. То он был лаборантом. То инженером. То еще кем-то. Он иногда даже скучал по ним. С ними все было просто.

Однажды, гуляя вечером, он забрел на улицу, где был этот заводик. Подошел к освещенной проходной. И его узнали.

— Смотри, ведь этот парень у нас работал.

Ленька кивнул головой.

— Как у тебя дела?

— Нормально. А у вас как?

Ему не хотелось, чтоб его спрашивали.

— Расценки режут.

— Ну а народ как? Не разбежались?

— Да все тут.

— А Паша?

— Старатель? Да он и сейчас в цеху. Он раньше одиннадцати не уходит. Позвать его?

— Нет, — торопливо замотал головой Ленька. — Не надо. — Попрощался и ушел в темноту.

21 июля 1988 г.

Борис РУДЕНКО

/ Київ /



Зі збірки «Щодосвіта»

ПОБЛАЖЛИВІСТЬ

Оце і є та ніч, яка останньою прийде зі мною
в духмяний порух вже чимось неживої порожнечі,
і стане іншим все десь там... в мені...
Місяць стривожено здригнеться темною водою,
щось зчинить повинь... Це він прокинувся,
щоб вже й спочатку зібрати мої речі
та провести левадою до ставу... — більше нікому,
але йому я вдячний, як декому за сни видінь...
Ми обійдемо якнайдалше розлючену юрму
без побажань, вже близько стиглий час,
коли щезає поруч із вранішнім відлунням тінь,
що так завергла і з чогось ніби посіріла...

РОЗЩЕПЛЕНЕ МОВЧАННЯ

Восени... ніби з якогось подиву, не інакше, починаєш гадати
і мовби наразі відчуваєш, що нікому не уникнути скорботи
за полеглими... — Батьківщина... Вони — не мали потреби ждати
серед небажаних несподіванок... І ще: знали свою роботу...
Навіть важко уявити, і ось це якраз саме те, що подиву варте,
і ти переконуєш себе: я, мовляв, зможу, принаймні би маю...
Там завжди одне і теж, і бачив тих, хто мав потребу стати на варту
в мовчанні, в спалахах, таких нерозлучних з переднім краєм...
Я вас утруднюю?... Казали те несамовите пекло не забути,
і хто відійшов, нарешті тепер має безліч часу для самого себе, —
сталося не найкраще на галявині в перетлілій від усього руті,
але він не дуже і обтяжував, чомусь так здається, нічим Тебе...

З НЕВІДНАЙДЕНОГО

Щось відбувається, неможливо зрозуміти, куди нас отак несе
в безумстві мотивів і недоречних слів, і нібито продовжує тримати
байдужість до всього... Тут пополудні в рівновазі жажів плюю на все
та всіх! І нікого згадати, звичайно, не любити і просто так не знати...
Із несподіваних новин: казали — прийде ніч, в реальнім часі знову,
й мовби тебе залишить пелена і ти не зважишся покликати на поміч,
і це у жодному із кращих відчуттів... Багато ще чого, але я мав розмову
з припишклим звіра *голосом начал*: йому було байдуже — в цьому річ...

ЗАПАМОРОЧЕННЯ

Хто б я не був, але в деякій мірі мені
стало до наснаги витончено грати в перевтілення,
та *попіл* в сяючій безкінечності *імені*
і мої вуста огортало невблаганне полум'я
в освітленні поодиноких тіней в тремтінні, —
ми безкінечно оплакували нерухомі ріки
і змінювали ландшафти та повітря в ім'я
плем'я... Дахи неявиного, мури та пагіння цикламен, —
ми йшли до запаморочення, і жертвоне біле теля
не мало геть відношення до пастора,
хоч і з умови... (після смерті в *камінні*
скорботи з реальною поки ще водою землі...)

НАДВЕЧІР'Я

Дощ вже притишує свій сріблястий лет, падіння з листа на лист,
щелепи вужів обтанцювають не останніх на цьому місці жаб, —
ми виявились знайомими... Тепер він не тут і дуже модний альтист,
і мовби, переповідали, якимось чином, та параної про етноси, шваб...
Вибух її чутливості і моє моління лишитись мали б змінити існування...
Зрештою, ми в приємках знайшли наші надії близькими до раю...
Моя невидюща карма — в дійсності — не є за одним лише бажанням,
і що мені відтепер, скажіть, робити далі, бо я й насправді не знаю?..

У РЕЖИМІ ВПЛИВУ

Самотність? Можливо... — це такі жарти?.. Та й ти...
відверто... ні, ні, щось інше... я вислухав пісню сокола —
він когось таки втратив... моя черга роздати першим карти, —
нікому програвати, та і з'явився шанс вийти із кола...

Так ніхто мені ні разу дотепер не дав вибирати самому, — та й із чого... по іржавому цвяху рухалась оса в порожнечу... Нам частіше хочеться підкинути, а не підстелити солому, але й на це не вистачає розуму, а він би був так доречним...

ПАДІННЯ

Однак же щомиті мене обтяжує повітря в вологій течії, в проникливих і несподіваних — виснажливо — відчуттях несамовитого шаленства... Мимоволі повіриш, що ти нічий насправді в тимчасових по обидва боки *небуттях*... Не дуже добрі ознаки, коли нічого кращого від замість чогось ще... Видається стиснутим в обіймах яру рівчак, — в незнаних глибинах сьогодні чи завтра, несподіваний гість з хворою уявою намалює на місяці молодому брудних вовчат, і я не побачу, як зміниться її збентежене до страхів обличчя від усього з нею цього, так як не можу зрозуміти, що тепер відчуюю... Я колись дізнаюсь, хто вигадав це ціліше сторіччя за усі, і де і з ким він провів останні дні, перед тим як помер?..

ГОРИЗОНТИ ПОДІЙ

З відстані, перестояли осінні дні... аномально смеркає, прикликати б овець, що все ж відстали від отари... Босоногі горобці у заширокого не трохи вже струмка, — що ближчим часом з ними стане, нітрохи не вгадали... І ось що трапилось: нас наздогнав жадливий буревій, десь там вгорі, де *смерті чабани* похмурі та дзьобаті... Вона натомлено лежить і промінь не знаходить її вій, які я цілував тоді в давно десть там тепер порожній хаті...

ПРИХОВАНІЙ ПОДИХ

Версія №3: настільки пам'ятаю, він обожнював поетів небесного китайського середньовіччя, музику XVII сторіччя, був поведений на вишуканих жанрових витворах Утамаро, фанатично марив робити все, щоб ні про що більше не згадувати, — ще б пак! — його відображення спритно одягало ліловий ковпак, а на зустрічі він завжди, чудово пам'ятаю, приходив завчасно... Так-от, невже не зрозуміло, що йому не лишалось нічого, щоби мало завадити не вкоротити собі життя — такі справи... Словом, ми його вже знайшли без ознак дихання — та і чого чекати? — в найяскравіший день без прикмет сезону та відповідної дати...

БЕЗПРИТУЛЬНІ ДОЩІ

Зрозумійте як потрібно: мені байдуже до досвіду в маренні одинака, тим більше, коли гіпертермія налагоджує сприйняття *анабіозу*, — якою би не виявилась вдача з поглинанням, вона вже не буде така, яку б я пітніючи хотів бачити, повертаючись з дощу, потім морозу... Сухий укус степового вітру так і не зупинився на використаній сльозі, а нудота чимось ніби доцільно змінювала перелік відчуттів жаху... Я лізу все глибше в воду, з неї вилізаю, досхочу ласую чудовим смузі і починаю нікому не потрібний перелік горобців, що скупчились на даху...

НАМАРЕНІ ВИЯРКИ

Проростають вранці по виярках підземні ліси,
і я згоджуюсь, що свою кров до купи не зібрати
мені ніколи... Я там, де немає людей, в сузір'ї оси
і де, як би хто не хотів, ніким мені вже не стати...

Боже праведний, звідки оцих зіниць шалена ртуть
та наповнені питвом наднебесні вітри! — їх нема
серед безжальної отрути повітря, тут мруть,
але ти відчуваєш кроки серця і як кінчається зима...

ПЕРЕКОТИПОЛЕ

В рань ледь заповзає дим та заносять в амфітеатр траву
і вимоги на папері класного мисливця сапсана — їх таки до біса...
Мені несила змінити по-різному прожите, але, обіцяю, порву
все пов'язане в різних варіантах зі спогадами в пітьмі і звідси...
Ну і як тобі самому оті на Святій Землі африканські суховії
з колючим піском та соляною, що навсібіч, скупченою гіркотою?..
В тиші хтось очі в сльозах збирав під ні з чим не споріднені вії,
і здавалось, ще трохи і все закінчиться, як і колись, німотою...

ЗУСТРІЧІ

На жовтих, потім лілових та синіх *полях провидінь* —
тінь з-попід верб аж до самого лісу, і світла галявина...
Тераса, духмяний чай в чашці, скоріше вже пізньої Мін,
і відчуття, що нікуди себе подіти... І ще ковток вина
з далекої та незрівняної країни, де лози від вулкану
і де скам'янілі гнізда ластівок на крейдових скелях...
Що ще мені мало би бути потрібним, щоб загоїти рану,
та позбутися снів з чорними хрестами на стелях?!

НА ТЛІ НЕБЕЗПЕЧНОЇ МИТІ

Одного разу я, невідомо з яких причин, написав, що обов'язково й назавжди залишусь в меланхолії псалмів, в астральних провалах їх, — там звуки не все й абищо... Потім жив ще, про щось таке мріяв і жадав все як вмів, а може, мені уже й це, і тоді, не пішло аж ніяк і відразу в сезонах, де з буття й небуття мабуть всім і тобі взагалі все ні до чого, але неіснуюча тінь перетнула, і так щоразу, щось якраз в тому місці те, що давно не потрібно землі...

НАШЕСТЯ МЕТЕЛИКІВ

Спочатку вони нагадуватимуть блакитне тло хмари, потім віддадуть шанування вітрові, тому, який спізнився, і — полетять... і — у віртуальнім відриві їх закохані пари через деякий час щезнуть... я дивлюся на них і дивлюся... Вони замерзнуть, не спасуться в спокусливім холоді сонця на паромній переправі у відтворенні позачерговім... На білих плямах ялівцевих гілок, на навіл розколотій колоді залишаться тьмяні ознаки життя в прообразі новім...

СНІГИ В ЛИСТОПАДІ

Жовті ластівки березового листя, налякані снігом, весь час дивляться в очі зіркові без кольору й вій, — те, що би мало закінчитись досі ніби небаченим бігом серця і вітру, нічим не закінчилось, але ти не радій...

На просторі — на північ — від полів та раїв кладовищ, де трухлявіють надписи, ті, що без дат і неповних імен, в тому небі, де ще та порожнеча і більше нічого і вище, тобі теж, як би ти не хотів, не стане ні крові, ні вен...

ЗУСТРІЧ

І все це, вірите, трапилося ранком та при особисто мені... З коралових глибин мрійливо піднялась якась прозора риба, мабуть, щоб на свої очі побачити світло та пережити воду, потім перетнути своїм тілом, наче лезо, мою засмаглу шию і подивитись, а чи знайдеться раптом хтось з тих, хто її зашиє й поверне пана з готелю SUNRISE Diamond Beach Resort, з виду

не молодого, до життя з номера, який легко запам'ятати, —
ось приблизно так закінчується існування за ознаками неозоре...
Залиште мене, ні про що не питаєте, дайте хоч би якусь мить
побути із жвавими перепілками на гречаній, уже в отаві, стерні...

ПРИКРОЩІ

Яким би ми і коли не уявляли всяке своє існування від того
досить сумнівного початку, нам не вистачить ніколи й нічого...
А мені би хотілось залишитись поетом Святого Письма і снів,
чужих і своїх, та одного разу попрощатись без сліз і слів...

В ІМЛІ

Панує тиша... в моєму не раз вже
подертому серці,
де ще можливе чуже небуття
із моїх переселень,
і місяць в однім черевикові поміняє
нарешті гроші на прощу,
я — залишусь, ким був, в перевернутій
лінзі жаги і злиття,
трохи вірячи в світло, в минущість
і ким-то віднайдені моці...

СНІГИ

Хурделить... Куди оком не кинь, —
наче з прообразів суду і потурань, —
мете; мені ввижається чудовий кінь
і ще з дитинства за вікном герань...

Десь у *залишенім* проступлять риси
якоїсь нової проміж усіх примари,
в плямах та з вухами гірської рисі,
яка вже тут як рік шукає собі пару...

Замерзло все, пряха наснилася вівці
в хліві, де віє м'ятою та чебрецем, —
він кликав усіх до себе, і на його лиці,

як у димнім дзеркалі озер ранкових,
мерці пройдуть, порізно, манівцем
у пошуках земель, і нових і не нових...

СПРАГЛИЙ ПОГЛЯД МЕРЦЯ

Він прийде за мною, бо він же один із вас,
його неможливо було не впізнати між вами...

В присмерки погляд мій піднесе Волопас,
щоб він засвітився під ніч над усіх головами...

І залишиться присмеркам неземний краєвид:
тьманий, понурий, дуже чужий, непривітний...

І спуститься дух порожнечі в образі серця від
неба, щоби в мене вдихнути щось непомітно...

НЕВІДОМИЙ В ОСІННІХ ПРИСМЕРКАХ

Спадають присмерки, мурахи натхненно запалюють ліхтарі,
потроху тікає з обрію остання із покинутих назавжди осель,
продовжує стовбичити не таке вже й забруднене небо вгорі
над поодинокими димарями, в замиранні спинена карусель...

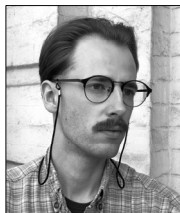
Доценту вигоріли, що й так перевелись, запахи осені для усіх,
Дощ, — по порі, — то набігає, то відступає, топлячи світлий дим...
Невже ви ще й до сих пір не зрозуміли, що онде не в собі псих
і є мною, дуже й дуже вже у віці, пригнічений, але менше з тим...

ОСІННІ ЛИХОМАНКИ

Ця *минущість* зі мною досягне вкритих осіннім листям узлісь,
нагрітих полум'ям променів по каменях та гаєм з молодих буків
в сум'ятті знайомому, й дуже вже, для живих істот просто скрізь,
тому мої не упокорені страхи розшматують наймолодші із круків...

Темрява невідворотності відвертає очі — і це кінець приреченого,
що був колись блазнем на тріумфах тих, хто оці місця спопелив, —
він виявився останнім, кого не прийняла земля хутору тоді увечері,
й тільки зі своїх міркувань, бачите... Всю цю ніч дощ в шелесті лив...

Та невже ж не страхіттям є весь цей перебіг посеред сліз та знади,
коли виглядаєш ніби з безодні для обдурених, перевтіленим зразу
щодо форми та замість в сутності слів пророчих... Тільки чого ради
на землі був?! Забілів пагорб, зблиснули квіти — раптом все й одразу...



Влад ДМИТРИЕВ

/ Киев /

* * *

до зорь белить вороне
под небом свой наряд.
лысеющие кроны
баюкать фонарям.

вдоль улиц незнакомых,
где сонной полосой
трамвайное исконно
стучится колесо,
наматывает обруч
золу прогорклых лет —
не пыль столбом, а горечь
теряет рыхлый след.

* * *

декабрь. дождь испариной
вощёнку распекает.
застыл туман беспамятно —
теперь зима такая.

стволы кренятся качкою.
разлитые кругами
зеркала перепачканы
тяжелыми шагами.

плывут ряды лоскутные.
как ссадину бинтами,
пугливо шеи кутают,
зашорившись зонтами.

белы дворы и улицы,
рассвет с закатом спарен.
простишься и заблудишься
в туманности испарин.

* * *

Будто начинку дешёвой хлопушки
Зимней потехе вослед,
Ветер снимает пахучую стружку,
Сыплется яблочный цвет.

Замертво оземь ветвей облаченье,
Сердца тревожнее стук,
И угасает бывшее свеченье,
Вкрадчиво, по лепестку...

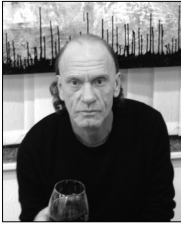
* * *

ты в милой шарфу старой кепке,
истомно прислонившись к стенке,
спиною согревала мрамор.

двоился дождь в оконных рамах.
нет, лили слезы витражи.
неоновые миражи
в очах раскосых отражались,
от сквозняка друг к другу жались
портреты теней долговязых.
надеждой новой раз за разом
на каждый гром, как на последний,
шептали детские под сенью
их собственные голоса,
и таяли на волосах
холодных рук прикосновенья,
и тени рук прекрасно верных
каймила неги полоса.

* * *

Унёсся окрик твой за окоём.
Лелея отрешённое молчанье,
Единственно понятная тоска
Чернильною росой лепестка
Кому рудой клянётся, а кого
Агатовой целует на прощанье.



Артур НОВИКОВ

/ Киев /

СЛЮНА И ПЕПЕЛ

«...овес нынче дорог»
Феофан Мухин

Искусство — Калибан и улычиво до оскала, особенно когда его пытается приручить цивилизованный дурак. Оно единственный дикарь, сохранившийся от палеолита до ненаступившего завтра и, в общем, как *homo ferox naturalis*, дресс-код сопутствующей эпохи ему до милой девушки Фени. В свою очередь, все не выходящее за общепринятое, а значит приличное: никак не-искусство.

Соцреализм и Сальери мне в том порукой, Luc Besson и певец Вопо скрижалями Моисея. Наше отличие от предшествующих в единственном: мы не производим классику. Классика, изделия, апробированные временем для усвоения потомкам; а после нас ни эпох, ни наследников, возможны разве подонки. Скорее придут новые трицератопсы и пережрут, и перемесят все в гумус мощными когтистыми лапами, и останется разве пленка фирмы *Свема* с фильмом *Щорс*. Динозавры *Свему* не едят, а в жестяных коробках она и апокалипсис переживет.

Сместим позицию взгляда на обратную перспективу.

С каких-то времен, хорошо не сразу от граффити пещеры Ласко, искусство стали проводить по графе *гуманизм* с вариациями на *актуальность*. Надо ли говорить, что у слов *талант* и *гуманизм* общего не больше, чем у быка с Буцефалом? Да не про то мысль.

Европейский гуманизм Просвещения воспитан Тридцатилетней войной, или же просто вылутился из нее подобно радостному цыпленку. Три повивальные бабки романтизма: Робеспьер, гильотина — Бонапарт. Вторая, впрочем, скорее ложе, чем акушерка. Бочка крови, ложка пороха, черпаем треуголкой и на мундир. Что в результате? — Бонапарт на Аркольском мосту, князь Андрей в мыслях о небе, а дальше успевай только подрамники загигать. Ибо дальше Гойя и Жерико с Делакруа, Свобода, ведущая народ прямо к Рас-

стрелу повстанцев в ночь на 3-е мая и Стендаль, сбежавший из Москвы для обморока во Флоренции. Мясорубка плодит Муз, когда было иначе?

Варево остывает, на первое свежайший импрессионизм, пробуждение Золя и Бодлера, а там и Лондон вновь Тосканой грезит.

Но, Аполлон милостив, и вот август 1914 — ноябрь 1918.

...прерафаэлиты после окопов и госпиталей 1918-го были бы смешнее вшей и испанки, Ипр сменил палитру, Верден — способ нанесения красок на холсты.

Восхищает только то, неувиденное по сю пору, Отто Дикс куда поэтичнее расчетливого парня Габриэля Россетти.

Искусство — не гуманно. Удивительно что настолько ясная вещь, пожалуй, все еще остается непонятой. Оно человечно, следовательно, вся натура сапиенса при нем. В войне просыпается не зверь, но человек и свое новое человеческое он бегом конспектирует в «Прощай оружие», немецкий синематограф «Метрополиса» и «Носферату», а музыку русских балалаечников на французских бульварах держит на десерт.

А вообще можно бы конечно эпичнее, все же эпос создается огнем и сталью — но: *Огонь* Анри Барбюса оказался самой нечитаемой классикой post-war-one; что наталкивает: в разрывах пласта существования именно эпосы становятся архаикой. Классику они увлекают за собой.

Есть подозрение, что кроме Великой войны, еще Великий Немой (значение которого первыми отметили большевики), определил, как стиль и язык Хэма, Скотта и Джона (*Дос Пассос*), так тонабор и манеру холстописи Клее и Нольде, Кирхнера и Кольвиц.

Радуги, искры и молнии всё нелинейные вещи. Обух второй мировой с Хиросимой как крещендо, in omnia помог Де Сика укорастить велосипеды, что в свою очередь через Рим — открытый город, впустило в мир итальянский неореализм. Забавно, но менее громоздкие вещи нашей хроники дают всплески силы небывалой. И вот Алжир взводит курок новой Франции, выстрел — Камю, Сартр, залп — Нантер и Кон-Бендит, а там Трюффо и Новая волна, за дымом Gauloises и мир переменился, Бобур квинтэссенцией.

Вьетнам, воистину второе дыхание века. Четыре "В", четыре музы и В-52. Литература взлетела из гнезда кукушки, Вудстоком посыпался рок, кино стало новей чем у Люмьеров, а изобразительное искусство просто выплеснулось в окружающую среду, с тем, чтобы никогда не вернуться обратно.

Сузим взгляд на уровень зрачка.

Планете не везет с 14-ми годами любого века, разница в охвате по широтам и продолжительности чреворождения нового гомункулуса в смысле мирового лица. У каждого столетия своя тотемная харя —

— и вдруг —

— «*Аральское море исчезло по вине человечества*». Случайная цитата ни к селу, ни к городу, но вот! — как прекрасно эстетикой пекла/песка/пепла — иссохшее морское дно! Невероятно! Что не исчезает по вине человека? — да ничто. Даже Помпеи намеренно выстроили под Везувием, вулкан — и voilà, инсталляция готова к презентации. Статистов, конечно же, никто не предупреждал, но таково все римское искусство. По этим же граням красоты проходит видеоряд донецкого аэропорта 2015 в комбинированном арт-объекте *Поединок* Олега Пинчука; параллельные кадры от 2012 выглядят эскизами и набросками.

Вообще говоря, параллельное зрение двумя независимыми зрачками-полушариями, двумя сосками налитых Венер Палеолита возможно одна из акциденций проекта. Дуальность наяву, stereolife от двух колонок, Запад vs Юг, Север vs Восток, в каждой своя гамма и только пианино — Ахав, равно поглотивший оба суб-пространства арт-реальности. Станный вид у пианино. Кадавр, жрущий туфельки(?), людей и звуки, алтарь незнакомого Баала и одновременно старый клоун — неудачник разорившегося цирка. Контроверзой к нему кресло от Людовика Капета, недавно убывшего проводить гильотину. Зеркала оправу сменяют, отражение неизлечимо.

...колледж снятой обуви Collège de Chaussures Abandonnées, школа мусорных тапок, привратническая в старый добрый Шеол...

А также: мотыльки сложили крылья? — души, не долетевшие до звука?

Рассмотрим:

Аэропорт Артура Хейли, *Томминокеры* Стива Кинга, кто читал и оды воздухоплаванию от Ричарда Баха и Антуана Сент-Экса. Аэровокзалы вообще мистические зоны, в них большинство заходят как в церковь с горним трепетом свидания с небом. Ожидające, что перед исповедью, встречающие, что после причастия, атеисты не случаются даже среди бизнес-класса и матерых туристов. Аэропорт, это уход в незнаемое. С бумажной иконкой — билетом.

Воздушная гавань имени композитора подана балетом имени Прокофьева, *Танец рыцарей* из Ромео и Джульетты. Циклопично господа! — классика не объясняет противостояние в донецком аэропорту, зато прекрасно иллюстрирует все жертвы, не принятые искусством. Ибо их не было, они не успели. Ушли в эфир за нотными знаками, мазками на холстах и кадрами Потемкинской лестницы в *Броненосце* Эйзенштейна. Аэропорт суть капище, а художник всегда немного волхв. И то, что ни в каком мареве не читалось в 14-м году, объяло плоть в 22-м. Беглый год сбегавшей иллюзии или воссоединения с Ремарком, и мы, сокамерники по биографии наблюдаем груды тапочек в прихожей Исхода на Запад. Или новую Галату по Булгакову.

Конечно, бег О. Пинчука отличается от бега М. Булгакова, больше быта, меньше пафоса, что поделаешь, и времена нынче не дворянские, пост-кибер-панк на дворе. Что не отнять, так многозначности исходного замысла и его временной интерпретации, время идет, а смыслы только нанизываются бараниной на шампур.

Ca ira! означает Даешь! — Термидор, Аврора и 1968 идут с нами синкопом.

И здесь господа еще вот что, из сегодня наблюдая ставшее. Эпитафия на прокорм искусству и жертва не сакральная, но пищевая. Привычная галерейная богема выбита из насиженных плюшевых мест и уносится разноцветным потоком. Вчера не будет никогда, когда завтра, неизвестно и Мнемозине с Каллиопой, а унесенные таланты и поклонники пойдут на овес грядущим Пегасам. Все же будущее читаемо — трон незбылем, пасть искусства с зубами — клавишами открыта, гармонии, как и симфонии не избежать.

Легенда, как одно из смысловых прочтений: рассказ разведчика о выдуманной биографии, ergo: повесть о событии, не имеющего связи с настоящим.

Таким образом легендарные битвы — все битвы которых не было, тоже о трагедиях.

Достоверны Помпеи, о них никто не писал, всех репортеров накрыло в Геркулануме, а некий Плиний полагался уже на слухи.

Что до сражений и побед, то они состоялись уже в исторической памяти, благодаря таланту безымянных и именитых летописцев.

Dixit, любое бывшее никогда не служит поводом к легенде, он в ней самой и определяется только текущей необходимостью заинтересованных бенефициаров мифа. Для примера возьмем хоть Гая Юлия, хоть Александра сына Филиппа, хоть Ким Чен Ына. У всех троих папаши — боги, причем у последнего — прижизненный и handmade, что ближе понятному толпе вульгарному реализму.

В искусстве легенда становится фабулой.

Автор назвал свой проект *Поединок*. Поединок между кем и чем? Трупом и Смертью, Младенцем и Колыбелью, Вечной Революции с Извечной Деградацией? Мне, как постороннему гладиатору, все же видится здесь не столько дуэль, сколько пролог совокупления. А результатом зачатия обычно является творение. Ergo? Нужно делать фильм. Полнометражный художественный фильм предметов и музыки. Человек в кадре не нужен. Человек свое дело сделал.



Андрей ГУЩИН

/ Киев /

Из цикла «Военные тетради»

* * *

Горит закат суицидальный.
Парк ошетинился брутально.
Полупустая Оболонь.
Снежинка села на ладонь.
Спешит банкир задля наживы,
И люди живы, живы, живы!
Ещё раскаты далеки,
Туман над поймою реки.

* * *

На Оболони блокпосты.
Уже машины проверяют.
Округа бёдрами виляет.
Горят под Ворзелем мосты.
В аптеку очередь стоит,
Но нет чудесного лекарства.
Злосчастный лечится ковид,
Но нескончаемы мытарства.

* * *

Расти большой, как этот тополь.
Гляди, как вымахал красавец!
В снегу трухлявый Гелиополь.
Как от любви твоей избавлюсь?
Под завывание метели
Ночному гостю сладко спится.
И жарче дизельной котельной
Под боком красная девица.

* * *

Луна во мгле, как глаз подбитый.
Под ветром клонятся ракиты.
Морозом скован бурный плёс.
Тяжелый снег следы занес.
Закрыты бары, рестораны,
Торговый центр на запор.
И в камуфляже ветераны
Перегораживают двор.

* * *

...чемпионом был
По сдаче бутылок.
В пункт приема
Ходил ежедневно.
А рядом с пунктом
Адмирал проживал.
Рассказывал детям байки,
Не будучи адмиралом.
Куксов закрашивал седину
Народным средством
С зеленоватым оттенком.
Пил горькую, играл на баяне.
Дамы с собачками стали
Худенькими старушками
В тёмных гимназических платьях.
Директор по прозвищу «Глобус»
Срубил глицинию.
Чем она ему помешала?
А школьное здание обветшало,
Но изменилось мало.
Только новые окна вставили
Да застеклили балконы.
Говорят, в подсобке у завуча висят иконы.
Старый кедр, видевший августейших,
На прежнем месте.
В столовой — сосиски в тесте.

* * *

Весна куда как хороша —
Сплошной туман и канонада.
Дойду до почты чуть дыша.
Она закрыта — так и надо.

И поделом мне эта весть,
Точней, отсутствие искомой.
И блокпосты, и город весь
До дрожи нервной незнакомый.

* * *

Бегу окольными путями.
Сто блокпостов уже проехали.
Со мною кумовья с зятьями.
Сплошные ямы и прорехи.
Как головня, дымится солнце,
Грачи исследуют обочины.
Самаритянка у колодца —
Ассоциации просрочены.

* * *

В Миннесоте весна.
Остро пахнут еловые шишки.
Бродят соки под шершавой корой деревьев.
Люди становятся внимательнее друг к другу.
Выгоняют старые форды и кадиллаки на первые пикники.
Вприпрыжку бегают дети.
Носятся чау-чау.
В Ровно тоже весна...

* * *

«Гибель богов» Висконти.
Боги воскресли.
Сошли с небес
И катаются по весенним лужайкам на белых гольф-карах.
Свежий воздух пьянит!
О, эти широкие женские плечи,
Узкие бедра, твёрдые подбородки!
Все шепчет о юности, ненависти, борьбе!

Юрий БОБРОВ

/ Мюнхен /



ТАЛОСТЬ УСТ

* * *

Горит настольная лампа.
Снег тает...
Юность моя недопетая!

* * *

Не все стихи — молчание.
И тишина во мне
Не признак ли огромного ума?

* * *

Маме

Закончился праздник.
Ты в море цветов,
Ты в запахе снов.
Я подарю тебе ещё
Один цветок —
Серебряную розу.
Ты, как всегда,
Бодра, свежа.
Как та весна
С охапкой роз.
Сегодня день 8 марта.

* * *

Я рождён для страданий,
как муха — для варенья.

* * *

Богами и ветром обдуваемые церкви.

* * *

В компании очень странных ундин
я восседаю в шезлонге один на балконе.

* * *

Трагически-весёлый образ
современной творческой интеллигенции.

* * *

Я сегодня устал,
Как огурец на грядке.

* * *

Ливень всюду идёт, птахи поют,
создают мой визуальный уют.

* * *

Тонкость женщин во взглядах на талость,
остальное — игра и усталость.

* * *

Он попросил одну, я дал ему две:
я решил быть щедрым
и после ощутил странный холодок в спине.

* * *

Лов рыб отменен из-за штормовой погоды,
это напоминает мне мою жизнь.

* * *

Её бездонные голубые глаза,
не хватает лишь росы на колготках и туфлях.

* * *

Солнце утреннее в Мюнхене зашло,
время глядеть на листву,
начинается новый концерт,
исполнители — птицы на дальних деревьях.

* * *

Довольно светло на душе,
летают ангелы во сне.

* * *

Это детские страхи взрослых волков.



Никита ВЕЛЬТИЩЕВ

/ Акко /

* * *

Послезавтра апрель, а сегодня вернулась зима,
И небо оцарапало мой дом.
Рабочие на стройке напротив проснулись впотьмах,
Будто стая оранжевых ворон.

Это не ядерный пепел, это снег такой здесь:
Не бойся, можешь ловить на язык.
Завыла собака: нет ласки и нечего есть,
Только снег и рычать на чужих.

Послезавтра апрель, но и в мае тут не растает.
Всё равно окна открою:
Давай греться вдвоем и, пока еще можно, станем
Любовь называть любовью.

* * *

Я не закрыл окно,
Чтобы дождь полил цветы,
Чтобы дождь полил меня,
Чтобы меня не увидел никто,
Не учуял никто
Таким, как вчера,
Грязного пса.
Дождь решит сам,
Дождю видней,
Дождь живёт всего один день,
Значит, ему некогда ошибаться.

* * *

Однажды тронул я кладбищенскую стену,
А через десять лет она упала.
И отгремел, сказала мама,
Последний раз трамвай
(Боюсь, чего касался я еще).

И хочется поверить, что у женщин,
Которых оставляю здесь,
Жизнь сложится получше,
Чем у родных им улиц, все ползущих,
Куда — Бог весть.

Давно поэт смотрел, как сносят церковь,
Уже тому с полвека,
А досмотрев — уехал.
Сегодня, кажется, не рушат ничего,
Но что-то точно тут случилось,
Хотя не допытаться — что.

* * *

Половина страны мёрзнет в ожидании заказа,
В теплую сумку сложив коллективное прошлое,
Любовно от двери до двери доставляя заразу,
Столькими в сердцах на места эти прошеную.

А повезет, вырастут и станут таксистами,
Нет — сотрудниками службы безопасности банка,
Этот лифт по горизонту так ровно выстроен,
Что не заставших его, по совести, жалко.

А ты, моя родина, доставку до двери
Тоже, наверное, хочешь?
У тебя есть пятнадцать минут, чтоб примерить,
Но пять — чтоб с вещами на площадь.



Анна БАГРЯНА

/ Софія /

ОСТАННЯ РЕЛІГІЯ

(митці з роду Бориспольців)

«Мистецтво —
остання релігія, яка лишається нам
в епоху, коли все руйнується».
Мішель де Гельдерод

Рід Бориспольців лишив по собі спогади ще з сивих давен. Хоробрих козаків війська Запоріжського знали й поважали за силу духа та розум. Кілька поколінь поспіль вони входили до числа козацької старшини, були сотенними та полковими писарями, а у ті часи козацький писар був чи не найбільш грамотною та освіченою людиною у своєму осередку. Після горезвісної поразки гетьмана Івана Мазепи у боротьбі за незалежність України для козаків настали скрутні часи. Багатьох було знищено, решту — російський імператор Петро I, аби уникнути нових заворушень, задовбував різноманітними привілеями. На щастя нащадки Бориспольців вижили у тій борні, хоча так званий «козацький замок» у селі Гоголів Київської області, де вони мешкали, війська Петра I знищили дощенту.

Саме нащадки славетного козацького роду і подарували Україні двох непересічних митців.

Платон Борисполець

Платон Тимофійович Борисполець народився 1798 року в містечку Гоголів Остерського повіту Чернігівської губернії (нині село Гоголів Броварського району Київської області). Батько його — Тимофій Никифорович Борисполець здобув вищу освіту у Петербурзі, а потім працював губернським прокурором у Житомирі, Херсоні та Мінську, свого часу був відомим громадським діячем.

Свою кар'єру Платон розпочав військовим. Виховувався у другому кадетському корпусі в Петербурзі, з якого у 1823 році був випущений офіцером артилерії. Відрізняючись надзвичайно діяльним характером він крім своїх прямих обов'язків ще служив при арсеналі. Створив креслярню при артилерійській школі, де безкоштовно читав механіку

та готував малюнки зброї. Незвичайною діяльністю Борисполець звернув на себе увагу великого князя Михайла Павловича і, навіть, був особисто знайомий з імператором Миколою I. Таким чином, Борисполець міг би зробити блискучу кар'єру військового, але все це він приніс у жертву мистецтву. Незважаючи на свої багаточисельні заняття, відвідував, як вільний учень, класи Академії мистецтв. Вивчаючи малювання та живопис уривками все ж таки зумів досягти великих успіхів: за малюнки з натури він одержав у 1837 малу, а в 1838 велику срібні медалі Академії, а за картину «Артилерійський парк» 24 вересня 1836 року — малу золоту медаль.

Успіхи Бориспольця привернули увагу керівництва Академії і його зараховують до художнього класу батального живопису професора Заурвейда. А через деякий час Борисполець переходить у клас Брюллова. Вимоги до своїх учнів у професора були високі. Він говорив, що в його класі може вчитися лише той, хто талановитий, кому він може бути корисний. Згодом молодий художник увійшов у коло добрих знайомих Карла Павловича. Один із сучасників Василь Плаксін свідчив: «Пам'ятаю я вечори проведені на антресолях квартири Брюллова, де збиралася молодь. Тут бували Михайлов, Корицький, Рамазанов, Капков, Борисполець, Тімм. Тут же бували Кукольник, Глінка». У цей час Платон знайомиться ще з одним учнем Академії Тарасом Шевченком. Платон і Тарас згодом стають найщирішими друзями. Що ж приваблювало молодого Тараса у старшому за нього військовому офіцерові? Може те, що Борисполець був дуже оригінальною, широю і товариською людиною? Микола Рамазанов згадував про Платона: «У нього було так багато енергії і сили, що нерідко він захоплював своїм прикладом набагато молодших за себе. Молодеча доброта його серця увійшла між нами у приказку: добрий, як Борисполець— говорили ми, намагаючись визначити у комусь іншому найвищу ступінь доброти. Він завжди ладен був віддати останнє ближньому своєму. І не лише для того, щоб бути корисним, а просто бажаючи принести йому задоволення».

1839 року Борисполець фактично почав життя з початку. Будучи полковником, вийшов у відставку заради того, аби ще наполегливіше зайнятися малюванням. Його мрією було завоювати велику золоту медаль, щоб, таким чином, одержати за рахунок Академії відрядження за кордон для удосконалення малярського хисту. Конкурував він двічі: перший раз подав картину «Александр Македонський усмиряє Буцефала» (1841), вдруге — «Образ Воскресения Христа» (1842). «Художественная газета» у вересні 1841 року писала: «В Академії мистецтв щороку буває після загальних зборів виставка, її знайдете і нині в залах Академії. ... Назвемо лише імена художників, що подають своїми творами гарні надії... Тут знаходимо роботи Капкова, Шлейфера, Шевченка, Максимова і Бориспольця».

Остання робота завоювала велику золоту медаль, але статут Академії визначав вік кандидатів, а Борисполець був старшим належних років. Замість поїздки за кордон йому запропонували звання академіка, від якого той відмовився (Русский биографический словарь). Поїзду за кордон художник вирішив здійснити за власний рахунок.

Одержати велику золоту медаль і відрядження за кордон прагнув і Шевченко. Але його картина «Циганка-ворожка» була відзначена лише малою срібною медаллю. Можна припустити, що Шевченко мав надію виїхати за кордон разом із Бориспольцем. Підтверджує це й лист Якова Кухаренка до Шевченка, де є таке питання: «Чи ви вже їздили з Бориспольцем на білому коневі в дріжках до чужоземців?». Отже, Яків Герасимович знав про те, що саме з Бориспольцем Тарас мав їхати за кордон для удосконалення в малярстві.

Дружні почуття зберігав Шевченко до Бориспольця впродовж усього життя. Ось уривок листа до Михайла Лазаревського, датований 16 квітня 1854 року: «...сини-соколи твої, де вони тепер обертаються? Поцілуй їх, друже мій, за мене, скажи їм, що се вас цілує той старий дядько, що з вами цілувався колись у Царському Селі. Добре було б, якби згадали. Та ні, не згадають. Малі були, забули. То ти їм нагадай, коли сам здоров згадаєш, як ми з Бориспольцем з вами прощались, не доїжджаючи александрівського корпусу».

Для того, щоб назбирати потрібну суму грошей для подорожування Платон Тимофійович почав працювати ще інтенсивніше. На замовлення голови Товариства заохочування художників він малює велику копію картини «Образ Воскресения Христа», що її виставляють потім у Почтамській церкві столиці. Для неї він виліпив за власним ескізом і розкішну раму. Рязанському поміщику Шувалову намалював 28 невеликих образів. Окрім цього одержав грошову допомогу від Товариства заохочування художників.

В цей час Борисполець-художник процвітає. Творча еліта столиці часто проводила вечори на його квартирі. За свідченням Миколи Петрова були тут і Кукольник і Плетньов, і Гоголь, і Шевченко, і багато інших.

Петро Олександрович Плетньов (1792–1862), про якого тут йдеться, був ректором Петербурзького університету. Історик російської літератури, сам літератор і редактор журналу «Современник» протягом 1838–1846 рр., він був одним з найбільших друзів Лермонтова, Даргомижського та Бориспольця. Так, наприклад, звертаючись із заслання у листі до Михайла Лазаревського в Петербург, писаному 20 грудня 1847 року Шевченко прохає: «Плетньов повинен мене знати, тільки нагадайте йому Платона Бориспольця...»

Так от, молодіжні зібрання присвячувалися творчому проведенню часу та пустошам. На стінку вішався великий аркуш паперу, і кожен із зав'язаними очима мав поставити на ньому свою помітку. Потім розігрувалася лотерея. Той, кому діставався перший номер, з'єднував ці помітки у малюнок із двох — трьох фігур, але обов'язково із якимось сюжетом. Той, кому вдавалося здобути перемогу, — «перещеголять своїх собратий в изобретательности», — одержував від господаря приз (баночку паштету і пляшку сухого вина).

У Бориспольця було прекрасне почуття гумору. Микола Рамазанов згадував, що посеред кімнати у нього висіла чайна ложечка з написом: «Мешает всем и никому не мешает».

За вечерею друзі читали нові твори, співали пісні, влаштовували карикатурні танці з оригінальним маскарадом.

І ось, у 1843 році, Платон нарешті виїхав за кордон. Спочатку до Франції, а звідти у 1847 році — до Італії. Під час своїх закордонних подорожей Борисполець багато малює, копіює картини великих майстрів. У Парижі художник намалював картини «Відпочинок святого сімейства», «Королівський міст», «Святий Андрій Первозваний» та багато інших. У Венеції він взявся за копіювання Тиціана, полотна якого знаходились у церкві святого Іоанна і Павла. Під час роботи над картиною «Смерть Петра Домініканця», художник страждав від холоду і дуже слабкого освітлення. Від цього у нього почав псуватись зір, а потім одне око зовсім перестало бачити. Лікарі радили йому відмовитись від малювання, щоб не осліпнути зовсім, та Платон краще б помер, ніж перестав малювати. Робота затяглася, заробітки зменшилися і Борисполець став бідувати. Нарешті, у 1850 році копія була закінчена і відправлена у Росію. Академія мистецтв схвалила її і оцінила у дві тисячі карбованців.

Але Борисполець до Росії не повертався: частково із-за надії вилікувати за кордоном очі. Та сталося інакше. До 1852 року він осліп майже повністю і з того часу помер для мистецтва.

У 1855 році йому «по височайшому соизволенію» Миколи I було вислано тисячу карбованців для повернення до Росії. Та цими грошима Платон Тимофійович скористався інакше. Будучи майже зовсім сліпим, художник значну суму витрачає на купівлю старовинної української кобзи — з метою повернути її на Батьківщину, і разом з нею їде до Варшави, оскільки на повернення до Петербургу йому не вистачає грошей. У Варшаві йому трапляється катафалк, який перевозив тіло померлого в Петербурзі португальського посла, в ньому і повертається сліпий митець разом з кобзою на Батьківщину.

Отже перша закордонна поїздка Бориспольця була досить тривалою — дванадцять років.

Наприкінці 50-х років Платону Тимофійовичу призначили пенсію з військового відомства, а Академія удостоїла титулу «Почетного вольного общника». Ще кілька разів він звертався до паризьких лікарів, але результат не радував. Востаннє він поїхав туди у 1880 році цього разу лише з метою лікувати очі. Та сталося інакше. У Парижі Платон Тимофійович загинув, потрапивши із-за незадовільного зору під колеса карети. Там його і поховали. Отак трагічно слалася доля талановитого художника.

Багато робіт митця, очевидно, втрачено. За архівними документами нараховано з півсотні його значних полотен. Але про місце зберігання більшості з них даних немає. У Києві знаходиться картина «Проповідь святого Андрія скіфам» (1847), яку він подарував великому князю Олександру Павловичу, а той згодом подарував на 100-річчя Андріївській церкві і яка й нині висить праворуч перед олтарем церкви, окрім неї ще дві акварелі Бориспольця «Пейзаж» та «Жандарм», зберігаються в Державному музеї Т.Г.Шевченка. У Петербурзі (Державний російський музей) — картина «Кораблі в бухті при світлі місяця». Копія з картини Тиціана «Муки святого Петра Домініканця» —

у науково дослідницькому музеї Академії мистецтв Росії. Портрет О.С.Даргомижського — у Російській Державній публічній бібліотеці ім. М.Є. Салтикова-Щедріна. Картина «Мадонна» — в Пермській художній галереї.

Через три роки, після прибуття в Росію Бориспольця, до Петербурга повертається із заслання й Тарас Шевченко. 24 квітня 1858 року він занотував у щоденнику: «Предположения мне никогда не удаются... Сегодня, например, я располагал зайти в Академию посмотреть выставки, и в заключение к графине Настасье Ивановне. А случилось вот как. В первой зале в Академии мне встретились Зимбулатов и Борисполец, мои старые и искренние друзья. Наскоро обошли мы выставку, отправились к Зимбулатову и время до обеда провели в воспоминаниях. Я совершенно доволен неудачею».

А їм було про що згадати.

Віталій Борисполець

У юні роки він писав традиційні римовані поезії. Та згодом молодого поета починає сковувати римування та ритміка, його думки потребують свободи повної і беззаперечної і він поступово наближається до написання вільного вірша — верлібру.

Лауреат Нобелівської премії Йосиф Бродський писав: «На мій погляд, для того, щоб користуватись вільним віршем, поету потрібно до нього прийти тим самим шляхом, яким прийшла до цього англійська "изыщная" література. Тобто, в мініатюрі, в рамках свого власного життя, поету необхідно повторити шлях, пройдений до нього літературою, тобто пройти формальну школу з її ритмікою, римами і таким іншим. В іншому випадку вага слова в рядку верлібриста може виявитися нульовою».

Та писати верлібри за радянських часів було справою непростою, навіть небезпечною. 1976 року поет Давид Самойлов писав: «Вільний вірш — для ледацюг, для самоуків, для містифікаторів (коли без крапок і ком)... Треба бути занадто впевненим у власній цінності, щоб набратися нахабства говорити вільним віршем... Геть недбайливіці!». В українській критиці радянських часів теж було немало таких окриків. Верлібр був формою забороненою, дисидентською. Усе, що не римувалося — вважалося ворожим, антинародним, навіяним заходом, чужим не характерним для нашої співучої української (російської, білоруської) літератури. За написання верлібру могли без зайвих вагань кинути за ґрати. Згадаймо хоча б вилучених з літературного процесу В.Кордуна, М.Воробйова, В.Рубана.

Насправді ж багато хто з класиків минулого час від часу звертався до форми вільного вірша. Прикладів можна навести чимало: це і Скворода, і Франко; в Росії — Єсенін, Цветаєва. Особливо часто звертались до нього романтики — Гейне, Гьоте, Блок.

Цікаво що значна частина фольклору складається з верлібрів, або ж містить у собі його вкраплення. Це й загадки й прислів'я — краплинки, вихоплені з народної мови: «Жінка, мов тїнь: ти за нею — вона від

тебе, ти від неї — вона за тобою» і навіть такий значний епічний твір як «Слово о полку Игореве». Багато таких вкраплень у молитвах, у канонічних, релігійних цитатах: «Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог».

Змістом верлібру є етико-філософський, аналітичний смисл тексту. Зміст можна означити як «внутрішня лабораторія мислячої душі». Вона найменш відома читачам, у всякому випадку завжди знаходилась десь на узбіччі мистецтва. «Діалоги» Платона, «Думки» Паскаля, «Досліди» Монтеня читали швидше філософи ніж шанувальники красно письменства. Незаперечно, що вияви почуттів прекрасні, але й безпечні за будь-якого суспільного ладу. Думка ж містить у собі споконвічну небезпеку сумніву — від будь-якої долини вона заводить у хащі пошуків доказів будь-то буття Божого, будь-то відсутності хиб суспільного ладу. Й навпаки — від логіки доказів вона веде до медитації, до таїн відвертості. (Певно з огляду на це й кидали верлібристів до в'язниці.) Своєю медитативністю верлібр найчастіше відображає аналітичне самозаглиблення автора, який не має на меті яскраву безпосередню емоційну реакцію читача. У нас менше за інші вихована раціональна емоція, близька за відчуттями до переживань відкриття, рішення розумових задач. Отже можна зробити висновок: верлібр — елітарний вид літератури, неприйнятний для широких мас.

Віталій Борисполець завдяки верліброві знайшов себе. Перше визнання прийшло до нього у 1989 році, коли став дипломантом I Міжнародного фестивалю вільного вірша «Європейський дім», на якому був наймолодшим учасником. Німецький поет, драматург, учень Бертольда Брехта — Хайнц Калау називав його справжнім відкриттям цього форуму. Цікаво, що спочатку Віталія Бориспольця визнала Європа, а вже потім, власне, Україна. На час виходу його першої книжки «Страйк ілюзій» (1991 р.) його верлібри побачили світ у дев'ятох країнах і були перекладені п'ятьма мовами. «Страйк ілюзій» став невеличкою сенсацією у літературному процесі України. Весь тираж було розкуплено за кілька тижнів, а газети та журнали рясніли його новими поезіями. То був період насичений публічними виступами на радіо, телебаченні, зі сцени, творчими вечорами і гастрольями як по Україні, так і закордонними. «Молодь України» від 8 грудня 1994 року згадуючи той час написала про одну студентку, яка придбала одразу 100 книжок Віталія Бориспольця і безкоштовно роздавала усім в університеті ім. Тараса Шевченка. Інша — з філологічного факультету — темою дипломної роботи обрала: «Творчість Віталія Бориспольця і нова українська література». І смішно, і сумно, адже його «творчість» на той час нараховувала лише кілька десятків верлібрів (римовані поезії до уваги не беруться). От і маєш «елітарний вид літератури, неприйнятний для широких мас». Наступного — 1992 року виходить друга книжка «Гуманітарна допомога», видана неокласичним літгуртом «Музейний провулок, 8», членом якого був Віталій Борисполець. Це перше двомовне видання зроблене українською та німецькою мовами у перекладах І.Фрідріх. 1994 — готова до друку нова збірка «Полювання на сонячних зайчиків». Широко анонсована пресою, вона так і не побачила світ. Причина проста — інтерес до україномовної літератури зменшився, вітчизняні видавництва дійшли межі банкрутства. Щоправда того ж таки

1994 року Віталій Борисполець отримав пропозицію з Нью-Йорку видати книгу у Сполучених Штатах у перекладах англійською. Та на подив оточуючих він категорично відмовляється. «Сподіваюсь, що шанований мною американський читач не багато втратить, якщо не почує український сум цього року. Спершу книга має з'явитися в Україні, а вже потім...» — пише він у листі-відповіді.

Починаючи з 1995 року в Україні про Бориспольця почали забувати, хоча за кордоном час від часу й з'являлися його верлібри, що-правда не нові. Там його все ще пам'ятали, так відомий літературний критик Фелікс Інгольд у швейцарському тижневику «Цюрих» (1996 р.) називає Віталія Бориспольця одним з кращих пострадянських поетів-модерністів кінця ХХ ст.

Загалом його поезії побачили світ більш ніж у 40 країнах світу. Іспанський поет, публіцист та перекладач Хосе Рейна писав: «Віталій Борисполець — один з найяскравіших верлібристів Європи, що пишуть у жанрі неокласичного або "чистого" верлібру».

Майже на десять років Борисполець зник з мистецького обрію. Але, як виявилось, не назавжди. 2005 року несподівано для літературних кіл виходить його книга «Платний пляж на Стіксі», до якої увійшли сто кращих верлібрів автора. Того ж таки 2005 року побачив світ подвійний CD з рок-оперою «Платний пляж на Стіксі», створеною творчою формацією «S.T.IX. Project», фундатором якої був Віталій Борисполець. Це єдиний в Україні, рівно як і в Європі, значний музичний твір, лібрето якого написано виключно верлібром. Варто додати, що сценічну постановку рок-опери узявся здійснити метр сучасної режисури, всесвітньовідомий король епатажу — Роман Віктюк¹.

У 2007 році з'являється ще одна збірка «Платний пляж на Стіксі. Дощовий». 2009 року побачила світ книга «Тлумачення тиші», яка на час виходу була найповнішим виданням поезій автора.

А 2012 року побачила світ книга «Одкровення». В її оформленні, як і в попередній, використано роботи народного художника України Івана Марчука, за філософією та психодинамікою світосприйняття співзвучні творам Бориспольця, як небагато чиї інші.

Отже, друге народження поета Віталія Бориспольця небезпідставно можна вважати вдалим. Час не змінив його, а чи змінить він час з'ясується з часом.

Зараз Віталій Борисполець завершує роботу над новою збіркою «Необачність часу».

¹ На жаль смерть Р. Віктюка завадила втіленню цього проекту.

Имильян ДОРОШЕНКО (Андрей БЛОКБАСТЕР)

/ Винница /



* * *

Ветер сбрасывал звёзды
С ковша луны
Прямо мне в глаза.

* * *

Когда одиноко,
Листаю стихи
Забытых времён.

* * *

Небеса
Смотрят на меня
Глазами птиц.

* * *

Только я проснулся —
На столе кофе
Из ароматного утра.

* * *

Заброшенный дом —
Это храм
Тишины.

* * *

Когда страшно,
Я смотрю на лики святых,
Они ничего не боялись...

* * *

Ветер подул холодный
Я согрел его
Своим дыханием.

* * *

Человек в жизни
Не успеет прочитать всех книг,
Но он успеет прочитать книгу своей жизни.

* * *

Ветер летел по полю,
Подгоняемый другим ветром.
Возможно, он подгонял своего сына.

* * *

Сверчок за окном,
Что он поёт?
Он поёт колыбельную для ночи.

* * *

Свадебная лягушка
Приглашает на свидание —
Дождь.

* * *

Истина
Спрятана на том свете...

КРЕЩАТИК
(Перехрестя)

Международный
литературный
журнал

Дизайн обложки Н. Макаров
Оригинал-макет Б. Марковский

Подписано в печать 16.07.2022
Формат 66х88^{1/16}. Усл.-печ. л. 21,5
Печать офсетная

www.kreschatik.kiev.ua

www.imwerden.de

Мы в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили — в Киеве, Иерусалиме,
Нью-Йорке или Мюнхене, мы — перенесенный
в ментальное пространство проспект,
как бы он ни назывался в каждом городе,
где когда-то завязывались великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные встречи...

Ми в невпинному пошуку
нових імен, невідомих авторів,
де б вони не жили — у Києві, Єрусалимі,
Нью-Йорку чи Мюнхені, ми — перенесений
у ментальний простір проспект,
як би він не називався в кожному місті,
де колись зав'язувалися великі дружби,
писалися великі вірші,
відбувалися знаменні зустрічі.

